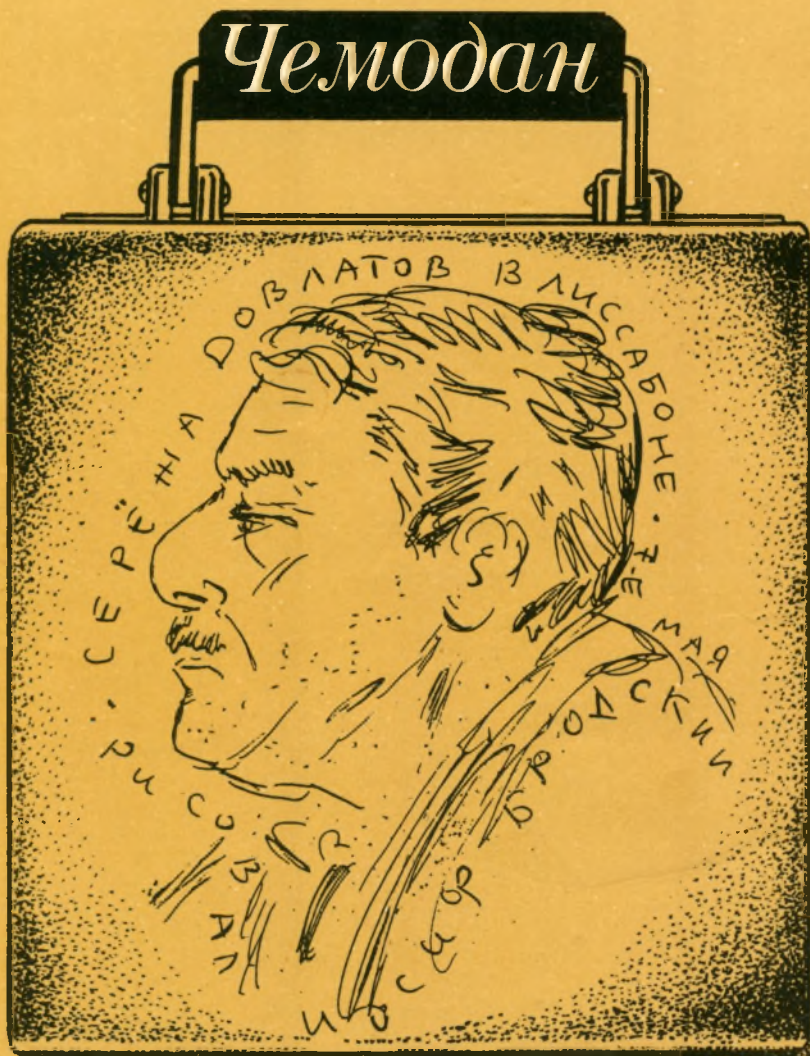


Сергей Довлатов

Чемодан



Сергей Довлатов
Чемодан

ПОВЕСТИ



Московский рабочий

1991

ББК 84Р7--4
Д58

Д58 Довлатов С. Д.
Чемодан: Повести.— М.: Моск. рабочий, 1991.
335 с.

«Чемодан» — первая книга Сергея Довлатова, изданная на родине. Очень жаль, что писатель не дождался ее: он умер в Нью-Йорке в августе 1990 года, сорока девяти лет, только-только начав печататься в СССР. А ведь прозаик он замечательный — тонкий, остроумный, глубокий по мысли, серьезный психолог и философ. Но первыми об этом узнали не мы. Намаявшись по Ленинграду с никому не нужными рукописями, в 1978 году Довлатов вынужден был уехать в США, где в очень скором времени завоевал неизбежный успех.

Д $\frac{4702010201-131}{M172(03)-91}$ 85—91

ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—01231—8

© С. Д. Довлатов, 1991

ГЕРОЙ В ПОИСКАХ АВТОРА

Утопии оказались пророческими. Антиутопии, столь модные сейчас, интересны как наиболее точные в описании реальности. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Так говорили записные остроловы недавних времен, вполне отдавая себе отчет, насколько верно их замечание. Чем дальше от здравого смысла, тем ближе к жизни. Естественно, что порожденная этой жизнью отечественная эстетика аналогов в мире не имеет. На примере творчества Сергея Довлатова можно увидеть, как на такое преобразование жизни реагирует художественная реальность.

Все, что описывает Довлатов в своих новеллах, могло бы стать содержанием фантасмагорической прозы Гофмана или абстракций Мрожека.

Суть такой эстетики в том, что фантомы живут в обстоятельствах знакомой каждому реальности.

Такое видение мира есть в прозе, которая сейчас у всех на слуху. Довлатов добавляет свой лирический взгляд и неподдельную ироническую интонацию.

Судьба Сергея Довлатова ничем не выделяется на фоне трагической обыденности арестов, обысков, отъездов. Не было в жизни Довлатова громкого процесса, как у Бродского. Не было у него прочной репутации диссидента, как у Владимова или Горбаневской...

О себе, впрочем, Довлатов исчерпывающе рассказывает сам. Все новеллы трех представленных в книге циклов — «Наши», «Чемодан», «Ремесло» — посвящены ленинградской и таллиннской жизни писателя. Проза Довлатова откровенно автобиографична. Хотя именно для Довлатова нужно какое-то другое слово, более точно определяющее жанр, в котором он работал.

Скорее не автобиография, а гротесковая исповедь. Так сказать, исповедь сына нашего века.

В 1968 году Инна Соловьева в рецензии на рассказы Довлатова (понятное дело, во внутренней рецензии, история которой — в «Ремесле») отметила «характер отношения к жизни, в котором преоб-

ладает стыд». С тех пор переменялись судьба и отчасти творческий облик писателя, но замечание Соловьевой остается верным. К нему нужно сделать лишь небольшое уточнение. Дело в том, что писатель, вообще существо незащищенное, в современную эпоху тем более беззащитен. Социальные и общекультурные причины побуждают его скрывать лицо под маской, прятать чувства, всегда быть готовым к удару.

Маска — один из признаков современной культуры. Достаточно традиционная форма культуры, маска, осмысленная как феномен еще Евреиновым, а раньше просто Аристотелем, претерпевала изменение социальной функции — от почти фривольной демонстрации чувств до надежной защиты человека, художника от внешнего мира.

В недавнем прошлом все можно было объяснить цензурными преградами, сейчас, после их падения, думаю, можно говорить о современном образе жизни художника, о некоей особенности творческого поведения современного человека.

Сергей Довлатов сочинил свой образ-маску — сибаритствующего циника. От его лица писатель рассказывает историю своей жизни, своего поколения в коротких новеллах, собранных в повести «Наши», «Чемодан», «Ремесло».

Каждая повесть — это книга новелл, которые могут существовать и печататься отдельно друг от друга. Кажется, ничего нового в этом нет. Книги рассказов издавались и раньше, но у Довлатова принцип иной. Новеллы, составляющие эти сборники, образуют единую структуру, оставаясь самостоятельными. Циклы могут дополняться, расширяться, видоизменяться, приобретает новые оттенки. Никаких ограничений в этом смысле автор не признает.

Первое впечатление от прозы Довлатова — абсолютная внутренняя свобода. Не отвоеванная в схватках со временем, но органически присущая личности писателя. Свобода, прошедшая испытание рефлексией. Предельная раскованность письма и четкая определенность в мире нравственных понятий. Немаловажное условие этой свободы — снижение пафоса. Отказ от моральных инвектив, выводов и т. д. Все это не имеет смысла в мире, где нет никаких догматических установок, где правит человеческий разум. То есть в мире, о котором мечтает, но увидеть который не надеется (по-моему) писатель Сергей Довлатов.

Все просто у Довлатова. Стиль, способ повествования. Просты вопросы нравственного и житейского порядка, которые он перед собой ставит. Непрост и неизвестен путь, который надо проделать человеческой душе к заранее, казалось бы, известным ответам. Этот путь — главный «сюжет» повествований Довлатова.

Для человека культуры всегда характерен интерес к собственным корням. Читатель, к сожалению, приучен понимать под корнями не то, что под этим следует понимать. Не духовную преемствен-

ность и рождение человека как личности и интерес к этому процессу, а чуть ли не комментированную родословную.

А впрочем, «Наши» вполне сойдут и за родословную. В том смысле, правда, что автора интересует происхождение современного человека как неповторимой индивидуальности.

Индивидуальности — центральный интерес писателя, они создают атмосферу и жизни, и его произведений.

Типичность — какая-либо — чужда Довлатову.

В одной из новелл «Ремесла» сказано: «...среди моих знакомых преобладали неординарные личности...»

У Довлатова все личности неординарны, все человеческие поступки нетривиальны. Явления, самые частные даже, он связывает с глобальными коллизиями духа, истории.

История литературы сыграла с нами очередную шутку. Тринадцать коротких новелл Довлатова о близких родственниках вмещают тему «Будденброков» и многотомной «Саги о Форсайтах».

Эта тема требовала не только других объемов, но и других тонов. Довлатов избегает прямых обобщений. Семейные истории, при всей их узнаваемости, сознательно оставляются семейными историями. Момент обобщения присутствует как бы произвольно, в той степени, в какой читатель сам захочет или сможет его осознать.

Вообще многое в прозе С. Довлатова рассчитано на определенный тип читательского восприятия, настроенного на непосредственный контакт, немедленный отклик. В современной литературе, пожалуй, трудно будет найти писателя, до такой степени обращенного к своему читателю, не случайно взявшему в руки его, Довлатова, книгу. Читатель для Довлатова, если можно так сказать, категория эстетическая, не менее значимая, чем все другие категории творчества.

Сергей Довлатов принадлежит к поколению или, скорее, к человеческой формации, поименованной «шестидесятниками». Коротко говоря, их особенность можно определить так: люди, живущие свободно в несвободной стране. Старшие из них успели проявиться, напечататься, стать известными. Младшим, в том числе Довлатову, повезло значительно меньше. Они были обречены на «широкую известность в узких кругах», на отчаянье и безверие. Объединяет старших и младших «шестидесятников» укорененный в сознании образ этого поколения. Поколения обманутых надежд, нереализованных возможностей. Такой образ не поколебали ни яркие имена, ни очевидная плодovitость его, особенно в сфере культуры.

Нельзя сказать, что Довлатов протестует конкретно против этой расхожести. Скорее, он дополняет портрет своего поколения одной яркой деталью, заставляющей смотреть на это поколение несколько шире.

В кругах молодой интеллигенции тогда властвовал дух, который сейчас, с расстояния в без малого тридцать лет, воспринимается нами

как стиль эпохи. Время, предшествовавшее «оттепели», отмечено, кроме всего прочего, еще и бесстильем.

То есть были, конечно, внешние признаки времени. Абсурдная гигантомания, получившая кличку «ампир во время чумы». Многотомные сочинения в тисненых переплетах, подавляющая основательность во всем.

Но все это как бы формально. Больше относится к политике, нежели к эстетике. Стиль же явление эстетическое, духовное.

Может быть, главное завоевание шестидесятых годов, во всяком случае оказавшееся наиболее основательным, — стиль жизни. Он вмещал в себя и несформулированную, но цельную творческую программу поколения, появившегося тогда в литературе.

Стиль, духовная жизнь шестидесятых ждали своего выразителя. Он явился в лице Сергея Довлатова. Его новеллы — истинная история поколения: пристрастная, может быть несколько наивная, но истинная.

Проза Довлатова рождается из богемных собраний на московских и ленинградских кухнях, из разговоров молодых и немолодых людей того времени, вернувшего в жизнь человеческие понятия о ней, и времени, поправшего опять эти понятия. Есть в прозе Довлатова невысказанный драматизм, который выше, духовнее, что ли, чем просто обиды на несправедливости, которые довелось пережить в стране автору и его кругу.

Русская интеллигенция, как только возникла, вынуждена была учиться выживать. В нашем веке этот конфликт обострился еще более, чем раньше. Способ выживания остался прежним. Вечное прибежище интеллигента — он сам, замкнувшийся в себе. Таков герой Довлатова.

Второй сюжет рассказов Довлатова, впрочем неразрывно связанный с первым, — судьба литератора. Можно вроде бы уточнить — судьба литератора в России. Но нет. Везде она приносит внутреннюю и внешнюю неудовлетворенность. Еще и об этом пишет Довлатов, о всемирной судьбе писателя. Подобно Булгакову, можно было бы посвятить, например, «Ремесло» «плавающим, путешествующим и страждущим писателям русским». Кстати, тематически «Ремесло» сходно с «Театральным романом».

В книге выделяется цикл новелл «Чемодан». Он построен по тому же принципу, что и другие два цикла — «Наши» и «Ремесло». Отличает его не стилистика или форма, но скорее обнаженность социального чувства, открытая памфлетность. Конечно, прямого разоблачительства в прозе Довлатова быть не может, но все же новеллы цикла «Чемодан» определеннее в своем социальном пафосе, чем в других его книгах.

Вообще же Довлатов склонен искать объяснения происходящему в жизни. Не в социальных причинах, а в судьбе. Его взгляд на мир можно было бы назвать идеалистическим, если вспомнить рассужде-

ния о судьбе Владимира Соловьева. На самом деле Довлатов гораздо больше философ, чем это может показаться при беглом знакомстве с его книгами. Вряд ли он изучал философию профессионально, но интуитивно писатель стремится искать закономерности бытия. И «философски» же осознает бесперспективность этого занятия.

Разумеется, нет русского писателя, которому удалось бы избежать влияния русской литературы. Если кто пытался, так больше декларативно, чем на деле. Двадцатый век обременил это правило одним парадоксом: физический разрыв с Россией углубляет связи с русской культурой. Такая пусть условная, далеко не универсальная, но все же закономерность.

Этот трагический парадокс имеет значение и для творчества Довлатова. В его произведениях культура как таковая не присутствует. Она проступает сквозь строки текста, сквозь сюжетные ходы и лирические отступления. Особой пронизательности не требуется, чтобы определить, почти не рискуя ошибиться, круг литературных привязанностей Сергея Довлатова. Однако остановимся на этом утверждении, помня, что еще Шкловский протестовал против представления о литературе как о наследовании приемов и взглядов.

Вся критика прозы Довлатова, какую доводилось читать, главным своим предметом избирает вопрос об авторе и герое.

Довлатов этот вопрос провоцирует, но подчеркнуто не освещает в рассказах. Он оставляет его не только без ответа (прямые ответы, как и прямые вопросы в его прозе невозможны), но как бы и без возможности определенного ответа. Писатель создает карнавалы, мир, использует созданные им самим возможности спрятаться за текст или вдруг показаться в полный рост. Автор появляется в тексте когда ему угодно, когда угодно исчезает, чувствуя себя предельно комфортно. Довлатов не сковывает себя представлениями об эстетике, жанре. Его метод — абсолютное отсутствие метода.

Почти десять лет прожил Сергей Довлатов в Америке. Насколько он внутренне изменился, то есть насколько остался прежним, можно наглядно себе представить, читая подряд обе части «Ремесла».

В одном из рассказов Довлатов говорит, что многие ошибочно видят в нем сильную личность, так сказать, введенные в заблуждение его физической мощью. Что ж, среди писателей сильные личности вообще редкость. В прозе Довлатова останавливает действительно не сила, а скорее цельность личности автора.

Книга Довлатова — еще один аргумент в споре о том, можно ли считать эмигрантами писателей, покинувших страну.

Следуя примеру Сергея Довлатова, от прямого ответа я уклонюсь. Пусть ведающий об единстве культуры читатель ответит сам.

Ю. Арпишкин

НАШИ

Глава первая

Наш прадед Моисей был крестьянином из деревни Сухово. Еврей крестьянин — сочетание, надо отметить, довольно редкое. На Дальнем Востоке такое случалось.

Сын его Исаак перебрался в город. То есть восстановил нормальный ход событий.

Сначала он жил в Харбине, где и родился мой отец. Затем поселился на одной из центральных улиц Владивостока.

Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь. Потом занимался типографским делом. Был чем-то вроде метранпажа. А через два года приобрел закусочную на Светланке.

Рядом помещалась винная лавка Замараева — «Нектар, бальзам». Дед мой частенько навещался к Замараеву. Друзья выпивали и беседовали на философские темы. Потом шли закусывать к деду. Потом опять возвращались к Замараеву...

— Душевный ты мужик, — повторял Замараев, — хоть и еврей.

— Я только по отцу еврей, — говорил дед, — а по матери я нидерлан!

— Ишь ты! — одобрительно высказывался Замараев.

Через год они выпили лавку и съели закусочную.

Престарелый Замараев уехал к сыновьям в Екатериноград. А дед мой пошел на войну. Началась японская кампания.

На одном из армейских смотров его заметил государь. Росту дед был около семи футов. Он мог положить в рот целое яблоко. Усы его достигали погон.

Государь приблизился к деду. Затем, улыбаясь, ткнул его пальцем в грудь.

Деда сразу же перевели в гвардию. Он был там чуть ли не единственным семитом. Зачислили его в артиллерийскую батарею.

Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие.

Как-то раз батарея участвовала в штурме. Мой дед побежал в атаку. Орудийный расчет должен был поддерживать атакующих. Но орудия молчали. Как выяснилось, спина моего дела заслонила неприятельские укрепления.

С фронта дед привез трехлинейную винтовку и несколько медалей. Вроде бы имелся даже Георгиевский крест.

Неделю он кутил. Потом устроился метрдотелем в заведение «Эдем». Как-то раз повздорил с нерасторопным официантом. Стал орать. Трахнул кулаком по столу. Кулак очутился в ящике письменного стола.

Бесспорядков мой дед не любил. Поэтому и к революции отнесся негативно. Более того, даже несколько замедлил ее ход. Дело было так.

Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы устремились в центр переулками.

После революции мой дед затих. Опять превратился в скромного ремесленника. Лишь иногда напоминал о себе. Так, однажды дед подорвал репутацию американской фирмы «Мерхер, Мерхер и К⁰».

Американская фирма через Японию завезла на Дальний Восток раскладушки. Хотя называть их так стали значительно позднее. Тогда это была сенсационная новинка. Под названием «Мэджик бэд».

Выглядели раскладушки примерно так же, как сейчас. Кусок цветастого брезента, пружины, алюминиевая рама...

Мой прогрессивный дед отправился в торговый центр. Кровать была установлена на специальном возвышении.

— Американская фирма демонстрирует новинку! — выкрикивал продавец. — Мечта холостяка! Незаменима в путешествии! Комфорт и нега! Желаете ощутить?!

— Желая, — сказал мой дед.

Он, не расшнуровывая, стащил ботинки и улегся.

Раздался треск, запели пружины. Дед оказался на полу.

Продавец, невозмутимо улыбаясь, развернул следующий экземпляр.

Повторились те же звуки. Дед глухо выругался, потирая спину.

Продавец установил третью раскладушку.

На этот раз пружины выдержали. Зато беззвучно подогнулись алюминиевые ножки. Дед мягко приземлился.

Вскоре помещение было загромождено обломками чудо-кровати. Свисали клочья пестрого брезента. Изгибалась тускло поблескивавшая арматура.

Дед, поторговавшись, купил бутерброд и удалился.

Репутация американской фирмы была подорвана. «Мерхер, Мерхер и К^о» начали торговать хрустальными люстрами...

Дед Исаак очень много ел. Батоны разрезал не поперек, а вдоль. В гостях бабка Рая постоянно за него краснела. Прежде чем идти в гости, дед обедал. Это не помогало. Куски хлеба он складывал пополам. Водку пил из бокала для крем-сода. Во время десерта просил не убирать заливное. Вернувшись домой, с облегчением ужи-нал...

У деда было три сына. Младший, Леопольд, юношей уехал в Китай. Оттуда — в Бельгию. Про него будет особый рассказ.

Старшие, Михаил и Донат, тянулись к искусству. Покинули захолустный Владивосток. Обосновались в Ленинграде. Вслед за ними переехали и бабка с делом.

Сыновья женились. На фоне деда они казались щуплыми и беспомощными. Обе снохи были к деду неравнодушны.

Устроился он работать кем-то вроде заведующего жилконторой. Вечерами ремонтировал часы и электроплитки. Был по-прежнему необычайно силен.

Как-то раз в Щербаковом переулке ему нагрубил водитель грузовика. Вроде бы обозвал его жидовской мордой.

Дед ухватился за борт. Остановил полуторку. Отстранил выскочившего из кабины шофера. Поднял грузовик за бампер. Развернул его поперек дороги.

Фары грузовика упирались в здание бани. Задний борт — в ограду Щербаковского сквера.

Водитель, осознав случившееся, заплакал. Он то плакал, то угрожал.

— Домкратом перетяну! — говорил он.

— Рискни... — отвечал ему дед.

Грузовик двое суток торчал в переулке. Затем был вызван подъемный кран.

— Что же ты просто не дал ему в морду? — спросил отец.

Дед подумал и ответил:

— Боюсь увлечься...

Я уже говорил, что младший сын его, Леопольд, оказался в Бельгии. Как-то раз от него прибыл человек. Звали его Моня. Моня привез деду смокинг и огромную надувную жирафу. Как выяснилось, жирафа служила подставкой для шляп.

Моня поносил капитализм, восхищался социалистической индустрией, затем уехал. Деда вскоре арестовали как бельгийского шпиона. Он получил десять лет. Десять лет без переписки. Это означало — расстрел. Здоровые мужчины тяжело переносят голод. А произвол и хамство — тем более...

Через двадцать лет отец стал хлопотать насчет реабилитации. Деда реабилитировали за отсутствием состава преступления.

Спрашивается, что же тогда присутствовало? Ради чего прервали эту нелепую и забавную жизнь?..

Я часто вспоминаю деда, хотя мы и не были знакомы.

Например, кто-то из друзей удивляется:

— Как ты можешь пить ром из чашки?

Я сразу вспоминаю деда.

Или жена говорит мне:

— Сегодня мы приглашены к Домбровским. Надо тебе заранее пообедать.

И я опять вспоминаю этого человека.

Вспоминал я его и в тюремной камере...

У меня есть несколько фотографий деда. Мои внуки, листая альбом, будут нас путать...

Глава вторая

Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе его считали вспыльчивым человеком. Жена и дети трепетали от его взгляда.

Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал:

— АБАНАМАТ!

Это таинственное слово буквально парализовало окружающих. Внушало им мистический ужас.

— АБАНАМАТ! — воскликнул дед.

И в доме наступала полнейшая тишина.

Значения этого слова мать так и не уяснила. Я тоже долго не понимал, что это слово означает. А когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери же объяснять не стал. Зачем?..

Мне кажется, тяжелый характер деда был результатом своеобразного воспитания. Отец-крестьянин бил его в детстве поленом. Раз опустил на бадье в заброшенный колодец. Продержал его в колодце около двух часов. Затем опустил туда же кусок сыра и полбутылки напареули. И лишь час спустя вытащил деда, мокрого и пьяного...

Может быть, поэтому дед вырос таким суровым и раздражительным.

Был он высок, элегантен и горд. Работал приказчиком в магазине готовой одежды Эпштейна. А в преклонные годы был совладельцем этого магазина.

Повторяю, он был красив. Напротив его дома жили многочисленные князья Чикваидзе. Когда дед переходил улицу, молоденькие — Этери, Нана и Галатея Чикваидзе выглядывали из окон.

Вся семья ему беспрекословно подчинялась.

Он же — никому. Включая небесные силы. Один из поединков моего деда с Богом закончился вничью.

В Тифлисе ожидали землетрясения. Уже тогда существовали метеорологические центры. Кроме того, имелись разнообразны народные приметы. Священники ходили по домам и оповещали население.

Жители Тифлиса покинули свои квартиры, захватив ценные вещи. Многие вообще ушли из города. Оставшиеся жгли костры на площадях.

В богатых кварталах спокойно орудовали грабители. Уносили мебель, посуду, дрова.

И лишь в одном из домов Тбилиси горел яркий свет. Точнее, в одной из комнат этого дома. А именно — в кабинете моего деда. Он не захотел покидать свое жилище. Родственники пытались увещевать его, но безрезультатно.

— Ты погибнешь, Степан! — говорили они.

Дед недовольно хмурился, затем угрюмо и торжественно произнес:

— К-а-а-кэм!..

(Что переводится, уж извините,— «Какал я на вас!»)

Бабка увела детей на пустырь. Они унесли из дома все необходимое, захватили собаку и попугая.

Землетрясение началось под утро. Первый же толчок разрушил водонапорную башню. В течение десяти минут рухнули сотни зданий. Над городом стояли клубы розовой от солнца пыли. Наконец, толчки прекратились. Бабка устремилась домой, на Ольгинскую.

Улица была загромождена дымящимися обломками. Кругом рыдали женщины, лаяли собаки. В бледном утреннем небе тревожно кружились гадки.

Нашего дома больше не существовало. Вместо него бабка увидела запорошенную пылью груды кирпичей и досок.

Посреди руин сидел в глубоком кресле мой дед. Он дремал. На коленях его лежала газета. У ног стояла бутылка вина.

— Степан,— вскричала бабка,— Господь покарал нас за грехи! Он разрушил наш дом!..

Дед открыл глаза, посмотрел на часы и, хлопнув в ладоши, скомандовал:

— Завтракать!

— Господь оставил нас без крова! — причитала бабка.

— Э-э,— сказал мой дед.

Затем пересчитал детей.

— Что мы будем делать, Степан? Кто приютит нас?!

Дед рассердился.

— Господь лишил нас крова,— сказал он,— ты лишась пищи... А приютит нас Беглар Фомич. Я крестил двух его сыновей. Старший из них вырос бандитом... Беглар Фомич — хороший человек. Жаль, что он разбавляет вино...

— Господь милостив,— тихо произнесла бабка.

Дед нахмурился. Сдвинул брови. Затем наставительно и раздельно выговорил:

— Это не так. Зато милостив Беглар. Жаль, что он разбавляет напареули.

— Господь вновь покарает тебя, Степан! — испугалась бабка.

— К-а-а-кэм! — ответил дед...

К старости его характер окончательно испортился. Он не расставался с увесистой палкой. Родственники

перестали звать его в гости — он всех унижал. Он грубил даже тем, кто был старше его. — явление на Востоке редчайшее.

От его взгляда из рук у женщин падали тарелки.

Последние годы дед уже не вставал. Сидел в глубоком кресле у окна.

Если кто-то проходил мимо, дед выкрикивал:

— Прочь, ворюга!

Сжимая при этом бронзовый набалдашник трости.

Вокруг деда наметилась опасная зона радиусом полтора метра. Такова была длина его палки...

Я часто стараюсь понять, отчего мой дед был таким угрюмым? Что сделало его мизантропом?..

Человек он был зажиточный. Обладал представительной внешностью и крепким здоровьем. Имел четверых детей и любящую верную жену.

Возможно, его не устраивало мироздание как такое? Полностью или в деталях? Например, смена времен года? Нерушимая очередность жизни и смерти? Земное притяжение? Контрадикция моря и суши? Не знаю...

Умер мой дед при страшных обстоятельствах. Второй его поединок с Богом закончился трагически.

Десять лет он просидел в глубоком кресле. В последние годы уже не хватался за трость. Только хмурился...

(О, если бы взгляд мог служить техническим оружием!..)

Дед стал особенностью пейзажа. Значительной и эффективной деталью местной архитектуры. Иногда на его плечи садились грачи...

В конце нашей улицы за рынком был глубокий овраг. На дне его пенился ручей, огибая серые мрачные валуны. Там же белели кости загубленных лошадей. Валились обломки телег.

Детям не разрешалось приближаться к оврагу. Жены говорили пьяным мужьям, вернувшимся на заре:

— Слава Богу! Я думала, ты угодил в овраг...

Однажды летним утром мой дед неожиданно встал. Встал и твердой походкой ушел из дому.

Когда дед переходил улицу, замужние толстухи Этери, Нана и Галатея Чикваидзе выглядывали из окон.

Высокий и прямой, он направился к рынку. Если с ним здоровались, не реагировал.

Дома его исчезновение заметили не сразу. Как не сразу заметили бы исчезновение тополя, камня, ручья...

Дед стал на краю обрыва. Отбросил трость. Поднял руки. Затем шагнул вперед.

Его не стало.

Через несколько минут прибежала бабка. За ней — соседи. Они громко кричали и плакали. Лишь к вечеру их рыдания стихли.

И тогда сквозь неумолкающий шум ручья, огибавшего мрачные валуны, донеслось презрительное и грозное:

— К-А-А-КЭМ! АБАНАМАТ!..

Глава третья

Дядя Роман Степанович любил повторять:

— В здоровом теле — соответствующий дух!..

В юности он был тифлисским кинто. Перевести это слово довольно трудно. Кинто — не хулиган, не пьяница, не тунядец. Хотя он выпивает, безобразничает и не работает... Может быть -- повеса? Затрудняюсь...

У моего дяди был огромный кинжал. Он с юности любил вино напареули и полных блондинок...

Чуть ли не главное достоинство истинного кинто — остроумие. Юмор моего дяди отличался некоторым своеобразием. Так, например, мой четырнадцатилетний дядя омрачил юбилей Грузинской Советской Республики.

Дело происходило следующим образом. В Тбилиси широко отмечалась знаменательная годовщина — семилетие республики. Огромный зал Дворца культуры имени Либкнехта был переполнен. Высокое начальство произносило речи. Вслед за ним шли на сцену представители этнических меньшинств. От армян выступала тетка, дядина сестра. Звали ее Анеля. К выступлению тетка Анеля готовилась недели две.

— Вот уже семь лет...— начала она.

Зал притих.

— Вот уже семь лет...— повторила тетка.

Где-то звякнул номерок. Кто-то на цыпочках пробирался между рядами.

— Вот уже семь лет...— окрепшим голосом произнесла тетка Анеля.

За ее спиной лукаво щурился на портрете генералиссимуса. Наступила полная тишина.

И тогда в зале раздался оживленный голос моего дяди:

— Вот уже семь лет, как Анелю замуж не берут...

Тетка Анеля, рыдая, покинула сцену. Дядю Романа сутки продержали в милиции...

Еще до войны мой дядя решил поступить в университет и стать философом. Решение вполне естественное для человека, не имеющего конкретной цели. Все люди с неясным и туманным ощущением жизни мечтают заниматься философией.

Дядя Роман подал свои бумаги в университет. Шел экзамен по русской литературе. Дядя останавливал выходящих абитуриентов, спрашивая:

— Прости, дорогой! Что за вопрос тебе достался?

— Пушкин,— сказал один.

— Прекрасно! — воскликнул дядя.— Именно этого я не учил.

— Лермонтов,— сказал второй.

— Прекрасно! — воскликнул дядя.— Именно этого я не учил.

— Гоголь,— сказал третий.

— Прекрасно! — воскликнул дядя.— Именно этого я не учил.

Наконец, вызвали дядю Романа. Он шагнул к столу, вытащил билет и прочел:

«Творческий путь Грибоедова».

— Вай! Горе мне! — крикнул дядя.— Именно этого я не учил...

Когда началась война, дядя обрадовался. На войне ценились такие люди, как он. Дядя и в мирное-то время любил поскандалить.

Вернулся он подполковником. Война сделала его человеком.

Как все отставные подполковники, мой дядя заведовал техникой безопасности на фабрике «Луч». (Полковники возглавляют отделы кадров.)

Возможно, он разбирался в технике безопасности, это не исключено. Однако все его силы уходили на физкультурно-массовую работу. Дядя организовывал коллективные заплывы. Учреждал традиционные лыжные кроссы. Проводил волейбольные матчи. О нем писали в газетах.

В свои шестьдесят три года дядя отлично бегал на лыжах и мог успешно подрасться.

— В здоровом теле — соответствующий дух! — часто повторял он.

Меня дядя Роман искренне презирал. Я не делал утренней гимнастики. Не обливался ледяной водой. И вообще ненавидел резкие движения. А если мне хамили, шел на компромисс.

Впрочем, меня оскорбляли довольно редко. За всю жизнь раза три. И все три раза — мой дядя.

— Интеллигент! — кричал он. — Баба! Дохлый шпак!..

На вопрос, кто его любимый писатель, дядя быстро отвечал:

— Мартин Иден.

О своих кулачных подвигах рассказывал часами. Причем довольно много фантазировал. Когда же я расспрашивал его о войне, дядя упорно молчал. Не любил говорить об этом. Не знаю почему...

У него были дети от Сухаревой Анны Григорьевны. Мальчик и девочка. Дядя регулярно навещал их. Просматривал школьные тетради, расписывался в дневнике. И неизменно повторял:

— В здоровом теле — соответствующий дух!

Как-то раз Анна Григорьевна возилась на кухне. Дети играли с отцом. Неожиданно мой дядя пукнул. Дети стали хохотать.

На шум пришла Анна Григорьевна. Остановилась в дверях, сложила руки на груди и значительно произнесла:

— Все-таки детям нужен отец! Как они весело играют, шутят, смеются...

У дяди Романа была жена — Галина Павловна. Как она себя называла — медработник. Дядя ее любил и уважал. Поскольку она разделяла его философское кредо: «В здоровом теле — соответствующий дух».

Однажды в их квартиру позвонили. Дядя был на работе. А Галина как раз зашла домой пообедать. И вот раздался звонок.

— Кто? — спросила Галина.

Мужской голос ответил:

— Дайте попить беременной жене.

Отворилась дверь, и в прихожую шагнул рослый человек. Он достал заточенный рашпиль и без единого слова ударил хозяйку в живот. Она рванулась к телефону. Теряя сознание, крикнула:

— Рома! Спаси! Убивают...

Дядя приехал тридцать минут спустя на грузовой автомашине. К этому времени Галину увезла «скорая по-

мощь». Бандита задержали соседи. Когда ему заламывали руки, он смеялся. Выяснить мотивы его действий так и не удалось. Возможно, это был маньяк...

Мой дядя тогда целый вечер плакал. А когда Галина вышла из больницы, приобрел овчарку.

Звали ее Голда. В этом сказывалось дядино остроумие и едва заметный привкус антисемитизма.

Многие армяне (особенно грузинские армяне) недолюбливают евреев. Хотя куда логичнее бы им недолюбливать русских, грузин или турок. Евреи тоже не питают к армянам особых чувств. Видимо, изгой не склонны любить других отверженных. Им больше нравится любить хозяев. Или, на худой конец, — себя...

Овчарку звали Голда. Сначала она была прелестным косолапым щенком. Затем подросла, ее демонстрировали на выставке. Она даже получила какую-то второстепенную медаль. А затем без всякого повода жестоко истязала Галину.

Мой дядя хотел застрелить собаку, но жена его отговорила. Голду отдали на питомник.

Дядя Роман все еще занимался утренней гимнастикой, был подтянутым и стройным. Он мог сесть на ходу в трамвай и урезонить любого хулигана. Однако хулиганы ему не попадались, а трамваев в городе совсем мало...

И тут мне сообщили, что дядя находится в психиатрической лечебнице. Галина Павловна сказала — «в нервной клинике». Но это была именно психиатрическая лечебница.

Я отправился в Удельный парк. Несколько стандартных коричневых построек были окружены чахлыми кустами и деревьями. По дорожкам гуляли больные в одинаковых серых халатах. Халаты были либо слишком велики, либо чересчур малы. Как будто высоким людям специально навязали маленькие размеры. А низеньким и щуплым — огромные.

В основном больные гуляли поодиночке. Некоторые сдержанно и отрешенно жестикулировали. Я не испытывал страха, только жалость.

Наконец, позвали моего дядю. К моему удивлению, дядя выглядел оживленным и бодрым. Он даже немного загорел. Сказал, что кормят хорошо. А главное, разрешают подолгу быть на свежем воздухе.

Затем дядя придвинулся ко мне, тревожно огляделся и шепотом выговорил

— Слушай меня внимательно. Очкарики затеяли колоссальную авантюру...

— Кто? — не понял я.

Дядя не ответил. С каким-то веселым задором он продолжал:

— Это будет пострашнее Варфоломеевской ночи...

Я растерялся. Я не был к этому готов. Не знал, как себя вести. Возражать или соглашаться...

Мимо шел юноша с питьевым бачком. Около крана чернела надпись: «Вода».

Мой дядя принужденно засвистел. Юноша скрылся за деревьями.

— Крови будет! — покачал головой дядя.

От ужаса я начал играть какую-то странную роль.

— Может, все обойдется? — сказал я.

— Поцарады не жди, — тихо возразил дядя, — кого уничтожат, кого заставят расписаться... Но у меня есть идея. Слушай внимательно.

Дядя снова наклонился ко мне и, хитро подмигнув, заговорил:

— Любой самый гениальный план — уязвим. И рвется эта цепочка, как правило, в самом неожиданном месте. Едва заметное движение — и вот уже спутаны карты... Нарушены, как говорится, правила игры... Штука в том, что это должен быть абсолютно непредвиденный ход... И я его нашел. Слушай внимательно.

Мой дядя перестал улыбаться и заговорил, как офицер, лаконично и резко:

— Первый ход — основной. Второй — для страховки. На случай провала. Не записывай, — перебил дядя.

— Хорошо, — сказал я.

— И запомни. Первое — курить сигареты без фильтра, и только без фильтра. Второе — надевать одновременно две пары трусов...

Дядя торжественно засмеялся, потирая руки.

— Ты понял? — спросил он.

— Да, — сказал я.

— План остается в тайне. Ни единого слова даже близким людям. Иначе — все пропало. Ждите моих дальнейших распоряжений. А сейчас мне пора. Будь здоров. Спасибо за фрукты... Хотя они и являются фикцией чистой воды...

И он ушел, в нелепом халате, легкой спортивной походкой...

Через месяц мой дядя выздоровел. Мы виделись на

семейных торжествах. Дядя застенчиво посмеивался.

Он рассказывал, что ежедневно бегаёт вокруг Лесотехнической академии. Чувствует себя здоровым и бодрым как никогда.

Специально для него были приготовлены тертые овощи. Рядом сидела Галина Павловна. На ее руках темнели шрамы от собачьих укусов.

Я представил себе, как мой дядя бежит рано утром вдоль ограды Лесотехнической академии.

О Господи, куда?!

Глава четвертая

Жизнь дяди Леопольда была покрыта экзотическим туманом. Что-то было в нем от героев Майн Рида и Купера. Долгие годы его судьба будоражила мое воображение. Сейчас это прошло.

Однако не будем забегать вперед.

У моего еврейского деда было три сына. (Да не смутит вас эта обманчивая былинная нота.) Звали сыновей — Леопольд, Донат и Михаил.

Младшему, Леопольду, как бы умышленно дали заморское имя. Словно в расчете на его космополитическую биографию.

Имя Донат — неясного, балтийско-литовского происхождения. (Что соответствует неясному положению моего отца. В семьдесят два года он эмигрировал из России.)

Носитель чисто православного имени, Михаил, скончался от туберкулеза в блокадном Ленинграде.

Согласитесь, имя в значительной степени определяет характер и даже биографию человека.

Анатолий почти всегда нахал и забияка.

Борис — склонный к полноте холерик.

Галина — крикливая и вульгарная склочница.

Зоя — мать-одиночка.

Алексей — слабохарактерный добряк.

В имени Григорий я слышу ноту материального достатка.

В имени Михаил — глухое предвестие ранней трагической смерти. (Вспомните — Лермонтова, Кольцова, Булгакова...)

И так далее.

Михаил рос замкнутым и нелюдимым. Он писал

стихи. Сколотил на Дальнем Востоке футуристическую группировку. Сам Маяковский написал ему умеренно хамское дружеское письмо.

У моего отца есть две книги, написанные старшим братом. Одна называется «М-у-у». Второе название забыл. В нем участвует сложная алгебраическая формула.

Стихи там довольно нелепые. Одно лирическое стихотворение заканчивается так:

Я весь дрожал, и мне хотелось,
Об стенку лоб разбив,— упасть...

В сохранившейся рецензии на эту книгу мне запомнилась грубая фраза: «Пошли дурака Богу молиться, он и лоб разобьет!..»

Михаил был необычайно замкнутым человеком. Родственники даже не подозревали, чем он вообще занимается. Однажды, уже взрослыми людьми, Донат и Михаил столкнулись за кулисами Брянского летнего театра. Как выяснилось, братья участвовали в одной эстрадной программе. Донат был куплетистом. Михаил выступал с художественным чтением.

Старшие братья тянулись к литературе, к искусству. Младший, Леопольд, с детства шел иным, более надежным путем.

Леопольд рос аферистом.

В четырнадцать лет он спекулировал куревом на территории порта. Покупал у иностранных моряков сигары для ночного ресторана братьев Уриных. Затем перешел на чулки и косметику. Если требовалось, сопровождал иностранцев в публичный дом на Косой улице. Параллельно боксировал в атлетическом клубе «Икар». А по воскресеньям играл на трубе в городском саду.

К восемнадцати годам Леопольд осуществил свою первую настоящую аферу. Дело было так.

В один из центральных магазинов города зашел унылый скромный юноша. В руках его была обернутая мятой газетой скрипка. Юноша обратился к владельцу магазина Танакису:

— На улице ливень. Боюсь, моя скрипка намокнет. Не могу ли я временно оставить ее здесь?

— Почему бы и нет? — равнодушно ответил Танакис.

Час спустя в магазин явился нарядный иностранец с огромными, подозрительно рыжими усами. Долго разглядывал выставленные на полках колониальные то-

вары. Затем протянул руку, откинул мягую газету и воскликнул:

— Не может быть! Не верю! Это сон! Разбудите меня! Какая удача — подлинный Страдивари! Я покупаю эту вещь!

— Она не продается,— сказал Танакис.

— Но я готов заплатить любые деньги!

— Мне очень жаль...

— Пятнадцать тысяч наличными!

— Весьма сожалею, месье...

— Двадцать! — выкрикнул иностранец.

Танакис слегка порозовел:

— Я поговорю с владельцем.

— Вы получите щедрые комиссионные. Это же настоящий Страдивари! О, не будите, не будите меня!..

Вскоре появился бледный юноша.

— Я пришел за скрипкой.

— Продайте ее мне,— сказал Танакис.

— Не могу,— печально ответил юноша,— увы, не могу. Это — подарок моего дедушки. Единственная ценная вещь, которой я обладаю.

— Я заплачу две тысячи наличными.

Юноша чуть не расплакался.

— Я действительно нахожусь в стесненных обстоятельствах. Эти деньги пришлись бы мне очень кстати. Я бы поехал на воды, как рекомендовал мне доктор Шварц. И все-таки — не могу... Это подарок...

— Три,— сказал владелец магазина.

— Увы, не могу.

— Пять! — рявкнул Танакис.

Он хорошо считал в уме. «Я дам пять тысяч этому мальчишке. Иностранец заплатит мне двадцать тысяч плюс комиссионные. Итого...»

— Дедушка, прости,— хныкал юноша,— прости и не сердись. Обстоятельства вынуждают меня пойти на этот шаг!..

Танакис уже отсчитывал деньги.

Юноша поцеловал скрипку. Затем, почти рыдая, удалился.

Танакис довольно потирал руки...

За углом юноша остановился. Тщательно пересчитал деньги. Затем вынул из кармана огромные рыжие усы. Бросил их в канаву и зашагал прочь...

Через несколько месяцев Леопольд бежал из дома. В трюме океанского парохода достиг Китая. В пути его укусила крыса.

Из Китая он направился в Европу. Обосновался почему-то в Бельгии.

Суровый дед Исаак не читал его открыток.

— Малхамовес,— говорил дед,— пере одом.

И как будто забыл о существовании Леопольда. Бабка тайно плакала и молилась.

— В этой Бельгии, наверное, сплошные гои,— твердила она.

Прошло несколько лет. Опустился железный занавес. Известия от Леопольда доходить перестали.

Затем приехал некий Моня. Жил у деда с бабушкой неделю. Сказал, что Леопольд идет по торговой части.

Моня восхищался размахом пятилеток. Распевал: «Наш паровоз, вперед лети!..» При этом был явно невоспитанным человеком. Из уборной орал на всю квартиру:

— Папир! Папир!

И бабка совала ему в щель газету.

Затем Моня уехал. Вскоре деда расстреляли как бельгийского шпиона.

О младшем сыне забыли на целых двадцать лет.

В шестьдесят первом году мой отец случайно зашел на Центральный телеграф. Разговорился с одной из чиновниц. Узнал, что здесь имеются адреса и телефоны всех европейских столиц. Раскрыл телефонную книгу Брюсселя. И немедленно обнаружил свою довольно редкую фамилию...

— Я могу заказать разговор?

— Разумеется,— был ответ.

Через три минуты дали Брюссель. Знакомый голос четко произнес:

— Хелло!

— Леопольд! — закричал мой отец.

— Подожди, Додик,— сказал Леопольд,— я выключу телевизион...

Братья начали переписываться.

Леопольд писал, что у него есть жена Хелена, сын Романо и дочь Моник. А также пудель, которого зовут Игорь. Что у него «свое дело». Что он торгует пишущими машинками и бумагой. Что бумага дорожает, и это его вполне устраивает. Что инфляция тем не менее почти разорила его.

Свою бедность Леопольд изображал так:

«Мои дома нуждаются в ремонте. Автомобильный парк не обновлялся четыре года...»

Письма моего отца звучали куда более радужно: «...Я — литератор и режиссер. Живу в небольшой уютной квартире. (Он имел в виду свою перегороженную фанерой комнатку.) Моя жена уехала на машине в Прибалтику. (Действительно, жена моего отца ездила на профсоюзном автобусе в Ригу за колготками.) А что такое инфляция, я даже не знаю...»

Мой отец завалил Леопольда сувенирами. Отослал ему целую флотилию деревянных ложек и мисок. Мельхиоровую копию самовара, принадлежавшего Льву Толстому. Несколько фигурок из уральских самоцветов. Юбилейное издание «Кобзаря» Шевченко размером с надгробную плиту. А также изделие под названием «Ковчежец бронзированный».

Леопольд откликнулся белоснежным носовым платком в красивой упаковке.

Затем выслал отцу трикотажную майку с надписью: «Эдди Шапиро — колеса и покрышки».

Мой отец не сдавался. Он позвонил знакомому инструктору горкома. Раздобыл по блату уникальный сувенир. А именно — сахарную голову килограммов на восемь. В голубой сатинированной бумаге. Этаким снаряд шестидюймового калибра. И надпись с ятями: «Торговый дом купца первой гильдии Елпидифора Фомина».

Знакомого инструктора пришлось напоить коньяком. Уникальный сувенир был выслан Леопольду.

Через два месяца — извещение на посылку. Вес — десять с половиной килограммов. Пошлина — шестьдесят восемь рублей.

Мой отец необычайно возбудился. Идя на почту, фантазировал: «Магнитофон... Дубленка... Виски...»

— Сколько, по-твоему, весит дубленка?

— Килограмма три,— отвечал я.

— Значит, он выслал три дубленки...

Служащий главпочтамта вынес тяжелый ящик.

— Возьмем такси,— сказал отец.

Наконец, мы приехали домой. Отец, нервно посмеиваясь, достал стамеску. Фанерная крышка с визгом отделилась.

— Идиот! — простонал мой отец.

В ящике мы обнаружили десять килограммов желтоватого сахарного песку...

Через восемь лет нам с матерью пришлось эмигрировать. Мы оказались в Австрии. Хозяин гостиницы

Рейнхард был очень любезен по отношению к нам. Каждое утро нам подавали чай с теплыми булочками и джемом. Каждое утро хозяин неизменно спрашивал:

— Желаете рюмку водки?..

Кроме того, он дал нам радиоприемник и электрический тостер.

По вечерам мы иногда беседовали с ним.

Я узнал, что Рейнхард перебрался из Восточного сектора на Запад. Что он — инженер-строитель. Что работа в гостинице тяготит его, хоть и приносит немалый доход..

— Ты женат? — спросил я.

— Эрика живет в Зальцбурге.

— Есть мнение, что брак на грани развода самый долговечный.

— Я уже перешел эту грань. И все-таки женат... Ты удивлен?

— Нет, — сказал я.

— Ты состоял в партии?

— Нет.

— А в молодежном союзе?

— Да. Это получилось автоматически.

— Я понимаю. Тебе нравится Запад?

— После тюрьмы мне все нравится.

— Мой отец был арестован в сороковом году. Он называл Гитлера «браун швайне».

— Он был коммунист?

— Нет. Он не был комми. И даже не был красным. Просто — образованный человек. Знал латынь... Ты знаешь латынь?

— Нет.

— И я не знаю. И мои дети не будут знать. А жаль... Я думаю, латынь и Род Стюарт несовместимы.

— Кто такой Род Стюарт?

— Шизофреник с гитарой. Желаете рюмку водки?

— Давай.

— Я принесу сэндвичи.

— Это лишнее.

— Ты прав...

Из Вены я написал Леопольду. Мой дядя позвонил в гостиницу. Сказал, что прилетит в конце недели. Точнее — в субботу. Остановится в «Колизеуме». Просит меня в субботу не завтракать.

— Я угощу тебя в хорошем ресторане, — сказал он...

Рано утром я сидел в холле «Колизеума». Выгляде-

ла эта гостиница куда шикарнее нашей. По залу разгуливали изысканные собаки. Гардеробщик был похож на киноактера.

Ровно в одиннадцать спустился дядя. Я сразу узнал его. Леопольд был так похож на моего отца — высокий, элегантный, с красивыми искусственными зубами. Рядом шла моложавая женщина.

Я знал, что должен обнять этого, в сущности, незнакомого человека.

Мы обнялись. Я поцеловал Хелене руку, в которой она держала зонтик.

— До чего ты огромный! — закричал Леопольд. — А где мама?

— Она нездорова.

— Как жаль! Я видел ее фотографии. Ты очень похож на мать.

Я протянул ему сверток. Там была икра, деревянные матрешки и холщовая скатерть.

— Спасибо! Мы оставим вещи у портье. Я тоже имею подарки для вас... А сейчас мы пойдем в ресторан. Ты любишь рестораны?

— Как-то не задумывался.

— Там приятная музыка, красивые женщины...

Мы шли по направлению к центру. Леопольд говорил не умолкая. Хелена молча улыбалась.

— Посмотри, сколько машин! Ты когда-нибудь видел заграничные машины?

— В Ленинграде много туристов...

— Вена — маленький город. Да и Брюссель тоже. В Америке машин гораздо больше. А какие там магазины! В Ленинграде есть большие магазины?

— Магазины-то есть, — говорю.

— Какой же ты огромный! Тебя, наверное, любят женщины?

— Это скоро выяснится.

— Я понимаю. Твоя жена в Америке. Мы посетили ее в Риме. У нее был пластик вместо сумочки. Я подарил ей хорошую сумку за шестьдесят долларов... Стоп! Здесь мы позавтракаем. По-моему, это хороший ресторан.

Мы вошли, разделись, сели у окна.

Заиграла негромкая музыка общего типа. Красивых женщин я что-то не заметил.

— Заказывай все что хочешь, — предложил Леопольд, — может быть, стейк или дичь?

— Мне все равно. На ваше усмотрение.

— Говори мне, пожалуйста,— ты. Я же твой дядя.
— На твое усмотрение.
— Что-нибудь из деликатесов? Ты любишь деликатесы?

— Не знаю.

— Я очень люблю деликатесы. Но у меня большая печень. Я закажу тебе рыбный паштет и немного спаржи.

— Отлично.

— Что ты будешь пить?

— Может быть, водку?

— Слишком рано. Я думаю — белое вино или чай.

— Чай,— сказал я.

— И фисташковое мороженое.

— Отлично.

— Что ты будешь пить? — обратился Леопольд к жене.

— Водку,— сказала Хелена.

— Что? — переспросил Леопольд.

— Водку, водку, водку! — повторила она.

Подошел официант, черноволосый, коренастый, на-верное — югослав или венгр.

— Это мой племянник из России,— сказал Леопольд.

— Момент,— произнес официант.

Он исчез. Внезапно музыка стихла. Раздалось легкое шипение. Затем я услышал надоевшие аккорды «Подмосковных вечеров».

Появился официант. Его физиономия сияла и лоснилась.

— Благодарю вас,— сказал я.

— Он получит хорошие чаевые,— шепнул мне Леопольд.

Официант принял заказ.

— Да, я чуть не забыл,— воскликнул Леопольд,— скажи, как умерли мои родители?

— Деда арестовали перед войной. Бабка Рая умерла в сорок шестом году. Я ее немного помню.

— Арестовали? За что? Он был против коммунистов?

— Не думаю.

— За что же его арестовали?

— Просто так.

— Боже, какая дикая страна,— глухо выговорил Леопольд,— объясни мне что-нибудь.

— Боюсь, что не сумею. Об этом написаны десятки книг.

Леопольд вытер платком глаза.

— Я не могу читать книги. Я слишком много работаю... Он умер в тюрьме?

Мне не хотелось говорить, что деда расстреляли. И Моню я не стал упоминать. Зачем?..

— Какая дикая страна! Я был в Америке, Израиле, объездил всю Европу... А в Россию не поеду. Там шахматы, балет и «черный ворон»... Ты любишь шахматы?

— Не очень.

— А балет?

— Я в нем мало разбираюсь.

— Это какая-то чепуха с привидениями,— сказал мой дядя.

Потом спросил:

— Твой отец хочет сюда?

— Я надеюсь.

— Что он будет здесь делать?

— Стареть. В Америке ему дадут небольшую пенсию.

— На эти деньги трудно жить в свое удовольствие.

— Не пропадем,— сказал я.

— Твой отец романтик. В детстве он много читал.

А я — наоборот — рос совершенно здоровым... Хорошо, что ты похож на мать. Я видел ее фотографии. Вы очень похожи...

— Нас даже часто путают,— сказал я.

Официант принес мороженое. Дядя понизил голос:

— Если тебе нужны деньги, скажи.

— Нам хватает.

— И все-таки, если понадобятся деньги, сообщи мне.

— Хорошо.

— А теперь давайте осмотрим город. Я возьму такси...

Что мне нравилось в дяде — передвигался он стремительно. Где бы мы ни оказывались, то и дело повторял:

— Скоро будем обедать.

Обедали мы в центре города, на террасе. Играл венгерский квартет. Дядя элегантно и мило потанцевал с женой. Потом мы заметили, что Хелена устала.

— Едем в отель,— сказал Леопольд,— я имею подарки для тебя.

В гостинице, улучив момент, Хелена шепнула:

— Не сердись. Он добрый, хоть и примитивный человек.

Я ужасно растерялся. Я и не знал, что она говорит

по-русски. Мне захотелось поговорить с ней. Но было поздно...

Домой я вернулся около семи. В руках у меня был пакет. В нем тихо булькал одеколон для мамы. Галстук и запонки я положил в карман.

В холле было пусто. Рейнхард возился с калькулятором.

— Я хочу заменить линолеум,— сказал он.

— Неплохая мысль.

— Давай выпьем.

— С удовольствием.

— Рюмки взяли парни из чешского землячества. Ты можешь пить из бумажных стаканчиков?

— Мне случалось пить из футляра для очков.

Рейнхард уважительно приподнял брови.

Мы выпили по стакану бренди.

— Можно здесь и переночевать,— сказал он,— только диваны узкие.

— Мне доводилось спать в гинекологическом кресле.

Рейнхард поглядел на меня с еще большим уважением.

Мы снова выпили.

— Я не буду менять линолеум,— сказал он.— Я передумал, ибо мир обречен.

— Это верно,— сказал я.

— Семь ангелов, имеющие семь труб, уже приготовились.

Кто-то постучал в дверь.

— Не открывай,— сказал Рейнхард,— это конь бледный... И всадник, которому имя — смерть.

Мы снова выпили.

— Пора,— говорю,— мама волнуется.

— Будь здоров,— с трудом выговорил Рейнхард,— чао. И да здравствует сон! Ибо сон — это бездеятельность. А бездеятельность — единственное нравственное состояние. Любая жизнедеятельность есть гниение... Чао!..

— Прощай,— сказал я,— жизнь абсурдна! Жизнь абсурдна уже потому, что немец мне ближе родного дяди...

С Рейнхардом мы после этого виделись ежедневно. Честно говоря, я даже не знаю, как он проник в этот рассказ. Речь-то шла совсем о другом человеке. О моем дяде Лео...

Да, линолеум он все-таки заменил...

Леопольда я больше не видел. Некоторое время переписывался с ним. Затем мы уехали в Штаты. Переписка заглохла.

Надо бы послать ему открытку к Рождеству...

Глава пятая

Сначала тетка Мара была экспедитором. Затем более квалифицированной типографской работницей, если не ошибаюсь — лнотиписткой. Еще через некоторое время — корректором. После этого — секретарем редакции.

И затем всю жизнь она редактировала чужие книги.

Тетка редактировала книги многих замечательных писателей. Например, Тынянова, Зощенко, Форш...

Судя по автографам, Зощенко относился к ней хорошо. Все благодарил ее за совместную работу...

Тетка была эффектной женщиной. В ее армянской, знойной красоте было нечто фальшивое. Как в горном пейзаже или романтических стихотворениях Лермонтова.

Тетка была наблюдательной и остроумной. Обладала хорошей памятью. Много из того, что она рассказывала, я запомнил навсегда. Вспоминается, например, такой эпизод из ее жизни.

Как-то раз она встретила на улице Михаила Зощенко. Для писателя уже наступили тяжелые времена. Зощенко, отвернувшись, быстро прошел мимо.

Тетка догнала его и спрашивает:

— Отчего вы со мной не поздоровались?

Зощенко усмехнулся и говорит:

— Извините. Я помогаю друзьям не здороваться со мной...

Тетка редактировала Юрия Германа, Корнилова, Сейфуллину. Даже Алексея Толстого. И о каждом знала что-нибудь смешное.

...Форш перелистывала в доме отдыха жалобную книгу. Обнаружила такую запись: «В каше то и дело попадаются разнообразные лесные насекомые. Недавно встретился мне за ужином жук-короед...»

— Как вы думаете, — спросила Форш, — это жалоба или благодарность?..

Про Бориса Корнилова она тоже рассказала мне смешную историю.

...Николай Тихонов собирал материалы для альмана-

ха. Тетка была секретарем этого издания. Тихонов попросил ее взять у Корнилова стихи. Корнилов дать стихи отказался.

— Клал я на вашего Тихонова с прибором,— заявил он.

Тетка вернулась и сообщает главному редактору:

— Корнилов стихов не дает. Клал, говорит, я на вас с ПРОБОРОМ...

— С прибором,— раздраженно исправил Тихонов,— с прибором. Неужели трудно запомнить?..

И про Алексея Толстого она знала много любопытного.

..Раз высокий и грузный Алексей Толстой шел по издательскому коридору. Навстречу бежала моя тетка. Худенькая и невысокая, она с разбегу ударилась Толстому головой в живот.

— Ого! — сказал Толстой, потирая живот.— А если бы здесь находился глаз?!

Тетка знала множество смешных историй.

Потом, самостоятельно, я узнал, что Бориса Корнилова расстреляли.

Что Зоценко восславил рабский лагерный труд.

Что Алексей Толстой был негодяем и лицемером.

Что Ольга Форш предложила вести летосчисление с момента, когда родился некий Джугашвили (Сталин).

Что Леонов спекулировал коврами в эвакуации.

Что Вера Инбер требовала казни своего двоюродного брата (Троцкого).

Что любознательный Павленко ходил смотреть, как допрашивают Мандельштама.

Что Юрий Олеша предал своего друга Шостаковича.

Что писатель Мирошниченко избивал жену велосипедным насосом...

И многое другое.

Тетка же помнила в основном смешные истории. Я ее не виню. Наша память избирательна, как урна.

Я думаю, моя тетка была хорошим редактором. Так мне говорили писатели, которых она редактировала. Хотя я не совсем понимаю, зачем редактор нужен вообще.

Если писатель хороший, редактор вроде бы не требуется. Если плохой, то редактор его не спасет. Помоему, это совершенно ясно.

Я знаю, как моя тетка работала с авторами. Я иногда присутствовал. Например, она говорила:

— Юра, у тебя здесь четыре раза встречается слово «промоглый».

— Действительно, — удивлялся Юрий Павлович Герман, — как это я не заметил?

И все же я думаю, что редактор писателю не требуется. Даже хорошему. А уж плохому — тем более.

Был, например, такой исторический случай. В одном из своих романов Достоевский написал: «Рядом находится круглый стол овальной формы...»

Кто-то прочитал это сочинение в рукописи и говорит:

— Федор Михайлович, вы оговорились, надо бы исправить.

Достоевский подумал и сказал:

— Оставьте так...

Гоголь в ранних повестях употреблял слово «щекатурка». Как-то раз Аксаков ему говорит:

— Отчего это вы пишете — «щекатурка»?

— А как надо? — спросил Гоголь.

— Штукатурка.

— Не думаю, — сказал Гоголь.

— Поглядите в словаре.

Взяли словарь Даля. Посмотрели, действительно — штукатурка.

В дальнейшем Гоголь неизменно писал — «штукатурка». Но в переизданиях это слово не исправил.

Почему?

Почему Достоевский не захотел ликвидировать явную оговорку? Почему Александр Дюма назвал свой роман «Три мушкетера», хотя их, безусловно, четыре?

Таких примеров сотни.

Видимо, ошибки, неточности — чем-то дороги писателю. А значит, и читателю.

Как можно исправить у Розанова: «Мы ничего такого не плакали...»?

Я бы даже опечатки исправлял лишь с ведома автора. Не говоря о пунктуации. Пунктуацию каждый автор изобретает самостоятельно.

Я думаю, тетка была хорошим редактором. Вернее, хорошим человеком, доброжелательным и умным.

Лично я хороших редакторов не встречал. Хотя среди них было много прекрасных людей.

Хорошего редактора я встретил лишь однажды. Кажется, на «Ленфильме». Это была некая Хелли Руммо. Она была эстонка и едва говорила по-русски. Слабое

знание языка придавало ее высказываниям особую четкость. Она говорила:

— Сценарий хороший. Значит, его не примут...

В шестидесятые годы я начал что-то писать. Показал сочинения тетке. Тетка обнаружила в моих рассказах сотни ошибок. Стилистических, орфографических и пунктуационных.

Она говорила:

— Здесь написано: «...родство тишины и мороза...» Это неточно. Мороз и тишина — явления различного порядка. Следует писать: «В лесу было морозно и тихо». Без выкрутасов...

— Как это — в лесу? — удивлялся я. — Действие происходит в штрафном изоляторе.

— Ах, да, — говорила тетка...

В те годы ей доверили литературное объединение. Из него вышло множество хороших писателей. Например, Гансовский и Пикуль.

Среди других в объединение пришел Иосиф Бродский. Тетка не приняла его. О стихах высказалась так:

— Бред сумасшедшего!

(Кстати, в поэзии Бродского есть и это.)

Бродского не приняли. Зато приняли многих других. В Ленинграде очень много поэтов. Есть три Некрасова — Владимир, Георгий и Борис...

Моя тетка была членом партии. Я ее не виню. Многие достойные и честные люди оказались в рядах Коммунистической партии. Они не виноваты. Просто им хотелось жить лучше. Занимать более высокие посты...

Разумеется, тетка переживала, когда мучили Ахматову и Зощенко. А когда травили Пастернака, она даже заболела. Она говорила:

— Это политически неверный ход. Мы теряем свой престиж на Западе. Частично перечеркиваем завоевания Двадцатого съезда...

За много лет тетка собрала прекрасную библиотеку. На большинстве ее книг имелись автографы. Зачастую очень трогательные и нежные.

Красочный автограф Валентина Пикуля начинался словами:

«Акушерке наших душ...»

Автограф фантаста Гансовского выглядел следующим образом:

«Через года и пространства великие — руку!..»

Как недавно выяснилось, Гансовский был стукачом. Доносил на своих знакомых.

Пикуль тоже отличился. Говорил на суде Кириллу Владимировичу Успенскому:

— Кирилл! Мы все здесь желаем тебе добра, а ты продолжаешь лгать!..

Успенскому дали пять лет в разгар либерализма. А Пикулью — квартиру в Риге...

В старости тетка много читала. Книг с автографами не перечитывала. Возле ее кровати лежали томики Ахматовой, Пастернака, Баратынского...

Когда тетка умерла, библиотеку сразу же распродали. Предварительно брат и его жена вырвали листы с автографами. А то неудобно...

Незадолго до этого тетка прочитала мне стихи:

Жизнь пройдена до середины,
А я все думаю, что горы сдвину,
Поля засею, орошу долины,
А жизнь давно уже за половину...

— Стихи одной поэтессы, — улыбнулась тетка.

Я думаю, она сама их написала. Стихи, конечно, неуклюжие. Первая строчка — буквальная цитата из Данте.

И все-таки эти стихи растрогали меня.

Жизнь пройдена до середины,
А я все думаю, что горы сдвину...

Тетка ошиблась.

Жизнь подходила к концу.

Исправить опечатки было невозможно...

Глава шестая

Биография теткиного мужа Арона полностью отражает историю нашего государства. Сначала он был гимназистом. Потом — революционным студентом. Потом — недолгое время — красноармейцем. Потом — как это ни фантастически звучит — белополяком. Потом опять красноармейцем, но уже более сознательным.

Когда гражданская война закончилась, дядя Арон поступил на рабфак. Затем он стал нэпманом и, кажется, временно разбогател. Затем кого-то раскулачивал.

Затем он чистил ряды партии. Затем его самого вычистили. За то, что он был нэпманом...

На собрании мой дядя произнес речь. Он сказал: — Если вы меня исключите, я должен буду рассказать об этом жене. Что вызовет дикий скандал. Короче, решайте сами...

Товарищи подумали и решили:

«Исключить!»

Затем его, правда, восстановили. Мало этого, дядя Арон так и не сидел.

Он стал административным работником. Он был директором чего-то. Или заместителем директора по какой-то части...

Сталина мой дядя обожал. Обожал как непутевого сына. Видя его недостатки.

Пластинки с речами генералиссимуса хранились в красных альбомах. Были такие альбомы со шнурками и рельефным портретом вождя...

Когда Сталин оказался бандитом, мой дядя искренне горевал.

Затем он полюбил Маленкова. Он говорил, что Маленков — инженер.

Когда Маленкова сняли, он полюбил Булганина. Булганин обладал внешностью захоластного дореволюционного полицмейстера. А мой дядя родом был как раз из захоластья, из Новороссийска. Возможно, он честно любил Булганина, напоминавшего ему идолов детства.

Затем он полюбил Хрущева. А когда Хрущева сняли, мой дядя утратил любовь. Ему надоело зря расходовать свои чувства.

Он решил полюбить Ленина. Ленин давно умер, и снять его невозможно. Даже замарать как следует, и то нелегко. А значит, невозможно отнять любовь...

При этом мой дядя как-то идейно распустился. Он полюбил Ленина, а также полюбил Солженицына. Сахарова он тоже полюбил. Главным образом за то, что Сахаров изобрел водородную бомбу. Однако не спился, а борется за правду.

Брежнева мой дядя не любил. Брежнев казался ему временным явлением (что не подтвердилось)...

В последние годы жизни он был чуть ли не диссидентом. Но диссидентом умеренным. Власова не признавал. Солженицына уважал выборочно.

Брежневу мой дядя посылал анонимные записки. Он писал их в сберегательной кассе фиолетовыми чер-

нилами. К тому же левой рукой и печатными буквами. Записки были короткие. Например:

«Куда ведешь Россию, монстр?»

И подпись:

«Генерал Свиридов».

Или:

«БАМ — это фикция!»

И подпись:

«Генерал Колюжный».

Иногда он пользовался художественной формой:

«Твои брови жаждут крови!»

И подпись:

«Генерал Нечипоренко»...

Дядя хотел вернуться к истокам ленинизма. А я не хотел. Вот мы и ругались без конца. Уровень полемики был невысок.

— Провокатор, сифилитик и немецкий шпион,— говорил я о Ленине.

— Святотатец и болван! — реагировал дядя уже в мой адрес.

Мы затрагивали довольно узкий круг тем: суд Линча, падение нравов, вьетнамская эпопея...

Мой дядя ужасно сердился.

— Фашист,— кричал он иногда,— матерый вла-совец!..

И вдруг мой дядя умер. Вернее, тяжело заболел. И решил, что ему пора умирать. Ему было 76 лет.

— Вызовите Сережу,— попросил он.

Я сразу же приехал. Дядя лежал на высоких подушках, худой и бледный. Он попросил всех уйти из комнаты.

— Сергей,— очень тихо произнес мой дядя,— я умираю...

Я молчал.

— Я не боюсь смерти,— продолжал мой дядя.

Он выждал паузу и заговорил снова:

— Я честно заблуждался... Мучительно переживал свои ошибки... И вот что я понял. Те святыни, под знаком которых я жил, оказались ложными... Я потерпел идейный крах...

Дядя попросил воды. Я поднес чашку к его губам.

— Сергей,— продолжал мой дядя,— я всегда ругал тебя. Я ругал тебя, потому что боялся. Я боялся, что тебя арестуют. Ты очень невоздержан... Я критиковал тебя, но внутренне соглашался. Ты должен меня понять.

Сорок лет в этой... (тут дядя грязно выругался) партии. Шестьдесят лет в этом... (тут дядя повторил ругательство) государстве...

— Успокойся,— сказал я.

— ...превратили меня в шлюху,— закончил дядя.

Он сделал усилие и продолжал:

— Ты всегда был прав. Я возражал, потому что боялся за тебя. Прости...

Он заплакал. Мне стало очень жаль его. Но тут пришли медработники и увезли дядю в больницу.

Моего дядю увезли в обыкновенную больницу. Тетка думала, что его увезут в Свердловскую.

— Ты же старый большевик,— говорила она.

— Нет,— возражал мой дядя,— я не старый большевик.

— То есть как?

— Старый большевик — конкретное понятие. Старый большевик — это кто вступил до тридцать пятого года. А я вступил несколько позже.

Тетка не могла поверить.

— Значит, ты не старый большевик?!

— Нет.

— Все равно,— говорила она,— может, и тебе что-нибудь полагается?

— Возможно,— соглашался дядя,— возможно, и мне что-то полагается. Например, яблоко...

Короче, моего дядю увезли в обыкновенную больницу. Когда его осматривал лечащий врач, дядя спросил:

— Доктор, вы фронтовик?

— Да,— ответил врач,— я фронтовик.

— И я фронтовик,— сказал мой дядя,— ответьте честно, как фронтовик фронтовику, долго ли я пролежу в больнице?

— При благоприятном ходе событий — месяц,— ответил врач.

— А при неблагоприятном,— усмехнулся дядя,— значительно меньше?..

Он пролежал в больнице недели три. И его привезли домой.

Я сразу же его навестил.

Мой дядя казался печальным и тихим. Словно обрел какую-то высшую мудрость.

Однако когда я упомянул в разговоре Че Гевару, дядя насторожился.

— Авантюрист и гангстер,— сказал я.

— Тунеядец и болван! — реагировал дядя. И дальше с огромным подъемом:

— Укажи мне благую идею, лежащую вне коммунизма!..

Тут он неожиданно прервал свою речь. Очевидно, вспомнил наш предсмертный разговор. Виновато покосился на меня.

Я промолчал.

С тех пор мы часто виделись и неизменно ругались. Дядя проклинал рок-музыку, невозвращенца Барышникова и генерала Андрея Власова, Я — бесплатную медицину, «Лебединое озеро» и Феликса Дзержинского.

Потом мой дядя снова заболел.

— Вызовите Сережу,— попросил.

Я сразу же приехал. Дядя выглядел осунувшимся и бледным. На табурете у его изголовья стояли бесчисленные флаконы. Там же интимно розовела вставная челюсть.

— Сергей,— глухо произнес мой дядя.

Я погладил его руку.

— У меня к тебе огромная просьба. Дай слово, что выполнишь ее.

Я кивнул.

— Задуши меня,— попросил дядя.

Я растерянно молчал.

— Мне надоело жить. Я не верю, что коммунизм может быть построен в одной стране. Я скатился в болото троцкизма.

— Не думай об этом,— сказал я.

— Ты готов выполнить мою просьбу?.. Я вижу, ты колеблешься... Конечно, я мог бы принять двадцать таблеток снотворного. Увы, это далеко не всегда приводит к смерти... А если меня разобьет паралич? И я стану для всех еще более тяжелой обузой? Поэтому я и вынужден был к тебе обратиться...

— Перестань,— сказал я,— перестань...

— Я отблагодарю тебя,— сказал мой дядя,— я завещаю тебе сочинения Ленина. Отнеси их в макулатуру и поменяй на «Буратино»... Но сначала задуши меня.

— Перестань,— сказал я.

— Кругом злоба и глупость,— сказал мой дядя,— правды нет...

— Успокойся.

— Знаешь, отчего я мучаюсь? — продолжал он.—

Когда мы жили в Новороссийске, там был забор. Высокий коричневый забор. Я каждый день проходил мимо этого забора. А что было внутри, не знаю. Не спросил. Я не думал, что это важно... Как бессмысленно и глупо прожита жизнь! Значит, ты отказываешься?

— Перестань,— сказал я.

Дядя отвернулся и замолчал.

Через две недели он выздоровел. И мы снова ужасно поссорились.

— Болван! — кричал мой дядя. — Ты не хочешь понять! Идея коммунизма, скомпрометированная бездарными адептами, по-прежнему гениальна! Недаром коммунистическую идеологию разделяют миллионы людей!..

— Кто ее разделяет?! — говорил я. — Да ни один здравомыслящий человек!..

— Значит, не разделяют? — багровел дядя. — Не разделяют и молчат? Значит, все кругом лицемеры?!.

— Идеологию вовсе не обязательно разделять,— говорил я,— ее либо принимают, либо не принимают. Это как тюрьма, нравится, не нравится — сиди...

— Болван! — кричал мой дядя. — Власовец, фарцовщик!..

У изголовья его висел небольшой портрет Солженицына. Когда приходили гости, дядя его снимал...

Это повторялось снова и снова. Дядя заболел, потом выздоравливал. Мы ссорились. Потом мирились. Шли годы. Он совсем постарел. Не мог ходить. Я был к нему очень привязан...

Как я уже говорил, биография моего дяди отражает историю нашего государства... Нашей любимой и ужасной страны...

Потом мой дядя все же умер. Жаль...

А мне не дает покоя высокий коричневый забор...

Глава седьмая

С раннего детства мое воспитание было политически тенденциозным. Мать, например, глубоко презирала Сталина. Более того, охотно и публично выражала свои чувства. Правда, в несколько оригинальной концепции. Она твердила:

— Грузин порядочным человеком быть не может!

Этому ее научили в армянском квартале Тбилиси, где она росла.

Отец мой, напротив, испытывал почтение к вождю. Хотя у отца как раз были веские причины ненавидеть Сталина. Особенно после того, как расстреляли деда.

Может быть, отец и ненавидел тиранию. Но при этом чувствовал уважение к ее масштабам.

В общем, то, что Сталин — убийца, моим родителям было хорошо известно. И друзьям моих родителей — тоже. В доме только об этом и говорили.

Я одного не понимаю. Почему мои обыкновенные родители все знали, а Эренбург — нет?

В шесть лет я знал, что Сталин убил моего деда. А уж к моменту окончания школы знал решительно все.

Я знал, что в газетах пишут неправду. Что за границей простые люди живут богаче и веселее. Что коммунистом быть стыдно, но выгодно.

Это вовсе не значит, что я был глубокомысленным юношей. Скорее, наоборот. Просто мне это сказали родители. Вернее, мама.

Отец меня почти не воспитывал. Тем более что они с матерью вскоре развелись.

Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками — удручающая хроника коммунального подсознания.

Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.

Жизнелюбивый инженер Гордей Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягодицы.

Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.

Техник Харин — бутылки с рюмками.

Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.

Я рисовал пистолеты и сабли...

Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)

Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихла. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала...

Мать работала корректором в три смены. Иногда ложилась поздно, иногда рано. Иногда спала днем.

По коридору бегали дети. Грохотал военными сапо-

гами Тихомиров. Таскал свой велосипед неудачник Харин. Репетировала Журавлева.

Мать не высыпалась. А работа у нее была ответственная. (Да еще при жизни Сталина.) За любую опечатку можно было сесть в тюрьму.

Есть в газетном деле одна закономерность. Стоит пропустить единственную букву — и конец. Обязательно выйдет либо непристойность, либо — хуже того — антисоветчина. (А бывает и то и другое вместе.)

Взять, к примеру, заголовок: «Приказ главнокомандующего».

«Главнокомандующий» — такое длинное слово, шестнадцать букв. Надо же пропустить именно букву «Л». А так чаще всего и бывает.

Или: «Коммунисты осуждают решения партии» (вместо — «обсуждают»).

Или: «Большевистская каторга» (вместо — «когорта»).

Как известно, в наших газетах только опечатки правдивы.

Последние двадцать лет за это не расстреливают. Мать работала корректором тридцать лет назад.

Она совсем не высыпалась. Целыми днями мучительно боролась за тишину.

Однажды не выдержала. Повесила отчаянный лозунг на своих дверях:

«Здесь отдыхает полутруп. Соблюдайте тишину!»

И вдруг наступила тишина. Это было неожиданно и странно. Тихомиров бродил по коридору в носках. Хватал всех за руки и шипел:

— Тихо! У Довлатовой ночует политрук!

Полковник радовался, что мама обрела, наконец, личное счастье. Да еще с идейно выдержанным товарищем. Кроме того, политрук внушал опасения. Мог оказаться старше Тихомирова по воинскому званию...

Тишина продолжалась неделю. Затем обман был раскрыт...

Родилась мама в Тбилиси. В детстве занималась музыкой. Какая-то русская дама учила ее бесплатно.

Жить было весело. Во-первых — юг. К тому же — четверо детей в семье.

Сестра Мара была озорницей и умницей. Сестра Анеля — злоксы и капризулей. Братик Рома — драчуном и забиякой. Мать казалась наиболее заурядным ребенком...

Шопенгауэр писал, что люди абсолютно не меняются. Каким же образом тетка Мара превратилась в строгого литературного редактора?

Почему хулиган и задира дядя Рома стал ordinary чиновником?

Почему капризная злюка Анеля выросла самой доброй, честной и непритязательной? Безупречной настолько, что о ней скучно писать?..

А мама — живет в капиталистических джунглях, читает «Эхо» и в супермаркете переходит от беспомощности на грузинский язык?..

О ее молодости я знаю совсем немного. В тридцатые годы сестры покинули Грузию. Обосновались в Ленинграде.

Тетка Анеля поступила на факультет иностранных языков.

Тетка Мара работала в издательстве.

Мать подала документы в консерваторию. И параллельно в театральный институт. Сдавала экзамены одновременно. (Тогда это разрешалось.) И ее приняли в оба заведения. Мать говорит — тогда всех принимали. Создавалась новая бесклассовая интеллигенция.

Был выбран театральный институт. Думаю, что зря.

Творческих профессий вообще надо избегать. Не можешь избежать, тогда другой вопрос. Тогда просто выхода нет. Значит, не ты ее выбрал, а она тебя...

Мать проработала в театре несколько лет. В немногих рецензиях, которые я читал, ее хвалили.

И коллектив, что называется, ее уважал. Актер Бернацкий, например, говорил:

— Хорошо бы Донату морду набить!.. Да Норку жалко...

Донат — это мой отец. Который реагировал следующим образом:

— С таким лицом, как у Жени Бернацкого, из дома не выходят...

Затем родился я. Отец и мама часто ссорились. Потом разошлись. А я остался.

Было уже не до гастролей. И мама бросила театр.

И правильно. Я наблюдал многих ее знакомых, которые до смерти принадлежали театру. Это был мир уязвленных самолюбий, растоптанных амбиций, бесконечных поношений чужой игры. Это были нищие, мстительные и завистливые люди...

Мама стала корректором. И даже прекрасным коррек-

тором. Очевидно, был у нее талант к этому делу. Ведь грамматики она не знала совершенно. Зато обладала корректорским чутьем. Такое иногда случается.

Я думаю, она была прирожденным корректором. У нее, если можно так выразиться, было этическое чувство правописания. Она, например, говорила про кого-то:

— Знаешь, он из тех, кто пишет «вообще» через дефис...

Что означало крайнюю меру нравственного падения.

О человеке же пустом, легкомысленном, но симпатичном говорилось:

— Так, старушонка через «ё»...

Мать с утра до ночи работала. Я очень много ел, я рос. Мать же питалась в основном картошкой. Лет до семнадцати я был абсолютно уверен, что мать предпочитает картошку всему остальному. (Здесь, в Нью-Йорке, окончательно стало ясно, что это не так...)

Квартира была скучная, хоть и многолюдная. События происходили крайне редко.

Однажды к полковнику Тихомирову нагрянул дальний родственник — Сучков. Рослый неуклюжий малый из поселка Дулево.

— Дядя,— сказал он уже на пороге,— окажите материальное содействие в качестве трех рублей. Иначе пойду неверной дорогой...

— Один неверный шаг ты уже сделал,— высказался Тихомиров,— ибо просишь денег. А денег у меня нет. Так что не рассчитывай...

Племянник уселся на коммунальный сундук и заплакал. Так он просидел до обеда.

Наконец мать сказала:

— Заходите. Вы, наверное, проголодались?

— Давно,— подтвердил Сучков.

Он поселился у нас. Без конца ел и гулял по Ленинграду. Вечерами пил чай и смотрел телевизор. Он увидел телевизор впервые.

Полковник Тихомиров держался нейтрально. Только перестал здороваться с мамой.

Наконец мать спросила:

— Володя, каковы твои планы?

Сучков вздохнул:

— Мне бы денег раздобыть на учебники... И на дрова... Учиться хочу,— закончил он с интонацией молодого Ломоносова.

И строго добавил:

— А то, боюсь, пойду неверной дорогой...

Мать заняла для него у соседки пятнадцать рублей. Купила Сучкову билет на поезд.

За сорок минут до отъезда Володя попросил чаю. Он пил чашку за чашкой, растворяя в кипятке безграничное количество сахара. Так, словно хотел целиком исчерпать неожиданную благосклонность окружающего мира.

— Смотри не опоздай,— тревожно говорила мама. Сучков вытирал лицо газетой, неизменно отвечая:

— Что-то к воде потянуло...

И мать не выдержала:

— Так пойд и утопись! — закричала она.

Чужой родственник нахмурился. Укоризненно посмотрел на мать.

Воцарилась тягостная пауза.

— Какие вы мелочные, Нонна Степановна,— упрекнул будущий Ломоносов, путая разом — имя, отчество, факты...

Он встал. Окинул трагическим взглядом колбасу и сахар, расправил плечи и зашагал неверной дорогой...

Так мы и жили.

И вечно я доставлял матери огорчения.

Сначала я плохо учился. Плохо и разнообразно. То есть иногда я вдруг становился участником какой-нибудь районной химической олимпиады. А потом опять шли сплошные двойки. Даже по литературе.

В 54-м году я стал победителем всесоюзного конкурса юных поэтов. Нас было трое победителей — Леня Дятлов, Саша Макаров и я. Впоследствии Леня Дятлов спился, Макаров переводит с языка коми. А я вообще неизвестно чем занимаюсь. Но тогда мы были победителями. Премии нам вручал Самуил Яковлевич Маршак.

Конкурс миновал. И снова пошли двойки. Причем не за вольномыслие, а за тупость. Я безбожно списывал примитивные классные работы. А «Молодую гвардию» не читал до сих пор. (И теперь уже не прочту...)

Короче, учился я плохо. Дружил со школьным отребьем. Более того, курил и даже немного выпивал.

В университете я тоже занимался плохо. Зато постоянно угрожал матери женитьбой. Причем бог знает на ком...

Потом меня забрали в армию.

Служил я тоже плохо. Я был лишен молодцеватос-

ти. Так и прослужил до конца с нечищенной бляхой.

Затем меня демобилизовали.

Я стал работать в многотиражных газетах. То и дело переходил с места на место. Да еще начал писать рассказы.

Рассказы, естественно, не печатали. Я стал больше пить. Маска непризнанного гения как-то облегчала существование.

И друзья появились соответствующие. Бородатые, загадочные и мрачные. Кроме того, они не мыли рук после уборной. А мать к этому относилась строго. Едва ли не строже, чем к правописанию.

Если друг шел в уборную, мать замирала. По смене тембров льющейся воды устанавливала, моет он руки или нет. Мать ждала и прислушивалась. Сначала было тихо. Затем с мощным грохотом падала вода из бака. И тотчас распаивалась дверь — значит, не мыл...

Мать начинала заискивать и суетиться:

— Наверное, кончилось мыло? Дать вам чистое полотенце?

Мать задавала навоящие вопросы. Настойчиво пыталась вынудить друга к гигиене.

Друг отвечал:

— Не беспокойтесь. Все нормально...

А некоторые лишь с удивлением поднимали брови.

Если друг задерживался, если грохочущий поток сменялся журчанием водопроводного крана, мать расцветала. Она прислушивалась к наступившей затем тишине. Улавливала шорох полотенца.

Она предлагала такому гостю кофе. Беседовала с ним о Рахманинове...

Но это случалось редко. Короче, те еще были друзья...

Их тоже не печатали. Мои друзья реагировали на это болезненно и шумно. Они пили крепленое вино и считали друг друга гениями. Почти все мои друзья были гениями. А иные были гениями сразу в нескольких областях. Например, Саша Кондратов был гением в математике, лингвистике, поэзии, физике и цирковом искусстве. На мизинце его красовался самодельный оловянный перстень в форме черепа...

Мать симпатизировала друзьям, подкармливала их. Выслушивала хвастливые, безумные излияния.

Она изображала толпу. (Какой же гений без толпы, без черни?!.) Она умышленно задавала наивные вопросы. Как бы делала выкрики из переполненного зала.

— Скажите, Паустовский талантливый? — интересовалась она.

— Паустовский? Дерьмо! — академически реагировал собеседник.

— А Катаев?

— Полное дерьмо...

В семьдесят шестом году три моих рассказа были опубликованы на Западе. Отныне советские издания были для меня закрыты. (Как, впрочем, и до этого.) Я был одновременно горд и перепуган.

Друзья реагировали сложно. Одни предостерегали:

— Вот увидишь, тебя посадят. Пришьют какую-нибудь уголовщину, и будь здоров!..

Другие высказывались так:

— Напечатали, а что толку? Тиражи на Западе микроскопические. Там не заметят. И тут все дороги закроют...

Третьи как будто осуждали:

— Писатель должен издаваться на родине.

И только мать все повторяла:

— Как я рада, что тебя наконец печатают!..

Затем пошли неприятности. Меня отовсюду выгнали. Лишили самой мелкой халтуры.

Я устроился сторожем на какую-то дурацкую баржу — и оттуда выгнали.

Я стал очень много пить. Жена и дочка уехали на Запад. Мы остались вдвоем. Точнее — втроем. Мама, я и собака Глаша.

Началась форменная травля. Я обвинялся по трем статьям уголовного кодекса. Тунеядство, неповиновение властям, «иное холодное оружие».

Все три обвинения были липовые.

Милиция являлась чуть не каждый день.

Но тут и я принял защитные меры.

Жили мы на пятом этаже без лифта. В окне напротив постоянно торчал Гена Сахно. Это был спившийся журналист и, как многие алкаши, человек ослепительного благородства. Целыми днями глушил портвейн у окна.

Если к нашему подъезду шла милиция, Гена снимал трубку.

— Бляди идут, — лаконично сообщал он.

И я тотчас же запирали двери на щеколду.

Милиция уходила ни с чем. Гена Сахно получал честно заработанный рубль.

Так мы и жили.

Мать все повторяла:

— Я рада, что тебя наконец печатают...

Затем меня неожиданно посадили в Каляевскую тюрьму. Подробности излагать не хочется. Скажу лишь одно — в тюрьме мне не понравилось.

Раньше я говорил старшему брату:

— Ты сидел в лагере... Я служил в лагере... Какая разница? Это одно и то же...

Сейчас я понял. Это вовсе не одно и то же. А подробности излагать не хочется...

Затем меня неожиданно выпустили. И предложили уехать. Я согласился.

Я даже не спрашивал, готова ли к отъезду мать. Меня изумило, что есть семьи, в которых эта проблема решается долго и трагически.

С Глашей тоже не было хлопот. Пришлось уплатить за нее какие-то деньги. По два шестьдесят за килограмм ее веса. Глашу оценили чуть дороже свинины. И значительно дешевле нототении...

Сейчас мы в Нью-Йорке, и уже не расстанемся. И прежде не расставались. Даже когда я надолго уезжал...

Глава восьмая

Отец мой всегда любил покрасоваться. Вот и стал актером.

Жизнь казалась ему грандиозным театрализованным представлением. Сталин напоминал шекспировских злодеев. Народ безмолвствовал, как в «Годунове».

Это была не комедия и не трагедия, а драма. Добро в конечном счете торжествовало над злом. Низменные порывы уравновешивались высокими страстями. Шли в одной упряжке радость и печаль. Центральный герой оказывался на высоте.

Центральным героем был он сам.

Я думаю, у моего отца были способности. Он пел куплеты, не имея музыкального слуха. Танцевал, будучи нескладным еврейским подростком. Мог изобразить хабреца. Это и есть лицедейство...

Владивосток был театральным городом, похожим на Одессу. В портовых ресторанах хулиганили иностранные моряки. В городских садах звучала африканская музыка. По главной улице — Светланке — фланировали

щеголи в ядовито-зеленых брюках. В кофейнях обсуждалось последнее самоубийство из-за неразделенной любви...

Дед Исаак был театральной личностью. Бывший гвардеец, атлет и кутила, он немного презирал сыновей. Один писал стихи. Второй играл на сцене. Наиболее дельным и практичным оказался младший, Леопольд. Восемнадцати лет он навсегда бежал из дома.

Отец мой тоже писал стихи. И речь в них шла о тяге к смерти. В чем проявлялся, я думаю, избыток жизненных сил. Стихи увлекали его как элемент театрального представления.

И еще он полюбил теннис. У теннисистов была эффектная спецодежда. Судейство велось на английском языке...

Как многие захолустные юноши, отец и его братья потянулись в столичные города. Михаил уехал в Ленинград совершенствовать поэтическое дарование. Донат последовал за ним. Размашистый Леопольд оказался в Шанхае.

Мой отец поступил в театральный институт. Как представитель новой интеллигенции, довольно быстро его закончил. Стал режиссером. Все шло хорошо.

Его приняли в академический театр. Он работал с Вивьеном, Толубеевым, Черкасовым, Адашевским.

Я видел положительные рецензии на его спектакли.

Видел я и отрицательные рецензии на спектакли Мейерхольда. Они были написаны примерно в те же годы.

Затем наступили тревожные времена. Друзья моих родителей стали неожиданно исчезать.

Мать проклинала Сталина. Отец рассуждал по-другому. Ведь исчезали самые заурядные люди. И в каждом, помимо достоинств, были существенные недостатки. В каждом, если хорошо подумать, было нечто отрицательное. Нечто такое, что давало возможность примириться с утратой.

Когда забрали жившего ниже этажом хормейстера Лялина, отец припомнил, что Лялин был антисемитом. Когда арестовали филолога Рогинского, то выяснилось, что Рогинский — пил. Конферансье Зацепин нетактично обращался с женщинами. Гример Сидельников вообще предпочитал мужчин. А кинодраматург Шапиро, будучи евреем, держался с невероятным апломбом.

То есть совершалась драма, порок в которой был наказан.

Затем арестовали деда — просто так. Для отца это было полной неожиданностью. Поскольку дед был явно хорошим человеком.

Разумеется, у деда были слабости, но мало. Притом сугубо личного характера. Он много ел..

Драма перерастала в трагедию. Мой отец растерялся. Он понял, что смерть бродит где-то неподалеку. Что центральный герой находится в опасности. Как в трагедиях Шекспира.

Потом моего отца выгнали из театра. Да и как было не выгнать, следуя его же теории. Еврей, отец расстрелян, младший брат за границей и так далее.

Отец стал писать для эстрады. Он сочинял фельетоны, куплеты, миниатюры, интермедии. Он стал профессиональным репризером и целыми днями выдумывал шутки. А это занятие, как известно, начисто лишает человека оптимизма.

Одну его стихотворную репризу я запомнил навсегда:

Видеть зава довелось,
Наш завмаг силен, как лось,
Только вот уж десять лет
Лососины в маге нет...

Я спросил отца, что это все значит? Как связаны понятия в этом безумном четверостишии?

Отец рассердился и закричал трагическим высоким голосом:

— Ты не улавливаешь сути! Ты просто лишен чувства юмора!..

Он задумался. Уединился минут на сорок. И затем торжествующе огласил новый вариант:

Наш завмагом молодец,
Как соленый огурец,
Только вот уж десять лет
Огурцов в сельмаге нет...

— Ну как? — спросил он.

— Огурцы продаются на каждом шагу, — сказала мать.

— Ну и что?

— А то, что это — не жизненно.

— Что — не жизненно? Что именно — не жизненно?

— Да это — «огурцов в сельмаге нет...». Ты бы лучше написал про говяжьи сардельки.

Отец схватил себя за волосы и крикнул:

— При чем тут сардельки?! Я вам не домохозяйка! Ваша пошлая жизнь меня совершенно не интересует!.. Не жизненно! — повторял отец, запираясь в своем кабинете...

Я знал, что он тайно пишет лирические стихи. Через двадцать лет я их прочел. К сожалению, они мне не понравились.

Его эстрадные репризы были лучше. Например, выходит конферансье и объявляет:

«Сейчас Рубина Калантарян исполнит мексиканскую песенку «Алый цветок». Вот ее содержание. Хуанито подарил мне алый цветок. Я бедняк, сказал Хуанито, и не могу подарить тебе жемчужное ожерелье. Так возьми же хотя бы этот цветок!.. Хуанито, сказала я, ты подарил мне нечто большее, чем жемчужное ожерелье. Ты подарил мне свою любовь!.. Итак — Рубина Калантарян! Мексиканская песенка «Алый цветок»! Песня исполняется НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!..»

В зале смеялись, я это помню...

У отца была романтическая внешность. В его лице ощущалась какая-то необоснованная, излишняя представительность. Он выглядел моложавым, довольно элегантным. И все-таки казался обитателем горьковской ночлежки. Он напоминал разом — Пушкина и американского безработного.

Конечно, отец выпивал. Пожалуй, не больше чем другие. Но как-то заметнее. Короче, его считали пьяницей, и зря. Его артистизм и в трезвом состоянии немного эпатировал публику...

Отец был поставщиком каламбуров и шуток. Мать обладала чувством юмора. (Дистанция — как между булочником и голодающим.) Такие разные люди сосуществовать не могут, это ясно.

Как все легкомысленные мужчины, отец был добродушным человеком. Мать — невоздержанным и резким. Ее исключительная порядочность не допускала компромиссов. Любой ее жест принимал характер самопожертвования. В безжалостном свете ее моральной чистоты недостатки отца катастрофически проявлялись.

Они развелись, когда мне было восемь лет...

Итак, культ личности, война, эвакуация. Затем — развод, халтура, женщины... Ресторан Дворца искусств...

Его постоянно окружали какие-то непрезентабельные личности. Хотя сам он был вполне порядочным человеком. А в денежных отношениях — так просто щепетильным.

Мне импонировала его снисходительность к людям. Человека, который уволил его из театра, мать ненавидела всю жизнь. Отец же дружески выпивал с ним через месяц...

Шли годы. Сын вырос. Вождя разоблачили. Дед был реабилитирован, как говорится, — «за отсутствием состава преступления».

Отец воспрянул духом. Ему казалось, что наступает третий, заключительный акт жизненной драмы. И что добро, наконец, победит. Можно сказать, уже победило...

Он второй раз женился. Его полюбила молодая симпатичная женщина-техник. Возможно, она приняла его за гениального чудака. Такое иногда случается...

Короче, дела поправлялись. Представление набирало утраченный темп. Восстанавливались нарушенные законы классической драмы.

И что же дальше? Ничего особенного. Государством руководили какие-то неясные, лишённые индивидуальности вожди. В искусстве царило мрачноватое, бесцветное единодушие.

Людей как будто не расстреливали. И даже не сажали. Вернее, сажали, но редко. И притом за какие-то реальные действия. Или как минимум за неосторожные публичные высказывания. Короче, за дело. Не то что раньше...

Тем не менее при Сталине было лучше. При Сталине издавали книжки, затем расстреливали авторов. Сейчас писателей не расстреливают. Книжек не издают. Еврейских театров не закрывают. Их просто нет...

Наследники Сталина разочаровали моего отца. Им не хватало величия, блеска, театральности. Мой отец готов был примириться с тиранией, но с тиранией — восточной, красочной и диковатой.

Он убежден был, что Сталина похоронили зря. Его нельзя было хоронить как обыкновенного смертного. Не следовало писать о его болезни, о кровоизлиянии в мозг. Да еще публиковать какой-то неуместный анализ мочи.

Надо было заявить, что Сталин воспарил. Даже просто написать — исчез. И все бы поверили. И продолжала бы существовать великая легенда. Чем Сталин хуже этого малого из Назарета?!

А так — стоят у мавзолея недовольные раскормленные дядьки. С виду — разодетые пенсионеры...

Жизнь становилась все более тусклой и однообраз-

ной. Даже злодейство носило какой-то будничный, унылый характер. Добро перерождалось в безучастность. Про хороших людей говорили — этот не стучит...

Я не помню, чтобы мой отец всерьез интересовался жизнью. Его интересовал театр. За нагромождением отцовских слов, поступков, мыслей едва угадывалась чистая, нелепая душа.

Вспоминается его разговор с писателем Минчковским. Минчковский выпил и сказал:

— Донат, представь себе, я был осведомителем. Отец возмутился:

— Я больше не подам тебе руки!

Минчковский пояснил:

— Я хороших людей не закладывал. Только плохих. Мой отец на секунду задумался и произнес:

— Кто же тебя, Аркадий, поставил судьей? Что значит — плохие, хорошие? Почему это решал именно ты? Разве ты Христос?!. (Последняя фраза, я уверен, когда-нибудь зачтется моему отцу.)

Минчковский снова пояснил:

— Плохие — это те, которые друзей не угощают... Которые пьют в одиночку...

— Тогда еще ничего, — сказал мой отец.

В те годы он был чуть ли не доцентом музыкального училища, где по его инициативе создали эстрадный класс.

Там он и преподавал. Студентов называл учениками. В манере Пифагора...

Ученики его любили за демократизм.

Но обстановка в этом заведении была довольно гнусная. Один из педагогов написал донос. Там говорилось, что мой отец развращает студентов. Ходит с ними по ресторанам. Ухаживает за молоденькими девушками. И так далее. Донос был анонимный.

Отца пригласили в дирекцию. Показали ему злополучную бумагу. Отец вынул лупу и говорит:

— Позвольте взглянуть?

Ему разрешили.

Он склонился над бумагой. Через минуту раздалось тихое бормотание:

— Так... Нажим в заглавных буквах... Шатен... Промежуток между бэ и твердым знаком... Узкие глаза... Незамкнутый овал... Курит одну сигарету за другой... Эр, переходящее в е... Ботинки сорок третьего размера... Хорошо... Короткий росчерк над буквой дэ... Усы... Перекладина... Оборванная линия... Шурка Богуславский...

Затем отец поднялся и торжественно воскликнул:
— Это написал Шурик Богуславский!

Анонимщика разоблачили. Предпринятое отцом графологическое исследование дало блестящие результаты. Богуславский сознался.

Было организовано собрание. И мой отец сказал:

— Шура! Александр Германович! Ну как же ты, член партии, мог это совершить?!

Я потом говорил отцу:

— То, что Богуславский — коммунист, вполне логично. Это-то как раз логично и естественно...

Но он продолжал сокрушаться:

— Коммунист... Член партии... Фигура, облеченная доверием...

Было в моем отце какое-то глубокое и упорное непонимание реальной жизни...

События между тем принимали довольно неясный оборот. Я печатался на Западе. Дочка моего отца полюбила юного сиониста Леню. Молодожены собирались уезжать. Я колебался между тюрьмой и Парижем...

Наконец, моего отца выгнали с работы.

— Ну и хорошо,— сказал я,— поедем вместе.

— Куда?

— Куда угодно. В капиталистические джунгли.

— И что там делать?

— Ничего. Стареть...

Мой отец почти рассердился. Еще бы — покинуть сцену в третьем акте! За три минуты до аплодисментов!..

Что я мог сказать ему? Что мы — не сцена, а партер? Что наступил антракт? Что он может тянуться до святого пришествия?..

(Да отец мой, видимо, и не знает, что такое — святое пришествие...)

Сначала уехали моя жена и дочка. Затем сестрица с Леней. После них — я, мать и собака...

Через год в Америку приехал мой отец. Поселился в Нью-Джерси. Играет в бинго. Все нормально. Аплодисментов ждать пока что неоткуда...

И только одно меня беспокоит... Не беспокоит, а удивляет, что ли... В общем, моя жена при каждом удобном случае... Если какое-то происшествие или литературное собрание... Короче, что бы я ни сделал, моя жена всегда повторяет:

— Боже, до чего ты похож на своего отца!..

Глава девятая

Жизнь превратила моего двоюродного брата в уголовника. Мне кажется, ему повезло. Иначе он неминуемо стал бы крупным партийным функционером.

К этому имелось множество самых разнообразных предпосылок. Однако не будем забегать вперед...

Тетка моя была известным литературным редактором. Муж ее — Арон — заведовал военным госпиталем. Помимо этого он читал лекции и коллекционировал марки. Это была дружная, хорошая семья...

Мой старший брат родился при довольно загадочных обстоятельствах. До замужества у тетки был роман. Она полюбила заместителя Сергея Мироновича Кирова. Звали его — Александр Угаров. Старики ленинградцы помнят этого видного обкомовского деятеля.

У него была семья. А тетку он любил помимо брака.

И тетка оказалась в положении.

Наконец, пришло время рожать. Ее увезли в больницу.

Мать поехала в Смольный. Добилась приема. Напомнила заместителю Кирова о сестре и ее проблемах.

Угаров хмуро сделал несколько распоряжений. Обкомовская челядь строем понесла в родильный дом цветы и фрукты. А в теткино жилище был доставлен миниатюрный инкрустированный ломберный столик. Видимо, реквизированный у классово чуждых элементов.

Тетка родила здорового симпатичного мальчика Бору. Мать решила снова поехать в обком. Добиться приема ей не удалось. И не потому, что Угаров зазнался. Скорее, наоборот. За эти дни счастливого папашу арестовали как врага народа.

Шел тридцать восьмой год... Тетка осталась с младенцем.

Хорошо, что Угаров не был ее мужем. Иначе бы тетку сослали. А так — сослали его жену и детей. Что, конечно, тоже неприятно.

Видимо, тетка сознавала, на что идет. Она была красивой, энергичной и независимой женщиной. Если она и боялась чего-нибудь, то лишь партийной критики...

К тому же появился Арон. Видимо, он любил мою тетку. Он предложил ей руку и сердце.

Арон был сыном владельца шляпной мастерской. При этом он не выглядел типичным евреем — близоруким, хилым, задумчивым. Это был высокий, сильный, мужественный человек. Бывший революционный студент,

красноармеец и нэпман. Впоследствии — административный работник. И наконец, в преклонные годы — ревизионист и диссидент...

Арон боготворил мою тетку. Ребенок называл его — папа...

Началась война. Мы оказались в Новосибирске. Боре исполнилось три года. Он ходил в детский сад. Я был грудным младенцем.

Боря приносил мне куски рафинада. Он нес их за щекой. А дома вынимал и клал на блюдце.

Я капризничал, сахар есть не хотел. Боря с тревогой говорил нашим родителям:

— Ведь сахар тает...

Потом война кончилась. И мы уже больше не голодали...

Мой брат рос красивым подростком западноевропейского типа. У него были светлые глаза и темные курчавые волосы. Он напоминал юных героев прогрессивного итальянского кино. Так считали все наши родственники...

Это был показательный советский мальчик. Пионер, отличник, футболист и собиратель металлического лома. Он вел дневник, куда записывал мудрые изречения. Посадил в своем дворе березу. В драматическом кружке ему поручали роли молодогвардейцев...

Я был младше, но хуже. И его неизменно ставили мне в пример.

Он был правдив, застенчив и начитан. Мне говорили — Боря хорошо учится, помогает родителям, занимается спортом... Боря стал победителем районной олимпиады... Боря вылечил раненого птенца... Боря собрал детекторный приемник. (Я до сих пор не знаю, что это такое...)

И вдруг произошло нечто фантастическое... Не поддающееся описанию... У меня буквально не хватает слов...

Короче, мой брат помочился на директора школы. Случилось это после занятий. Боря выпускал стенгазету к Дню физкультурника. Рядом толпились одноклассники.

Кто-то сказал, глядя в окно:

— Легавый пошел...

(Легавым звали директора школы — Чеботарева.)

Далее — мой брат залез на подоконник. Попросил девчонок отвернуться. Умело вычислил траекторию. И окатил Чеботарева с ног до головы...

Это было невероятно и дико. В это невозможно было поверить. Через месяц некоторые из присутствующих сомневались, было ли это в действительности. Настолько чудовищно выглядела подобная сцена.

Реакция директора Чеботарева тоже была весьма неожиданной: Он совершенно потерял лицо. И внезапно заголосил приклатненной лагерной скороговоркой:

— Да я таких бушлатом по зоне гонял!.. Ты у меня дерьмо будешь хавать!.. Сучара ты бацильная!..

В директоре Чеботареве пробудился старый лагерный нарядчик. А ведь кто бы мог подумать?.. Зеленая фетровая шляпа, китайский мантиль, туго набитый портфель...

Мой брат совершил этот поступок за неделю до окончания школы. Лишив себя таким образом золотой медали. Родители с трудом уговорили директора выдать Боре аттестат зрелости...

Я тогда спросил у брата:

— Зачем ты это сделал?

Брат ответил:

— Я сделал то, о чем мечтает втайне каждый школьник. Увидев Легавого, я понял — сейчас или никогда! Я сделаю это!.. Или перестану себя уважать...

Уже тогда я был довольно злым подростком. Я сказал моему брату:

— На фасаде вашей школы через сто лет повесят мемориальную доску: «Здесь учился Борис Довлатов... с вытекающими отсюда неожиданными последствиями...»

Дикий поступок моего брата обсуждался несколько месяцев. Затем Борис поступил в театральный институт. Он решил стать искусствоведом. О его преступлении начали забывать. Тем более что занимался он великолепно. Был секретарем комсомольской организации. А также — донором, редактором стенной газеты и вратарем...

Возмужав, он стал еще красивее. Он был похож на итальянского киноактера. Девушки преследовали его с нескрываемым энтузиазмом.

При этом он был целомудренным и застенчивым юношей. Ему претило женское кокетство. Я помню записи в его студенческом дневнике:

«Главное в книге и в женщине — не форма, а содержание...»

Даже теперь, после бесчисленных жизненных разочарований, эта установка кажется мне скучноватой. И мне по-прежнему нравятся только красивые женщины.

Более того, я наделен предрассудками. Мне кажется, например, что все толстые женщины — лгуны. В особенности, если полнота сопровождается малым бюстом...

Впрочем, речь идет не обо мне...

Мой брат окончил театральный институт. Получил диплом с отличием. За ним тянулось безупречное комсомольское досье.

Он был целинником и командиром стройотрядов. Активистом дружины содействия милиции. Грозой мешанских настроений и пережитков капитализма в сознании людей.

У него были самые честные глаза в микрорайоне...

Он стал завлитом. Поступил на работу в Театр имени Ленинского комсомола. Это было почти невероятно. Мальчишка, недавний студент, и вдруг такая должность!..

На посту заведующего литературной частью он был требователен и деловит. Он ратовал за прогрессивное искусство. Причем тактично, сдержанно и осторожно. Умело протаскивая Вампилова, Борщаговского, Мрожека...

Его побаивались заслуженные советские драматурги. Им восхищалась бунтующая театральная молодежь.

Его посылали в ответственные командировки. Он был участником нескольких кремлевских совещаний. Ему деликатно рекомендовали стать членом партии. Он колебался. Ему казалось, что он — недостойн...

И вдруг мой братец снова отличился. Я даже не знаю, как лучше выразиться... Короче, Боря совершил двенадцать ограблений.

У него был дружок в институте по фамилии Цапин. И вот они с Цапиным грабанули двенадцать заграничных туристских автобусов. Унесли чемоданы, радиоприемники, магнитофоны, зонтики, плащи и шляпы. И между прочим, запасное колесо.

Через сутки их арестовали. Мы были в шоке. Тетка побежала к своему другу Юрию Герману. Тот позвонил друзьям — генералам милиции.

На суде моего брата защищал лучший адвокат города — Киселев.

В ходе суда обнаружились некоторые подробности и детали. Выяснилось, что жертвы ограбления были представителями развивающихся стран. А также — членами прогрессивных социалистических организаций.

Киселев решил этим воспользоваться. Он задал моему брату вопрос:

— Подсудимый Довлатов, вы знали, что эти люди являются гражданами развивающихся стран? А также — представителями социалистических организаций?

— К сожалению, нет,— разумно ответил Борис.

— Ну а если бы вы это знали?.. Решились бы вы посягнуть на их личную собственность?

Лицо моего брата выразило крайнюю степень обиды. Вопрос адвоката показался ему совершенно бестактным. Он досадливо приподнял брови. Что означало: «И вы еще спрашиваете?.. Да как вы могли подумать?!..»

Киселев заметно оживился.

— Так,— сказал он,— и наконец, последний вопрос. Не думали ли вы, что эти господа являются представителями реакционных слоев общества?..

В этот момент его перебил судья:

— Товарищ Киселев, не делайте из подсудимого борца за мировую революцию!..

Но брат успел кивнуть. Дескать, мелькнуло такое предположение...

Судья повысил голос:

— Давайте придерживаться фактов, которыми располагает следствие...

Моему брату дали три года.

На суде он держался мужественно и просто. Улыбался и поддразнивал судью.

Когда оглашался приговор, брат не дрогнул. Его увели под конвоем из зала суда.

Затем была кассация... Какие-то хлопоты, переговоры и звонки. И все напрасно.

Мой брат оказался в Тюмени. В лагере усиленного режима. Мы с ним переписывались. Все его письма начинались словами: «У меня все нормально...»

Далее шли многочисленные, но сдержанные и трезвые просьбы: «Две пары шерстяных носков... Самоучитель английского языка... Рейтузы... Общие тетради... Самоучитель немецкого языка... Чеснок... Лимоны... Авторучки... Самоучитель французского языка... А также — самоучитель игры на гитаре...»

Сведения из лагеря поступали вполне оптимистические. Старший воспитатель Букин писал моей тетке:

«Борис Довлатов неуклонно следует всем предписаниям лагерного режима... Пользуется авторитетом среди заключенных... Систематически перевыполняет трудовые задания... Принимает активное участие в работе художественной самодеятельности...»

Брат писал, что его назначили дневальным. Затем — бригадиром. Затем — председателем Совета бригадиров. И наконец — заведующим баней.

Это была головокружительная карьера. И сделать ее в лагере чрезвычайно трудно. Такие же усилия на воле приводят к синекурам бюрократического руководства. К распределителям, дачам и заграничным поездкам...

Мой брат стремительно шел к исправлению. Он был лагерным маяком. Ему завидовали, им восхищались.

Через год его перевели на химию. То есть на вольное поселение. С обязательным трудоустройством на местном химическом комбинате.

Там он и женился. К нему приехала самоотверженная однокурсница Лиза. Она поступила, как жена декабриста. Они стали мужем и женой...

А меня пока что выгнали из университета. Затем — призвали в армию. И я попал в охрану. Превратился в лагерного надзирателя.

Так что я был охранником. А Боря — заключенным.

Вышло так, что я даже охранял своего брата. Правда, очень недолго. Рассказывать об этом мне не хочется. Иначе все будет слишком уж литературно. Как в «Донских рассказах» Шолохова.

Достаточно того, что я был охранником. А брат мой — заключенным...

Вернулись мы почти одновременно. Брата освободили, а я демобилизовался.

Родственники устроили грандиозный банкет в «Метрополе». Чествовали главным образом моего брата. Но и меня помянули добрым словом.

Дядя Роман высказался следующим образом:

— Есть люди, которые напоминают пресмыкающихся. Они живут в болотах... И есть люди, которые напоминают горных орлов. Они парят выше солнца, широко расправив крылья... Выпьем же за Борю, нашего горного орла!.. Выпьем, чтобы тучи остались позади!..

— Bravo! — закричали родственники. — Молодец, орел, джигит!..

Я уловил в дядиной речи мотивы горьковской «Песни о Соколе»...

Роман слегка понизил голос и добавил:

— Выпьем и за Сережу, нашего орленка! Правда, он еще молод. Крылья его не окрепли. Но и его ждут широкие просторы!..

— Боже упаси! — довольно громко сказала мама.

Дядя укоризненно поглядел в ее сторону...

Снова тетка звонила разным людям. И моего брата приняли на «Ленфильм». Назначили кем-то вроде осветителя.

А я поступил в многотиражку. И к тому же начал писать рассказы...

Карьера моего брата развивалась в нарастающем темпе. Вскоре он стал лаборантом. Потом — диспетчером. Потом — старшим диспетчером. И наконец — заместителем директора картины. То есть лицом материально ответственным.

Недаром в лагере мой брат так стремительно шел к исправлению. Теперь он, видимо, не мог остановиться...

Через месяц его фотография висела на Доске почета. Его полюбили режиссеры, операторы и сам директор «Ленфильма» — Звонарев. Более того, его полюбили уборщицы...

Ему обещали в недалеком будущем самостоятельную картину.

Шестнадцать старых коммунистов «Ленфильма» готовы были дать ему рекомендацию в партию. Но брат колебался.

Он напоминал Левина из «Анны Карениной». Левина накануне брака смущала утраченная в молодые годы девственность. Брата мучила аналогичная проблема. А именно, можно ли быть коммунистом с уголовным прошлым?

Старые коммунисты уверяли его, что можно...

Брат резко выделялся на моем унылом фоне. Он был веселым, динамичным и немногословным. Его посылали в ответственные командировки. Все прочили ему блестящую административную карьеру. Невозможно было поверить, что он сидел в тюрьме. Многие из числа не очень близких знакомых думали, что в тюрьме сидел я...

И снова что-то произошло. Хотя не сразу, а постепенно... Начались какие-то странные перебои. Как будто торжественное звучание «Аппассионаты» нарушилось режущими воплями саксофона.

Мой брат по-прежнему делал карьеру. Произносил на собраниях речи. Ездил в командировки. Но параллельно стал выпивать. И ухаживать за женщинами. Причем с неожиданным энтузиазмом.

Его стали замечать в подозрительных компаниях. Его окружали пьяницы, фарцовщики, какие-то неясные ветераны Халхин-Гола.

Протрезвев, он бежал на собрание. Успешно выступив на собрании, торопился к друзьям.

Сначала эти маршруты не пересекались. Брат делал карьеру и одновременно — губил ее.

Он по трое суток не являлся домой. Исчезал с какими-то непотребными женщинами.

Среди этих женщин преобладали весьма некрасивые. Одну из них, я помню, звали Грета. У нее был зоб.

Я сказал моему брату:

— Ты мог бы найти и получше.

— Дикарь,— возмутился мой брат,— а знаешь ли ты, что она получает спирт на работе! Причем в неограниченном количестве...

Очевидно, мой брат все еще руководствовался юношеской доктриной: «В женщине и в книге главное не форма, а содержание!»

Потом Борис избил официанта в ресторане «Нарва». Брат требовал, чтобы официант исполнил «Сулико»...

Он стал попадать в милицию. Каждый раз его вызволяло оттуда партийное бюро «Ленфильма». Но с каждым разом все менее охотно.

Мы ждали, чем все это кончится...

Летом он поехал на съемки «Даурии» в Читу. И вдруг мы узнали, что брат на казенной машине задавил человека. Да еще офицера Советской Армии. Насмерть...

Это было страшное время предположений и догадок. Информация поступала самая разноречивая. Говорили, что Боря вел машину совершенно пьяный. Говорили, правда, что и офицер был в нетрезвом состоянии. Хотя это не имело значения, поскольку он был мертв...

От тетки все это скрывалось. Дядя собрал около четырехсот рублей. Я должен был лететь в Читу — узнать подробности и совершить какие-то разумные акции. Договориться о передачах, нанять адвоката...

— И если можно, подкупить следователя,— напоминал дядя Роман...

Я начал собираться.

Поздно ночью раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. Из тишины выплыл спокойный голос моего брата:

— Ты спал?

— Боря! — закричал я. — Ты жив?! Тебя не расстреляют?! Ты был пьян?!.

— Я жив,— ответил брат,— меня не расстреляют... И запомни — это был несчастный случай. Я вел машину

трезвый. Мне дадут года четыре, не больше. Ты получил сигареты?

— Какие сигареты?

— Японские. Видишь ли, Чита имеет сепаратный торговый договор с Японией. И тут продаются отличные сигареты «Хи лайт». Я послал тебе блок на день рождения. Ты получил их?

— Нет. Это неважно...

— То есть как это неважно? Это — классные сигареты, изготовленные по американской лицензии.

Но я прервал его:

— Ты под стражей?

— Нет,— сказал он,— зачем? Я живу в гостинице. Ко мне приходит следователь. Ее зовут Лариса. Полная такая... Кстати, она шлет тебе привет...

В трубке зазвучал посторонний женский голос:

— Ку-ку, моя цыпа!

Потом опять заговорил мой брат:

— В Читу тебе лететь совершенно незачем. Суд, я думаю, будет в Ленинграде... Мама знает?

— Нет,— сказал я.

— Хорошо...

— Боря! — орал я.— Что тебе прислать? Ты, наверное, в жутком состоянии?! Ты ведь убил человека! Убил человека!..

— Не кричи. Офицеры созданы, чтобы погибать... И еще раз повторяю — это был несчастный случай... А главное — куда девались сигареты?..

Вскоре из Читы приехали двое непосредственных участников событий. Таким образом, стали известны подробности дела. Вот что, оказывается, произошло.

Был чей-то день рождения. Отмечали его на лоне природы. Боря приехал уже вечером, на казенной автомашине. Как всегда, не хватило спиртного. Гости слегка приуныли. Магазины были закрыты.

Боря объявил:

— Еду за самогоном. Кто со мной?

Он был навеселе. Его пытались отговорить. В результате с ним поехали трое. В том числе — шофер автомобиля, который дремал на заднем сиденье.

Через полчаса они сшибли мотоциклиста. Тот умер, не приходя в сознание.

Участники поездки были в истерике. А брат мой, наоборот, протрезвел. Он действовал решительно и четко. А именно, все-таки поехал за самогоном. Это заняло пят-

надцать минут. Затем он щедро наделил самогоном всех участников поездки. В том числе и слегка протрезвевшего шофера. Тот снова задремал.

Лишь тогда брат позвонил в милицию. Вскоре подъехала оперативная машина. Был обнаружен труп, разбитый мотоцикл и четверо пьяных людей. При чем мой брат оказался самым трезвым.

Лейтенант Дудко спросил:

— Кто из вас шофер?

Брат указал на спящего шофера. Того положили в оперативную машину. Остальных развезли по домам, записав адреса.

Брат скрывался трое суток. Пока не выветрился алкоголь. Затем явился в милицию с повинной.

Шофер к этому времени, естественно, протрезвел. Его содержали в камере предварительного заключения. Он был уверен, что спьяну задавил человека.

Тут явился брат и сказал, что машину вел он.

— Зачем же вы указали на Крахмальникова Юрия Петровича? — рассердился лейтенант.

— Вы спросили, кто шофер, я и ответил...

— Где же вы пропадали трое суток?

— Я испугался... Я был в шоке...

Фальшивая гримаса на лице моего брата выражала хрупкость психики.

— Такого испугаешь! — не поверил лейтенант.

Затем спросил:

— Вы были пьяны?

— Нисколько, — ответил мой брат.

— Сомневаюсь...

Однако что-либо доказать уже было невозможно. Участники рейса клялись, что Боря не пил. Шофер отделался выговором по служебной линии.

Братец поступил умно. Теперь его должны были судить уже не как пьяного за рулем. А как виновника несчастного случая.

Следователь Лариса говорила ему:

— Даже в кровати ты продолжаешь обманывать следствие...

Через неделю он появился в Ленинграде.

Тетка уже все знала. Она не плакала. Она звонила писателям, которые имели дело с милицией. Все тем же — Юрию Герману, Меттеру, Сапарову.

В результате моего брата не трогали. Оставили в покое до суда. Только взяли подписку о невыезде.

Брат заехал ко мне в один из первых дней. Он спросил:
— Ты ведь служил под Ленинградом? Знаешь местную систему лагерей?

— В общем, да. Я был в Обухове, Горелове, на Пискаревке...

— Куда бы мне, по-твоему, лучше сесть?

— В Обухове, я думаю, режим помягче.

— Короче, надо поехать и ознакомиться...

Мы поехали в Обухово. Зашли в казарму. Поговорили с дневальным. Узнали, кто есть из знакомых сверхсрочников. Через минуту в казарму прибежали сержанты Годеридзе и Осипенко.

Мы обнялись. Я познакомил их с моим братом. Потом выяснил, кто остался из старой лагерной администрации.

— Капитан Дерябин,— ответили сверхсрочники.

Капитана Дерябина я хорошо помнил. Это был сравнительно добродушный, нелепый алкаш. Заключенные таскали у него сигареты. Когда я служил, Дерябин был лейтенантом.

Мы позвонили в зону. Через минуту Дерябин появился на вахте.

— А! — закричал он.— Серега приехавши! Дай-ка взглянуть, на кого ты похож. Я слышал, ты писателем заделался? Вот опиши случай из жизни. У меня с отдельной точки зек катапультировался. Вывел я бригаду сантехников на отдельную точку. Поставил конвоира. Отлучился за маленькой. Возвращаюсь — нет одного зека. Улетел.. Нагнули, понимаешь, сосну. Пристегнули зека к верхушке монтажным ремнем — и отпустили. А зек в полете расстегнулся, и с концами. Улетел чуть не за переезд. Однако малость не рассчитал. Надеялся в снег приземлиться у лесобиржи. А получилось, что угодил во двор райвоенкомата... И еще — такая чисто литературная деталь. Когда его брали, он военкома за нос укусил...

Я познакомил Дерябина с моим братом.

— Леха,— сказал капитан, протягивая руку.

— Боб.

— Так что,— говорю,— неплохо бы это самое?..

Мы решили уйти из казармы в ближайший лесок. Пригласили Годеридзе и Осипенко. Вынули из портфеля четыре бутылки «Зверобоя». Сели на поваленную ель.

— Ну, за все хорошее! — сказали тюремщики.

Через пять минут брат обнимался с Дерябиным. И между делом задавал ему вопросы:

— Как с отоплением? Много ли караульных собак ~~на~~

блок-постах? Соблюдается ли камерный принцип охраны?

— Не пропадешь,— заверяли его сверхсрочники.

— Хорошая зона,— твердил Годеридзе,— поправишься, отдохнешь, богатырем станешь...

— И магазин совсем близко,— вставлял Осипенко,— за переездом... Белое, красное, пиво...

Через полчаса Дерябин говорил:

— Садитесь, ребята, пока я жив. А то уволят Леху Дерябина, и будет вам хана... Придут разные деятели с незаконченным высшим образованием... Вспомните тогда Леху Дерябина...

Боря записал его домашний телефон.

— И я твой запишу,— сказал Дерябин.

— Не имеет смысла,— ответил брат,— я через месяц приеду...

В электричке на пути домой он говорил:

— Пока что все не так уж худо.

А я чуть не плакал. Видно, на меня подействовал «Зверобой»...

Вскоре начался суд. Брата защищал все тот же адвокат Киселев. Присутствующие то и дело начинали ему аплодировать.

Любопытно, что жертвой событий он изобразил моего брата, а вовсе не покойного Коробченко.

В заключение он сказал:

— Человеческая жизнь напоминает горную дорогу со множеством опасных поворотов. Один из них стал роковым для моего подзащитного...

Брату опять дали три года. Теперь уже — строгого режима.

В день суда я получил бандероль из Читы. В ней оказалось десять пачек японских сигарет «Хи лайт»...

Борю поместили в Обухове. Он написал мне, что лагерь хороший, а вохра — довольно гуманная.

Капитан Дерябин оказался человеком слова. Он назначил Борю хлеборезом. Это была завидная, номенклатурная должность.

За это время жена моего брата успела родить дочку Наташу. Как-то раз она позвонила мне и говорит:

— Нам предоставляют общее свидание. Если ты свободен, поедem вместе. Мне одной с грудным ребенком будет трудно.

Мы поехали вчетвером — тетка, Лиза, двухмесячная Наташа и я.

Был жаркий августовский день. Наташа всю дорогу плакала. Лиза нервничала. У тетки разболелась голова...

Мы подъехали к вахте. Затем оказались в комнате свиданий. Кроме нас там было шестеро посетителей. Заключенных отделял стеклянный барьер.

Лиза распеленала дочку. Брат все не появлялся. Я подошел к дежурному сверхсрочнику:

— А где Довлатов? — спрашиваю.

Тот грубовато ответил:

— Ждите.

Я говорю:

— Позови дневальному и вызови моего брата. И скажи Лехе Дерябину, что я велел тебя погонять!

Дежурный несколько сбавил тон:

— Я Дерябину не подчиняюсь. Я оперу подчиняюсь...

— Давай, — говорю, — звони...

Тут появился мой брат. Он был в серой лагерной робе. Стриженные под машинку волосы немного отросли. Он загорел и как будто вытянулся.

Тетка протянула ему в амбразуру яблоки, колбасу и шоколад.

Лиза говорила дочке:

— Татуся, это папа. Видишь — это папа...

А брат все смотрел на меня. Потом сказал:

— На тебе отвратительные брюки. И цвет какой-то говнистый. Хочешь, я тебе сосватаю одного еврея? Тут в зоне один еврей шьет потрясающие брюки. Кстати, его фамилия — Портнов. Бывают же такие совпадения...

Я закричал:

— О чем ты говоришь?! Какое это имеет значение?!

— Не думай, — продолжал он, — это бесплатно. Я выдам деньги, ты купишь материал, а он сошьет брюки... Еврей говорит: «Задница — лицо человека!» А теперь посмотри на свою... Какие-то складки...

Мне показалось, что для рецидивиста он ведет себя излишне требовательно...

— Деньги? — насторожилась тетка. — Откуда? Я знаю, что в лагере деньги иметь не положено.

— Деньги, как микробы, — сказал Борис, — они есть везде. Построим коммунизм — тогда все будет иначе...

— Погляди же на дочку, — взмолилась Лиза.

— Я видел, — сказал брат, — чудная девочка...

— Как, — говорю, — у вас с питанием?

— Неважно. Правда, я в столовой не бываю. Посылаем в гастроном кого-нибудь из сверхсрочников... Быва-

ет — и купить-то нечего. После часу колбасы и яиц уже не достанешь... Да, загубил Никита сельское хозяйство... А было время — Европу кормили... Одна надежда — частный сектор... Реставрация нэпа...

— Потеше,— сказала тетка.

Брат позвал дежурного сверхсрочника. Что-то сказал ему вполголоса. Тот начал оправдываться. К нам долетали лишь обрывки фраз.

— Ведь я же просил,— говорил мой брат.

— Я помню,— отвечал сверхсрочник,— не волнуйся. Толик вернется через десять минут.

— Но я же просил к двенадцати тридцати.

— Возможности не было.

— Дима, я обижусь.

— Боря, ты меня знаешь. Я такой человек: обещал — сделаю... Толик вернется буквально через пять минут...

— Но мы хотим выпить сейчас!

Я спросил:

— В чем дело? Что такое?

Брат ответил:

— Послал тут одного деятеля за водкой, и с концами... Какой-то бардак, а не воинское подразделение.

— Тебя посадят в карцер,— сказала Лиза.

— А в карцере что, не люди?!

Ребенок снова начал плакать. Лиза обиделась. Брат показался ей невнимательным и равнодушным. Тетка принимала одно лекарство за другим.

Время свидания истекало. Одного из зеков уводили почти насильно. Он вырывался и кричал:

— Надька, сблядуешь — убью! Разыщу и покалечу, как мартышку... Это я гарантирую... И помни, сука, Вовик тебя любит!..

— Пора идти,— сказал я,— время.

Тетка отвернулась. Лиза укачивала маленькую.

— А водка? — сказал мой брат.

— Выпейте,— говорю,— сами.

— Я хотел с тобой.

— Не стоит, брат, какое тут питье?..

— Как знаешь... А этого сверхсрочника я все равно приморю. Для меня главное в человеке — ответственность...

Вдруг появился Толик с бутылкой. Было заметно, что он спешил.

— Вот,— говорит,— рупь тридцать сдачи.

— Так, чтобы я не видел, ребята,— сказал дежурный, протягивая Боре эмалированную кружку.

Брат ее живо наполнил. И каждый сделал по глотку. В том числе — зеки, их родные, надзиратели, сверхсрочники. И сам дежурный...

Один небритый татуированный зек, поднимая кружку, сказал:

— За нашу великую родину! За лично товарища Сталина! За победу над фашистской Германией! Из всех наземных орудий — бабах!..

— Да здравствует махрово реакционная клика Имре Надя! — поддержал его второй...

Дежурный тронул брата за плечо:

— Боб, извини, тебе пора...

Мы попрощались. Я пожал брату руку через амбразуру. Тетка молча глядела на сына. Лиза вдруг заплакала, разбудив уснувшую было Наташу. Та подняла крик.

Мы вышли и стали ловить такси...

Прошло около года. Брат писал, что все идет хорошо. Он работал хлебрезом, а когда Дерябин ушел на пенсию, стал электромонтером.

Затем моего брата разыскал представитель УВД. Было решено создать документальный фильм о лагерях. О том, что советские лагеря — наиболее гуманные в мире. Фильм предназначался для внутреннего использования. Назывался он суховато: «Методы охраны исправительно-трудоуловных колоний строгого режима».

Брат разъезжал по отдаленным лагерным точкам. Ему предоставили казенную машину ГАЗ-61. Выдали соответствующую аппаратуру. Его неизменно сопровождали двое конвоиров — Годеридзе и Осипенко.

Брату удавалось часто заезжать домой. Несколько раз он побывал у меня.

К лету фильм был готов. Брат выполнял одновременно функции — кинооператора, режиссера и диктора.

В июне состоялся просмотр. В зале сидели генералы и полковники. На обсуждении фильма генерал Шурепов сказал:

— Хорошая, нужная картина... Смотрится, как «Тысяча и одна ночь»...

Борю похвалили. К сентябрю его должны были освободить.

Наконец-то я уловил самую главную черту в характере моего брата. Он был неосознанным, стихийным экзистенциалистом. Он мог действовать только в пограничных си-

туациях. Карьеру делать — лишь в тюрьме. За жизнь бороться — только на краю пропасти...

Наконец, его освободили.

Дальше я вынужден повторяться. Тетка позвонила Юрию Герману. Брата взяли чернорабочим на студию документальных фильмов. Через два месяца он работал звукооператором. А через полгода — начальником отдела снабжения.

Примерно в эти же дни меня окончательно уволили с работы. Я сочинял рассказы и жил на мамину пенсию...

Когда тетка заболела и умерла, в ее бумагах нашли портрет сероглазого обаятельного мужчины. Это был заместитель Кирова — Александр Иванович Угаров. Он напоминал моего брата. Хоть и выглядел значительно моложе.

Боря и раньше знал, кто его отец. Сейчас на эту тему заговорили открыто.

Брат мог попытаться отыскать своих родственников. Однако не захотел. Он сказал:

— У меня есть ты, и больше никого...

Потом задумался и добавил:

— Как странно! Я — наполовину русский. Ты — наполовину еврей. Но оба любим водку с пивом...

В семьдесят девятом году я решил эмигрировать. Брат сказал, что не поедет.

Он снова начал пить и драться в ресторанах. Ему грозило увольнение с работы.

Я думаю, он мог жить только в неволе. На свободе он распускался и даже заболел.

Я сказал ему в последний раз:

— Уедем.

Он реагировал вяло и грустно:

— Все это не для меня. Надо ходить по инстанциям. Надо всех уверять, что ты еврей... Мне неудобно... Вот если бы с похмелья — раз, и ты на Капитолийском холме...

В аэропорту мой брат заплакал. Видно, он постарел. Кроме того, уезжать всегда гораздо легче, чем оставаться...

Четвертый год я живу в Нью-Йорке. Четвертый год шлю посылки в Ленинград. И вдруг приходит бандероль — оттуда.

Я вскрыл ее на почте. В ней лежала голубая трикотажная фуфайка с эмблемой олимпийских игр. И еще —

тяжелый металлический штопор усовершенствованной конструкции.

Я задумался — что было у меня в жизни самого дорогого? И понял: четыре куска рафинада, японские сигареты «Хи лайт», голубая фуфайка да еще вот этот штопор...

Глава десятая

С каждым годом она все больше похожа на человека. (А ведь не о любом из друзей это скажешь.) Когда она рядом, я уже стесняюсь переодеваться.

Мой приятель Севостьянов говорит:

— Она у вас единственный нормальный член семьи...

Принес я ее домой на ладони. Было это двенадцать лет назад. Месячный щенок-фокстерьер по имени Глаша. Расцветкой напоминает березовую чурочку. Нос — крошечная боксерская перчатка...

Короче, Глаша была неотразима.

Примерно до года она казалась нормальной рядовой собакой. Грызла нашу обувь. Клянчила подачки.

Воспитывали мы ее довольно невнимательно. Кормили чем придется. Гуляли с ней утром и вечером минут по десять.

Никаких «дай лапу», никаких «тубо» и «фас!».

Зато мы подолгу с ней беседовали. И я, и мама, и жена. А потом и дочка, когда сама научилась разговаривать...

Глаше шел тринадцатый месяц, когда появился некий Бобров.

Мы учились вместе на филфаке. Потом меня выгнали, а Леша благополучно закончил университет.

Был он вполне здоровым и даже нахальным юношей. Ухаживал за барышнями, скандалил, выпивал.

Потом женился. Жену называл английским словом — Фи́ли (кобыла).

Год проработал в Интуристе.

Тут им овладел крайний пессимизм. Бобров нанялся егерем в Подпорожский район. Стал жить в лесу, как Генри Торо. Охотился, мариновал грибы, построил и напряженно эксплуатировал самогонный аппарат.

Изредка он появлялся в Ленинграде. Однажды вдруг зашел ко мне. Увидел мою собаку и говорит:

— Это же норная собака. А ты ее в болонку превра-

тил... Давай заберу ее в охотничье хозяйство. А месяца через два привезу обратно.

Мы подумали — отчего бы и нет? Должны же у собаки развиваться природные инстинкты...

Прошло два месяца, три, четыре... Бобров не появлялся. Я написал ему в охотничье хозяйство. Ответа не последовало.

Мама все повторяла:

— Без Глаши скучно.

Дочка несколько раз плакала.

Наконец, жена мне говорит:

— Поезжай и забери собаку.

Наш друг Валерий Грубин поехал со мной.

К семи часам мы были в Подпорожье. До охотничьего хозяйства Ровское — тринадцать километров. Без всякого транспорта. И не по дороге, а по замерзшей реке Свирь.

Что делать?

Какой-то алкаш посоветовал:

— Наймите сани за тройк.

Так мы и поступили. Двое мальчишек подрядились нас отвезти. Всю дорогу ехали молча. Кобыла медленно и осторожно ступала по льду. Попытки разговариваться с деревенскими мальчишками успеха не имели.

Грубин спросил одного:

— Папа и мама в колхозе работают?

Тот долго молчал. Потом многозначительно и туманно ответил:

— Эх... Поплыли муды да по глыбкой воды...

Если сани подбрасывало на ухабах, второй мальчишка глухо бормотал:

— Вот тебе и пьянки-хуянки...

Наконец лошадка остановилась.

— Тут на горке и будет Ровское...

Мы расплатились и полезли в гору. Из темноты донеслось:

— Но-о, блядина, я кому сказал?!

Было совсем темно. Ни огонька кругом, ни звука. Пошли наугад вдоль реки.

Неожиданно Грубин исчез. Кричу:

— Ты где?

В ответ — загробный голос:

— Тут... Я в заброшенный колодец провалился.

Я пошел на звук. Обнаружил квадратную черную яму. Лег на снег и осторожно заглянул вниз.

В глубине ямы брезжил свет. Грубин закуривал.
— Тут сыро,— пожаловался он.

Я отполз. Выбрал трехметровое деревце. Терзал его около часа. Наконец, с помощью топора изготовил шест. Вытащил приятеля наружу.

Грубин поблагодарил меня и сказал:

— Я там спички оставил...

В Ровское мы попали только утром. Оказывается, мальчишки высадили нас за четыре километра до цели...

О, крестьянские дети, воспетые Некрасовым! До чего же вы переменились! Отныне и присно нарекаю вас — колхозные дети!..

Леша Бобров стоял на пороге и застенчиво улыбался. Глаша с воем бросилась ко мне, лохматая и похудевшая.

— Замерзли? — спросил Бобров. — Хотите выпить?..

Как бы ни злился российский человек, предложи ему выпить, и он тотчас добреет...

За столом Леша рассказал:

— Я был в Ленинграде дважды. Хотел вернуть собаку — не могу. Привык...

Мы узнали, что Глаша совершила несколько подвигов. Во-первых, спасла щенка, который тонул. Вытащила его из лужи. Кроме того, первая взяла след медведя-шатуна. И наконец, задушила лисицу.

Мне было как-то неприятно, что Глаша умертвила живое существо. Но что поделаешь — инстинкт...

Тут я вспомнил одну давнюю историю. Обедали мы с приятелем в ресторане «Балтика». Разговорились с официанткой. Угостили ее коньяком. И все это дружески, без малейшей корысти. Она же затем поступила довольно странно. Обсчитала меня рублей на шесть.

Откровенно говоря, я немного растерялся. Не денег, естественно, жаль — за человека обидно.

А приятель говорит:

— Чему ты удивляешься?! Соловей заливается не потому, что ему весело. Он просто не может иначе... Соловей поет, официантка ворует... Просто иначе не может... Природа такая, инстинкт...

— Продай собаку,— говорит Бобров.

— Как тебе не стыдно!

— Ну тогда подари. Здесь ей будет лучше.

— Ей-то — да. А нам?..

Мы еще немного выпили и ушли спать.

Проснулись к обеду. В столовой застали четверых незнакомых мужчин.

Леша отозвал меня в сторону:

— Эти ребята — из КГБ. Завтра на лося пойдут.

— Лось-то при чем? — говорю. — Мало им нашего брата?

— Да они ничего, — шептал Бобров, — они после работы меняются.

— В какую сторону?

Мальчики из органов выглядели сильно. Что-то было в них общее, типовое. Серийные, гладкие лица, проборы, шерстяная одежда.

Один подсел ко мне. Заговорил отрывисто и четко:

— Ваша собака?.. Хорошо... Как зовут? Глафира? Это что, юмор? Ценю... Течка давно была? Не знаете? А кто же знает?.. Уши гноятся? Нет?.. Отлично...

— Садитесь обедать, — пригласил Бобров.

Обедали не спеша. Ребята из органов достали водку. Разговор то и дело принимал щекотливый характер.

— Свобода?! — говорил один. — Русскому человеку только дай свободу! Первым делом тещу зарежет!..

Я спросил:

— За что Мишу Хейфеца посадили? Другие за границей печатаются, и ничего. А Хейфец даже не опубликовал свою работу.

— И зря не опубликовал, — сказал второй. — Тогда не посадили бы. А так — кому он нужен?..

— Сахаров рассуждает, как наивный младенец, — говорил третий, — его идеи бесплодны. Вроде бы грамотно изложено, с единственной поправкой. То, что рекомендует Сахаров, возможно при одном условии. Если будет арестовано Политбюро Цека...

— Запросто, — сказал Валерий Грубин.

— Нам пора ехать, — говорю, — спасибо.

Мы собрали вещи. Бобров попрощался с Глашей. Его жена Филя (настоящее имя забыл) даже тихонько поплакала.

Мы вышли на дорогу. Ребята из органов толпились на крыльце.

— Заходите, — сказал один, — у нас бесподобный музей. Не для широкой публики, конечно. Но я устрою. Координаты, телефон — я дал.

— И вы приходите, — говорю.

— Только с ордером, — добавил Грубин.

Чекист поглядел на моего друга внимательно и говорит:

— Ордер не проблема...

Мы попрощались и зашагали вдоль реки. Глаша бежала рядом не оглядываясь.

— Интересно,— говорю,— что у них в музее хранится?

— Черт его знает,— ответил Грубин,— может, ногти Бухарина?..

Года через два я переехал в Таллинн. Глаша была со мной. Вскоре совершила очередной подвиг.

Меня послали в командировку на острова. Собаку я отдал на это время друзьям. Жили они в квартире с печным отоплением. Как-то раз затопили печи. Раньше времени закрыли трубу. Вся семья уснула.

В квартире запахло угарным газом. Все спали.

Но проснулась Глаша и действовала разумно. Подошла к хозяйскому ложу и стащила одеяло. Хозяин запустил в нее шлепанцем, одеяло поправил. Глаша вновь его стащила и при этом залаяла. Наконец, двуногие сообразили, что происходит. Распахнули двери, выбежали на улицу. Хозяин повалился в сугроб. Глашу долго пошатывало и тошнило.

Днем ей принесли из буфета ЦК четыреста граммов шейной вырезки. Случай уникальный. Может быть, впервые партийные льготы коснулись достойного объекта...

В Таллинне я стал подумывать о Глашином замужестве. Позвонил знакомому кинологу. Он дал несколько адресов и телефонов.

Аристократическая генеалогия моей собаки побуждала к некоторой разборчивости. Я остановился на кобельке по имени Резо. Грузинское имя предвещало телесную силу и буйство эмоций. Тем более что владелицей Резо оказалась журналистка из соседней эстонской газеты — миловидная Анечка Паю.

Любовный акт должен был состояться на пустыре возле ипподрома.

Резо выглядел прекрасно. Это был рыжеватый крепыш с нахальными глазами. Он нервно вибрировал и тихонько скулил.

Аня пришла в короткой дубленке и лакированных сапогах. Залюбовалась моей собакой. Воскликнула:

— Какая прелесть!

Добавив:

— Только очень худенькая...

Как будто усомнилась, возможен ли хозяйству прок от такой невестки.

— Сейчас это модно,— говорю.

Аня полемично шевельнула округлым бедром.

Мы обменялись документами. Родословная у Глаши, повторяю, была куда эффектнее, чем у моего друга Володи Трубецкого. Документы Резо тоже оказались в порядке.

— Ну что ж,— вздохнула Аня и отстегнула поводок. Я тоже отпустил Глафиру.

Был солнечный зимний полдень. На снегу лежали розоватые тени. Резо, почувствовав свободу, несколько обезумел. С лаем отмахал три широких круга. Глаша наблюдала за ним с вялым интересом.

Побегав, Резо опрокинулся в снег. Видимо, захотел охладить свой пыл. Или показать, каких трудов ему стоит удержаться от безрассудства.

Затем отряхнулся и подбежал к нам. Глаша настрожилась и подняла хвостик.

Кобелек, хищно приглядываясь, обошел ее несколько раз. Он как будто увеличился в размерах. Он что-то настойчиво бормотал. Мне показалось, что я расслышал:

— Вай, какая дэвушка! Стройная, как чинара. Юная, как заря... Ресторан пойдём. Шашлык будем кушать. Хванчкара будем пить...

Глашин хвостик призывно вздрагивал. Она шагнула к Резо, задев его плечом.

И тут случилось неожиданное. Визгливо тьякнув, кобелек рванулся прочь. Затем прижался к лакированным сапогам хозяйки.

Глаша брезгливо отвернулась.

Резо дрожал и повизгивал.

— Ну что ты?! Что ты?! — успокаивала его Аня.— Ну, будь же мужчиной!

Но Резо лишь повизгивал и дрожал.

Он был темпераментным импотентом, этот развязный кацо. Тип, довольно распространенный среди немолодых кавказцев.

Анечке было неловко за своего воспитанника. Она вроде бы даже захотела чем-то компенсировать его неуспех. Прощаясь со мной, шепнула:

— Калью улетает в Минск на семинар. Я позвоню тебе в конце недели.

Аня действительно позвонила, но грубая Татьяна обругала ее матом...

Когда меня увольняли из редакции, Аня вызвалась писать фельетон для эстонской газеты. Даже название

придумала — «Сквозь темные очки». В том смысле, что я клеветник и очернитель.

Знакомый инструктор ЦК не без усилий приостановил это дело...

Но вернемся к моей собаке. Раза три я пытался выдать ее замуж. И все три попытки рухнули.

Второй жених обладал плебейской худобой и силой. Напоминал учителя физкультуры из провинции. Был чем-то похож на Аркадия Львова.

Он решил не тратить времени даром. Обойтись без любовной игры. Действовал, как говорится, на хапок.

Глаша его больно покусала.

А он еще и сопротивлялся, как жлоб... Так и ушел ни с чем. Веселый такой, без комплексов...

Почему же Глаша его отвергла?..

Видно, капля романтики необходима...

Третий жених беспрерывно чесался. Кроме того, у него был слабый мочевого пузырь. Да и шерсть грязноватая, с проплешинами. А родословная — я посмотрел — исключительная. Значит, вырожденец. Наподобие Володи Трубецкого.

Глаша его просто игнорировала.

Так и осталась девицей. А дальше уже было поздно. Знакомый кинолог сказал:

— А вдруг не разродится, что тогда?.. Мы имеем право рисковать своей жизнью. Рисковать чужой — порядочным людям не дано...

Сейчас Глафире двенадцать лет.

Двенадцать лет мы знакомы.

Двенадцать лет нашу семью потрясают раздоры и всяческие катаклизмы.

Мы без конца ссорились и разводились. Семья, как говорится, рушилась. И даже возникали новые побочные семьи. Только Глаша оставалась неизменно близкой и родной. И любила нас всех одинаково.

Глаша часто спит у моих ног. Иногда тихонько стонет. Возможно, ей снится родина. Например, мелкий частик в томате. Или сквер в Щербаковом переулке...

Не печалься, все будет хорошо.

И прости, что у меня нет хвоста. (В Союзе был, и не один.) Прости, что у меня есть ботинки, сигареты и рассказы Фолкнера.

В остальном мы похожи. Немолодые раздражительные чужестранцы с комплексами... Сообща таскаем колбасу из холодильника...

Глава одиннадцатая

— Наш мир абсурден,— говорю я своей жене,— и враги человека — домашние его!

Моя жена сердится, хотя я произношу это в шутку.

В ответ я слышу:

— Твои враги — это дешевый портвейн и крашенные блондинки!

— Значит,— говорю,— я истинный христианин. Ибо Христос учил нас любить врагов своих...

Эти разговоры продолжаются двадцать лет. Без малого двадцать лет...

В Америку я приехал с мечтой о разводе. Единственной причиной развода была крайняя степень невозмутимости моей жены. Ее спокойствие не имело границ.

Поразительно, как это могут уживаться в человеке — спокойствие и антипатия...

Познакомились мы в шестьдесят третьем году. Это случилось так.

У меня была комната с отдельным входом. Окна выходили на помойку. Чуть ли не каждый вечер у меня собирались друзья.

Однажды я проснулся среди ночи. Увидел грязную посуду на столе и опрокинутое кресло. С тоской подумал о вчерашнем. Помню, трижды бегали за водкой. Кто-то высказался следующим образом:

«Пошли в Елисеевский! Туда — метров триста и обратно — примерно столько же...»

Я стал думать о завтраке в неубранной комнате.

Вдруг чувствую — я не один. На диване между холодильником и радиолой кто-то спит. Слышатся шорохи и вздохи. Я спросил:

— Вы кто?

— Допустим, Лена,— ответил неожиданно спокойный женский голос.

Я задумался. Имя Лена встречается не так уж часто. Среди наших знакомых преобладали Тамары и Ларисы. Я спросил:

— Каков ваш статус, Лена? Проще говоря, каков ваш социум эр актум?

Наступила пауза. Затем спокойный женский голос произнес:

— Меня забыл Гуревич...

Гуревич был моим знакомым по книжному рынку. Года два спустя его посадили.

— Как это забыл?

— Гуревич напился и вызвал такси...

Я стал что-то припоминать.

— На вас было коричневое платье?

— В общем, да. Зеленое. Его порвал Гуревич. А спала я в чьей-то гимнастерке.

— Это моя армейская гимнастерка. Так сказать — реликвия. Будете уходить — снимите.

— Здесь какой-то орден...

— Это, — говорю, — спортивный значок.

— Такой колючий... Спать не дал мне...

— Его, — говорю, — можно понять...

Наконец-то я вспомнил эту женщину. Худая, бледная, с монгольскими глазами.

К этому времени рассвело.

— Отвернитесь, — попросила Лена.

Я накрыл физиономию газетой. Тотчас же изменилась акустика. Барышня проследовала к двери. Судя по звуку — надев мои вельветовые шлепанцы.

Я выбрался из-под одеяла. День начинался странным и таинственным образом.

Затем неловкая толчая в передней. Полотенце вокруг моих не очень тонких бедер. Военная гимнастерка, не достигающая ее колен...

Мы не без труда разминулись. Я направился в душ. После душа в моей жизни наступает относительная ясность.

Выхожу через три минуты — кофе на столе, печенье, джем. Почему-то — заливная рыба...

К этому времени Лена оделась. Античная прореха у ворота — след необузданной чувственности Фимы Гуревича — была ей к лицу.

— Действительно, — говорю, — зеленое...

Мы завтракали, беседуя о разных пустяках. Все было мило, легко и даже приятно. С какой-то поправкой на общее безумие...

Лена собрала вещи, надела туфли и говорит:

— Я пошла.

— Спасибо за приятное утро.

Вдруг слышу:

— Буду около шести.

— Хорошо, — говорю...

Мне вспоминается такая история. Шли мы с приятелем из бани. Останавливает нас милиционер. Мы насто-рожились, спрашиваем:

— В чем дело?

А он говорит:

— Вы не помните, когда были изданы «Четки» Ахматовой?

— В тысяча девятьсот четырнадцатом году: Издательство «Гиперборей», Санкт-Петербург.

— Спасибо. Можете идти.

— Куда? — спрашиваем.

— Куда хотите, — отвечает. — Вы свободны...

Меня поразила тогда смесь обыденности и безумия. И в этот раз примерно такое же ощущение.

— Буду, — говорит, — около шести...

А у меня было назначено свидание в пять тридцать. Причем не с женщиной даже, а с Бродским. Далее — банкет по случаю чьей-то защиты.

Звоню, отменяю свидание. Банкет игнорирую. Мчусь домой в такси. Надо бы, думаю, вторые ключи заказать.

Жду. Приходит около шести. Раскрывает хозяйственную сумку, а там — консервы, яйца, хек.

— Вы, — говорит, — пока занимайтесь своими делами. А я все приготавливаю.

Тут у меня дикое соображение возникло. А вдруг она меня с кем-то путает? С каким-то близким и дорогим человеком? Вдруг безумие мира зашло уже так далеко?..

Поужинали. Я сел заниматься. Лена вымыла посуду. Включила телевизор.

Телевизор у меня два года не работал. А тут вдруг заработал, как новенький...

Стал я замечать какие-то перемены. Над умывальником появились заграничные баночки. В моем шкафу повисло что-то замшевое. Возле холодильника утвердились короткие бежевые сапожки. Даже запах в квартире изменился...

Наступил вечер. Лена говорит:

— Вам чаю или кофе?

— Чаю.

Выпили чаю с какими-то пряниками. Я пряников до этого не ел лет тридцать...

Смотрю — час ночи. Вроде бы надо ложиться спать. Лена говорит:

— Посидите на кухне.

Сажу, курю. Прочел газету за минувший вторник. Захожу в комнату — спит. На том же самом диване. Только вместо гимнастерки — нечто розовое.

Я лег, прислушался — ни единого звука. Хоть бы пошевелилась во сне из кокетства...

Я минут десять подождал и тоже уснул.

Наутро все сначала. Легкая неловкость, душ и кофе с молоком...

— На этот раз, — говорит, — я задержусь. Буду после одиннадцати. Так что не волнуйтесь...

Я поехал в редакцию. Оттуда — в бар Союза журналистов. С какой-то шведкой познакомился, в гостиницу меня звала. Все повторяла:

— Казак, налей мне русской водки!..

Друзья на подпольный концерт собирались. Авангардиста слушать. Причем авангардист довольно необычный — если можно так выразиться. Играет на виолончели лежа... Короче, множество соблазнов. А я домой спешу. В мой сумасшедший дом опаздываю.

Вечером я дождался ее и сказал:

— Лена, давайте поговорим. Мне кажется, нам следует объясниться. Происходит что-то непонятное. У меня есть несколько щекотливых вопросов. Разрешите без церемоний?

— Я вас слушаю, — говорит.

А лицо спокойное, как дамба.

Спрашиваю:

— Вам что, негде жить?

Барышня немного обиделась. Вернее — слегка удивилась:

— Почему это негде? У меня квартира в Дачном. А что?

— Да ничего, в сущности... Мне показалось... Я думал... Тогда еще один вопрос. Сугубо по-товарищески... Тысячу раз извините... Может быть, я вам нравлюсь?

Наступила пауза. Я чувствую, что краснею. Наконец, она сказала:

— У меня к вам претензий нет.

Так и сказала — претензий, мол, не имею.

Наступила пауза еще более тягостная. Для меня. Она-то была полна спокойствия. Взгляд холодный и твердый, как угол чемодана.

Тут я задумался. Может, ее спокойствие выше половых различий? Выше биологического предрасположения к мужчине? Выше самой идеи постоянного местожительства?..

— И последний вопрос. Только не сердитесь. И если я не прав — забудьте... Короче, есть одно предположе-

ние... Вы случайно не работник Комитета государственной безопасности?..

Мало ли, думаю. Человек я все-таки заметный, невоздержанный. Довольно много пью. Болтаю лишнее. «Немецкая волна» меня упоминала... Может быть, приставили к начинающему диссиденту эту фантастическую женщину?..

Тут уж, думаю, она раскричится. А если прав — тем более раскричится...

Слышу:

— Нет, я в парикмахерской работаю...

И затем:

— Если вопросов больше нет, давайте пить чай.

Так это все и началось. Днем я бегал в поисках халтуры. Возвращался расстроенный, униженный и злой. Лена спрашивала:

— Вам чаю или кофе?

Мы почти не разговаривали. Лишь обменивались краткой деловой информацией. Например, она сообщала:

— Вам звонил какой-то Бескин...

Или:

— Где тут у вас стиральный порошок?..

Мои дела ее не интересовали. Я тоже не задавал ей вопросов. Безумие приобретало каждодневные обыденные, рутинные формы.

Мой режим несколько изменился. Поклонницы звонили мне все реже. Да и чего звонить, если откликается спокойный женский голос?

Мы оставались совершенно незнакомыми людьми.

Лена была невероятно молчалива и спокойна. Это было не тягостное молчание испорченного громкогоговорителя. И не грозное спокойствие противотанковой мины. Это было молчаливое спокойствие корня, равнодушно внимающего шуму древесной листвы...

Прошла неделя. Субботним утром я не выдержал. Я сказал.. Нет, крикнул:

— Лена! Выслушайте меня! Разрешите мне быть совершенно откровенным. Мы ведем супружескую жизнь... Но — без главного элемента супружеской жизни... У нас хозяйство... Вы стираете... Объясните мне, что все это значит?.. Я близок к помешательству...

Лена подняла на меня спокойный, дружелюбный взгляд:

— Я вам мешаю? Вы хотите, чтоб я ушла?

— Не знаю, чего я хочу! Я хочу понять... Любовь — это я понимаю. Разврат — понимаю. Все понимаю... Все, кроме этого нормализованного сумасшествия... Будь вы агентом госбезопасности, тогда все нормально... Я бы даже обрадовался... В этом чувствовалась бы логика... А так...

Лена помолчала и говорит:

— Если надо уйти — скажите.

И затем, слегка потупив узкие монгольские глаза:

— Если вам нужно ЭТО — пожалуйста.

— Что значит — ЭТО?

Ресницы были опущены еще ниже. Голос звучал еще спокойнее. Я услышал:

— В смысле — интимная близость.

— Да нет уж,— говорю,— зачем?..

Разве я осмелюсь, думаю, так грубо нарушить это спокойствие?!

Прошло еще недели две. И спасла меня — водка. Я кутил в одной прогрессивной редакции. Домой приехал около часа ночи. Ну и, как бы это получше выразиться — забылся... Посягнул... Пошел неверной дорогой будущего арестанта Гуревича...

Брошенный мною камень лег на дно океана...

Это была не любовь. И тем более — не минутная слабость. Это была попытка защититься от хаоса.

Мы даже не перешли на «ты».

А через год родилась дочка Катя. Так и познакомились...

В качестве мужа я был приобретением сомнительным. Годами не имел постоянной работы. Обладал потускневшей наружностью деквалифицированного матadora.

Рассказов моих не печатали. Я становился все более злым и все менее осторожным. Летом семидесятого года мои первые рукописи отправились на Запад.

У меня появились знакомые иностранцы. Сидели до глубокой ночи. Охотно пили водку, закусывая ливерной колбасой.

Коммунальный сосед Тихомиров угрожающе бормотал:

— Ну и знакомые у вас! Типа Синявского и Даниэля...

Осенью того же года меня снова упоминали западные радиостанции.

Лену мои рассказы не интересовали. Ее вообще

не интересовала деятельность как таковая. Ее ограниченность казалась мне частью безграничного спокойствия.

В жизни моей, таким образом, царили две противоборствующие стихии. Слева бушевал океан зарождающегося нонконформизма. Справа расстилалась невозмутимая гладь мешанского благополучия.

Так я и брел, спотыкаясь, узкой полоской земли между этими двумя океанами.

Лена тем временем ушла из своей парикмахерской. Устроилась на работу в издательство «Советский писатель» — корректором. Для меня это было сюрпризом. Я и не знал, что она такая грамотная. Как не знал и многого другого. И не знаю до сих пор...

Через год произошел у нее конфликт с властями. Это было так.

Издательство выпустило дефицитную книгу Ахматовой. На долю сотрудников пришлось ограниченное количество экземпляров. Кого-то обошли совсем. И в том числе — мою жену.

Она пошла к директору издательства. Выразила ему свои претензии. Кондрашов в ответ сказал, понизив голос:

— Вы не улавливаете сложного политического контекста. Большая часть тиража отправлена за границу. Мы обязаны заткнуть рот буржуазной пропаганде.

— Заткните мне, — попросила Лена...

Так между нами образовалось частичное диссидентское взаимопонимание...

Шли годы. Росла наша дочка. Она говорила, подражая моему японскому транзистору:

— Я твоё «бибиси» на окно переставила...

Мы жили бедно, часто ссорились. Я выходил из себя — жена молчала.

Молчание — огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие...

Я все жаловался на отсутствие перспектив. Лена говорила:

— Напиши две тысячи рассказов. Хоть один да напечатают...

Я думал — что она говорит?! Что мне проку в одном рассказе?!

И даже обижался.

Зря...

Разные у нас были масштабы и пропорции. Я ста-

вил ударение на единице. Лена делала акцент на множестве.

Она была права. Победить можно только количеством. Вся мировая история это доказывает...

Я так мало знал о своей жене, что постоянно удивлялся. Меня удивляло любое нарушение ее спокойствия.

Как-то раз она заплакала, потому что ее унизили в домоуправлений. Честно говоря, я даже обрадовался. Значит, что-то способно возбуждать ее страсти...

Но это случилось редко. Чаще всего она бывала невозмутима...

В семидесятые годы началась эмиграция. Уезжали близкие друзья. На эту тему шли бесконечные разговоры. А я все твердил:

— Что мне там делать?! Нелепо бежать из родного дома! Если литература — занятие предосудительное, наше место в тюрьме...

Лена молчала. Вроде бы даже стала еще молчаливее.

Дни тянулись в бесконечном унылом застолье, частых провах и ночных разговорах...

Я хорошо помню тот февральский день. Лена пришла с работы и говорит:

— Все... Мы уезжаем... Надоело...

Я пытался что-то возражать. Говорил о родине, о Боге, о преимуществах высокого социального давления, о языковой и колористической гамме. Даже березы упомянул, чего себе век не прощу...

Но Лена уже пошла кому-то звонить.

Я рассердился и уехал на месяц в Пушкинский заповедник. Возвращаюсь — Лена дает мне подписать какие-то бумаги. Я спрашиваю:

— Уже?

— Да,— говорит,— все решено. Документы уже на руках. Уверена, что нас отпустят. Это может случиться в течение двух недель.

Я растерялся. Я не думал, что это произойдет так быстро. Вернее, надеялся, что Лена будет уговаривать меня.

Ведь это я ненавидел советский режим. Ведь это мои рассказы не печатали. Ведь это я был чуть ли не диссидентом...

До последнего дня я находился в каком-то оцепенении. Механически производил необходимые действия. Встречал и провожал гостей.

Наступил день отъезда. В аэропорту собралась толпа. Главным образом мои друзья, любители выпить.

Мы попрощались. Лена выглядела совершенно невозмутимой. Кто-то из моих родственников подарил ей черно-бурую лису. Мне долго снилась потом оскаленная лисья физиономия...

Дочка была в неуклюжих скороходовских туфлях. Вид у нее был растерянный. В тот год она была совсем некрасивой.

Затем они сели в автобус.

Мы ждали, когда поднимется самолет. Но самолеты взлетали часто. И трудно было понять, который наш...

Тосковать я начал по дороге из аэропорта. Уже в такси начал пить из горлышка. Шофер говорил мне:

— Пригнитесь.

Я отвечал:

— Не льется...

С тех пор вся моя жизнь изменилась. Мною овладело беспокойство. Я думал только об эмиграции. Пил и думал.

Лена посылала нам открытки. Они были похожи на шифрованные донесения:

«Рим — большой красивый город. Днем здесь жарко. По вечерам играет музыка. Катя здорова. Цены сравнительно низкие...»

Открытки были полны спокойствия. Мать перечитывала их снова и снова. Все пыталась отыскать какие-то чувства. Я-то знал, что это бесполезно...

Дальнейшие события излагаю пунктиром.

Обвинение в тунеядстве и притонодержательстве... Подписка о невыезде... Следователь Михалев... Какие-то неясные побои в милиции... Серия передач «Немецкой волны»... Арест и суд на улице Толмачева... Девять суток в Каляевской тюрьме... Неожиданное освобождение... ОВИР...

Полковник ОВИРа сказал мне вежливо и дружелюбно:

— Вам надо ехать. Жена уехала, и вам давно пора...

Из чувства противоречия я возразил:

— Мы, — говорю, — не зарегистрированы.

— Это формальность, — широко улыбнулся полковник, — а мы не формалисты. Вы же их любите?

— Кого — их?

— Жену и дочку... Ну, конечно, любите...

Так моя любовь к жене и дочке стала фактом. И засвидетельствовал его — полковник МВД...

Я пытался сориентироваться. В мире было два реальных полюса. Ясное, родное, удушающее — ЗДЕСЬ и неведомое, полуфантастическое — ТАМ. Здесь — необозримые просторы мучительной жизни среди друзей и врагов. Там — всего лишь жена, крошечный островок ее невозмутимого спокойствия.

Все мои надежды были — там. Не знаю, чего ради я морочил голову полковнику ОВИРа...

Через шесть недель мы были в Австрии. Вена напоминала один из районов Ленинграда. Где-то между Фонтанкой и Садовой.

Единственной серьезной деталью городского пейзажа была река. Река, которая на третий или четвертый день оказалась Дунаем.

На сероватом уличном фоне выделялись проститутки. Они были похожи на героинь заграничных кинокомедий.

Мы поселились в гостинице «Адмирал». Мать целыми днями читала Солженицына. Я что-то писал для эмигрантских газет и журналов. Главным образом расписывал свои несуществующие диссидентские подвиги.

К этому времени Лена уже переселилась в Америку. Ее письма становились все лаконичнее:

«Я работаю машинисткой. Катя ходит в школу. Район сравнительно безопасный. Хозяин дома — симпатичный пожилой американец. Его зовут Эндрю Коваленко...»

В Австрии мы прожили до лета. Вена была промежуточным этапом между Ленинградом и Америкой. Наверное, такое расстояние можно одолеть лишь в два прыжка.

Наконец мы получили американские документы. Семь часов над океаном показались мне вечностью. Слишком мало интересного в пространстве как таковом.

Самолет был американской территорией. Бортпроводницы держались независимо.

В аэропорту имени Кеннеди нас поджидали друзья. Известный фотограф Кулаков с женой и сыном. Поздоровавшись, они сразу начали ругать Америку.

— Покупай «тойоту», старик, — говорил Кулаков, — а еще лучше — «фольксваген». Американские машины — дерьмо!..

Я спросил:

— А где Лена и Катя?

Кулаков протянул мне записку:

«Располагайтесь. Мы в Клубе здоровья. Будем около восьми. Еда в холодильнике. Лена».

Мы поехали домой, во Флашинг. Окружающий горизонтальный пейзаж напоминал изнанку Московского вокзала. Небоскребы отсутствовали.

Мать посмотрела в окно и говорит:

— Совсем пустая улица...

— Это не улица,— возразил Кулаков,— это хайвей.

— Что значит — хайвей? — спросила мать.

— Большак,— ответил я.

Лена занимала первый этаж невысокого кирпичного дома. Кулаков помог нам внести чемодан. Затем сказал:

— Отдыхайте: В Европе уже ночь. А завтра я вам позвоню...

И уехал.

Я, конечно, не ждал, что меня будет встречать делегация американских писателей. Но Лена приехать в аэропорт, я думаю, могла бы...

Мы оказались в пустой квартире. На полу в двух комнатах лежали матрасы. Повсюду была разбросана одежда.

Мама заглянула в холодильник и говорит:

— Сыр почти такой же, как у нас...

Вдруг я почувствовал безумную усталость. Лег поверх одеяла и закурил. Контурь действительности неумолимо расплывались.

Кто я и откуда? Что с нами происходит? И чем все это кончится?..

Новая жизнь казалась слишком обыденной для значительных перемен.

Еще я подумал:

«Как возникает человеческая близость? Что нужно людям для ощущения родства?..»

Я проснулся рано утром. За окном покачивалась ветка. Рядом кто-то был. Я спросил:

— Кто это?

— Лена,— ответил спокойный женский голос.

И дальше:

— Как ты растолстел! Тебе нужно бегать по утрам.

— Бежать,— говорю,— практически некуда... Я бы предпочел остаться здесь. Надеюсь, это возможно?..

— Конечно. Если ты нас любишь...

— Полковник говорит — люблю.

— Любишь — так оставайся. Мы не против...

— При чем тут любовь? — сказал я.

Затем добавил:

— Любовь — это для подростков... Тут уже не любовь, а судьба... Между прочим, где Катя?

— На циновке рядом с бабушкой...

Затем Лена сказала:

— Отвернись.

Я накрыл физиономию американской газетой.

Лена встала, надела халат и спрашивает:

— Тебе чаю или кофе?

Тут появилась Катя. Но это уже другая тема...

Глава двенадцатая

Когда-то ее не было совсем. Хотя представить себе этого я не могу. И вообще, можно ли представить себе то, чего не было? Затем ее принесли домой. Розовый, неожиданно легкий пакет с кружевами.

Любопытно отметить — Катино детство я помню хуже, чем свое.

Помню, она серьезно болела. Кажется, это было воспаление легких. Ее увезли в больницу. Мать и бабушку туда не пускали. Положение было угрожающее. Мы не знали, что делать.

Наконец, меня вызвал главный врач. Это был неопрятный и даже выпивший человек. Он сказал:

— Не оставляйте жену и мамашу. Будьте рядом...

— Вы хотите сказать?..

— Сделаем все, что можно, — ответил доктор.

— Пустите в больницу мою жену.

— Это запрещено, — сказал он.

Наступили ужасные дни. Мы сидели возле телефона. Черный аппарат казался главным виновником несчастья. То и дело звонили посторонние, веселые люди. Мать иногда выходила на лестницу — плакать.

Как-то раз ей повстречался между этажами старый знакомый. Это был артист Меркурьев. Когда-то они вместе работали. Мать рассказала ему о наших делах. Меркурьев порылся в карманах. Обнаружил две копейки. Пошел в автомат.

— Меркурьев говорит, — сказал он, — пустите Норку в больницу...

И мать сразу пустили. А затем и жене разрешили дежурить ночами. Так что единственное оружие в борьбе против Советского государства — абсурд...

В общем, дочка росла. Ходила в детский сад. Иногда я забирал ее домой. Помню белую деревянную скамейку. И кучу детской одежды, гораздо больше предметов, чем у взрослых... Вспоминаю подвернутый задник крошечного ботинка. И то, как я брал дочку за пояс, легонько встряхивая...

Затем мы шли по улице. Вспоминается ощущение подвижной маленькой ладони. Даже сквозь рукавицу чувствовалось, какая она горячая.

Меня поражала ее беспомощность. Ее уязвимость по отношению к транспорту, ветру... Ее зависимость от моих решений, действий, слов...

Я думал — сколько же лет это будет продолжаться? И отвечал себе — до конца...

Припоминается один разговор в электричке. Мой случайный попутчик говорил:

«...Я мечтал о сыне. Сначала огорчился. Потом — ничего. Родись у нас мальчик, я бы капитулировал. Рассуждал бы примерно так: сам я немногого добился в жизни. Мой сын добьется большего. Я передам ему опыт своих неудач. Он вырастет мужественным и целеустремленным. Я как бы перейду в моего сына. То есть погибну...

С дочкой все иначе. Она нуждается во мне, и так будет до конца. Она не даст мне забыть о себе...»

Дочка росла. Ее уже было видно из-за стула.

Помню, она вернулась из детского сада. Не раздеваясь, спросила:

— Ты любишь Брежнева?

До этого мне не приходилось ее воспитывать. Она воспринималась как ценный неодушевленный предмет. И вот — я должен что-то говорить, объяснять...

Я сказал:

— Любить можно тех, кого хорошо знаешь. Например, маму, бабушку. Или на худой конец — меня. Брежнева мы не знаем, хоть часто видим его портреты. Возможно, он хороший человек. А может быть — и нет. Как можно любить незнакомого человека?..

— А наши воспитатели его любят, — сказала дочка.

— Вероятно, они лучше его знают.

— Нет, — сказала дочка, — просто они — воспитатели. А ты всего лишь папа...

Потом она стала быстро взрослеть. Задавала трудные вопросы. Вроде бы догадывалась, что я неудачник. Иногда спрашивала:

— Что же тебя все не печатают?

— Не хотят.

— А ты напиши про собаку.

Видимо, дочке казалось, что про собаку я напишу — гениально.

Тогда я придумал сказку:

«В некотором царстве жил-был художник. Вызывает его король и говорит:

— Нарисуй мне картину. Я тебе хорошо заплачу.

— Что я должен нарисовать? — спросил художник.

— Все что угодно, — ответил король, — за исключением маленькой серой букашки.

— А все остальное — можно?! — поразился художник.

— Ну, конечно. Все, кроме маленькой серой букашки.

Художник уехал домой.

Прошел год, второй, третий. Король забеспокоился. Он приказал разыскать художника. Он спросил:

— Где же обещанная картина?

Художник опустил голову.

— Отвечай, — приказал король.

— Я не могу ее писать, — сказал художник.

— Почему?

Наступила долгая пауза. Затем художник ответил:

— Я думаю только о серой букашке...»

— Ты поняла, что я хотел сказать?

— Да.

— Что же ты поняла?

— Видно, он хорошо ее знал.

— Кого?

— Букашку...

Затем наша дочка ходила в школу. Училась довольно прилично. Хотя ярких способностей не обнаруживала.

Сперва я огорчился. А потом успокоился. У талантливых — одни несчастья в жизни...

Катина жизнь протекала без особых драм. В школе ее не обижали. Я был в детстве гораздо застенчивее. Все же у нее имелся полный комплект родителей. К тому же — бабушка и собака.

Ко мне дочка относилась хорошо. Немного сочувствия, немного презрения. (Ведь я не умел чинить электричество.) Ну и мало зарабатывал...

Как все ленинградские школьники, она была довольно развитой. Ей было известно мое отношение к властям. Если по телевидению выступал Брежнев, Катя следила за моей реакцией...

Она говорила мне:

— Зачем ты ходишь раздетый?

Видимо, я был ей физически неприятен. Может, так и должно быть. Детям свойственна такого рода антипатия. (Родителям — никогда.)

У нее стал портиться характер. Я подарил ей отросток кактуса. Написал такое стихотворение:

Наша маленькая дочка
Вроде этого цветочка —
Неприменно уколою,
Даже тех, кого люблю...

В семьдесят восьмом году мы эмигрировали. Сначала уехали жена и дочка. Это был — развод. Хотя формально мы развелись за несколько лет до этого. Развелись, но продолжали мучить друг друга. И конца этому не было видно.

Говорят, брак на грани развода — самый прочный. Но мы переступили эту грань. Моя жена улетела в Америку, доверив океану то, что положено решать самим.

Дочка поехала с ней. Это было естественно. А я остался с матерью и Глашей.

Я не хотел уезжать. Вернее, знал, что еще рано. Мне нужно было подготовить рукописи. Исчерпать какие-то возможности. А может быть, достигнуть критической точки. Той черты, за которой начинается безумие.

И я остался. Мать осталась со мной. Это тоже было естественно.

После отъезда жены и дочки события развивались в ускоренном темпе. Как в романе начинающего автора, торопливо дописывающего последние страницы.

Меня отовсюду выгнали. Лишили последних заработков. Я все больше и больше пил.

Затем — какие-то странные побои в милиции. (Я бы воспринял их метафизически, не повторись они дважды.) Неделя в Каляевской тюрьме. И наконец — ОВИР, таможня, венские сосиски...

Четыре года я живу в Америке. Опять мы вместе. Хотя формально все еще разведены.

Отношения с дочкой — прежние. Я, как и раньше, лишен всего того, что может ее покорить.

Вряд ли я стану американским певцом. Или киноактером. Или торговцем наркотиками. Вряд ли разбогатею настолько, чтобы избавиться ее от проблем.

Кроме того, я по-прежнему не умею водить автомобиль. Не интересуюсь рок-музыкой. А главное — плохо знаю английский.

Недавно она сказала... Вернее, произнесла... Как бы это получше выразиться?.. Короче, я услышал такую фразу:

— Тебя, наконец, печатают. А что изменилось?

— Ничего,— сказал я,— ничего...

Глава тринадцатая. Заключение

Перед вами — история моего семейства. Надеюсь, она достаточно заурядна. Мне осталось добавить лишь несколько слов. 23 декабря 1981 года в Нью-Йорке родился мой сынок. Он американец, гражданин Соединенных Штатов. Зовут его — представьте себе — мистер Николас Доули.

Это то, к чему пришла моя семья и наша родина.

ЧЕМОДАН

..Но и такой, моя Россия,
ты всех краев дороже мне...

Александр Блок

Предисловие

В ОВИРе эта сука мне и говорит:

— Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства.

Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил:

— Всего три чемодана?! Как же быть с вещами?

— Например?

— Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей?

— Продайте,— не вникая, откликнулась чиновница.

Затем добавила, слегка нахмурив брови:

— Если вы чем-то недовольны, пишите заявление.

— Я доволен,— говорю.

После тюрьмы я был всем доволен.

— Ну, так и ведите себя поскромнее...

Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного-единственного чемодана.

Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Восемнадцать из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате — один чемодан. Причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось?!

Книги? Но в основном у меня были запрещенные книги. Которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом.

Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями.

Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил.

Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой.

Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено: «Младшая группа. Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал: «говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась.

Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лоллобриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лоллобриджиду ногтями. В результате только поцарапал.

А Бродского не тронул. Всего лишь спросил — кто это? Я ответил, что дальний родственник...

Шестнадцатого мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать.

Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл.

Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты. В Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио». Затем у друзей во Флашинге. Наконец, снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенового шкафа. Так и не развязал бельевую веревку.

Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула:

— Иди сейчас же в шкаф!

Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю:

— Тебе было страшно? Ты плакал?

А он говорит:

— Нет. Я сидел на чемодане.

Тогда я достал чемодан. И раскрыл его.

Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для нобелевской церемонии. Дальше — поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними — вельветовая куртка на искусственном меху. Слева — зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков.

Шоферские перчатки. И наконец — кожаный офицерский ремень.

На дне чемодана лежала страница «Правды» за май восьмидесятого года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению — жить!» В центре — портрет Карла Маркса.

Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата. И особенно — Маркса. Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже...

Я оглядел пустой чемодан. На дне — Карл Маркс. На крышке — Бродский. А между ними — пропащая, бесценная, единственная жизнь.

Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал — неужели это всё? И ответил — да, это всё.

И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать — «От Маркса к Бродскому». Или, допустим — «Что я нажил». Или, скажем, просто — «Чемодан»...

Но, как всегда, предисловие затянулось.

Креповые финские носки

Эта история произошла восемнадцать лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета.

Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось.

Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака.

Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася.

Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас — инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином.

Эти люди хорошо одевались. Любили рестораны, пу-

тешества. У некоторых были собственные автомашины.

Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком.

Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи.

Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они дожились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало.

Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне четыре рубля, пока Ася заказывала такси...

Всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто спрашивает. И на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы. И на тех, кто с раздражением хмурится в ответ.

Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал:

— Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи?..

Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются...

Короче, я вел себя назойливо и глупо.

У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли восьмидесяти рублей — цифры по тем временам чудовищной.

Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности.

Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча.

Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина.

Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка — преступна.

К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик.

Я заметил — когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик.

Короче, все было ужасно.

Однажды я бродил по городу в поисках шести рублей.

Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова.

Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася.

Это был высокий парень лет двадцати трех с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы.

Я, не раздумывая, подошел:

— Нельзя ли попросить у вас до завтра шесть рублей?

Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать.

— Элементарно,— сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник.

Мне стало жаль, что я не попросил больше.

— Возьмите больше,— сказал Фред.

Но я, как дурак, запротестовал.

Фред посмотрел на меня с любопытством.

— Давайте пообедаем,— сказал он.— Хочу вас угостить.

Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается.

Мы прошли три квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков.

Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра.

Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой дакроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор:

— Приветствую вас.

— Мое почтение,— ответил Фред.

— Ну как?

— Да ничего.

Юноша разочарованно приподнял брови:

— Совсем ничего?

— Абсолютно.

— Я же вас просил.

— Мне очень жаль.

— Но я могу рассчитывать?

— Бесспорно.

— Хорошо бы в течение недели.

— Постараюсь.

— Как насчет гарантий?

- Гарантий быть не может. Но я постараюсь.
- Это будет — фирма?
- Естественно.
- Так что — звоните.
- Непременно.
- Вы помните мой номер телефона?
- К сожалению, нет.
- Запишите, пожалуйста.
- С удовольствием.
- Хоть это и не телефонный разговор.
- Согласен.
- Может быть, заедете прямо с товаром?
- Охотно.
- Помните адрес?
- Боюсь, что нет...

И так далее.

Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая.

Фред сказал:

— Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом...

Я перебил его:

— Что такое — дельбаны с крестом?

— Часы,— ответил Фред,— неважно... Я раз десять приносил ему товар — не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. Короче, так и не подписался. Я все думал — что за номера? И вдруг уяснил, что он не хочет ПОКУПАТЬ мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос: «Как то, о чем я просил?..»

Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался:

— А вас не могут посадить?

Фред подумал и спокойно ответил:

— Не исключено. Свои же и продадут,— добавил он без злости.

— Так, может, завязать?

Фред нахмурился:

— Когда-то я работал экспедитором. Жил на девяносто рублей в месяц...

Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул:

— Это — уродливый цирковой номер!

— Тюрьма не лучше.

— А что делать? Способностей у меня нет. Уродо-

ваться за девяносто рублей я не согласен... Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять темно-серых костюмов. Перелистаю семьсот номеров журнала «Огонек». И все? И сдохну, не поцарапав земной коры?.. Уж лучше жить минуту, но по-человечески!..

Тут нам принесли еду и выпивку.

Мой новый друг продолжал философствовать:

— До нашего рождения — бездна. И после нашей смерти — бездна. Наша жизнь — лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой! Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов. И даже не совершает преступлений...

Я чуть не крикнул Фреду: «Так совершали бы подвиги!» Но сдержался. Все-таки я пил за его счет.

Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал:

— Надо идти. Ломбард закрывается.

И тогда Фред Колесников сделал мне предложение:

— Хотите в долю? Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь... Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим...

Назавтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал:

— Через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу... Мы, кажется, на «вы»?

— На «ты», естественно, что за церемонии?

— Бери мотор и езжай по этому адресу.

Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал:

— Тебя встретит Рымарь. Узнать его просто. У Рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через десять минут появлюсь я. Все будет о'кей!

— Я же не говорю по-фински.

— Это неважно. Главное — улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают...

Фред схватил меня за руку:

— Вот они! Действуй!

И пропал за кустами.

Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок, с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча.

Бурно жестикулируя, я наконец подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял: «Мистер Фред, мистер Фред...» и трогал одну из женщин за рукав.

— Где этот тип,— вдруг рассердилась женщина,— куда он делся? Чего он нам голову морочит?!

— Вы говорите по-русски?

— Мамочка русская была.

Я сказал:

— Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой.

Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров.

Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче.

На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув:

— Ну и хари!

— Ты на себя взгляни,— рассердилась Илона, которая была помоложе.

— Они говорят по-русски,— сказал я.

— Отлично,— не смутился Рымарь,— замечательно. Это сближает. Как вам нравится Ленинград?

— Ничего себе,— ответила Марья.

— В Эрмитаже были?

— Нет еще. А где это?

— Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари.

— Надо бы взглянуть,— сказала Илона.

— Не были в Эрмитаже! — сокрушался Рымарь.

Он даже слегка замедлил шаги. Как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами.

Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана.

Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил:

— Что за товар?

— Лучше ответить, где твой приятель с деньгами?

В ту же минуту раздались шаги и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный.

— Терве,— сказал он финкам,— здравствуйте.

Затем повернулся к Рымарю:

— Ну и мрачные физиономии! Ты к ним приставал?

— Я?! — возмутился Рымарь.— Мы говорили о прекрасном! Кстати, они волокут по-русски.

— Отлично,— сказал Фред,— добрый вечер, госпожа Ленарт, как поживаете, Илона-барышня?

— Ничего, спасибо.

— Зачем вы скрыли, что говорите по-русски?

— А кто нас спрашивал?

— Сначала надо выпить,— заявил Рымарь.

Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил.

Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал:

— Все чухонки — на одно лицо.

— Тем более что они — родные сестры,— пояснил Фред.

— Так я и думал... Кстати, физиономия этой госпожи Ленарт не внушает мне доверия.

Фред прикрикнул на Рымаря:

— А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?

Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце. Они подняли фужеры и улыбнулись — второй раз за целый день.

Хозяйственные сумки они держали на коленях.

— Ура,— сказал Рымарь,— за победу над Германией!

Мы выпили, и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался.

— Ваш любимый писатель? — надоедал финкам Рымарь.

Женщины посовещались между собой. Затем Илона сказала:

— Возможно, Карьялайнен.

Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять,

что одобряет названную кандидатуру. Однако сам претендует на большее.

— Ясно,— сказал он,— а что за товар?

— Носки,— ответила Марья.

— И больше ничего?

— А чего бы ты хотел?

— Сколько? — поинтересовался Фред.

— Четыреста тридцать два рубля,— отчеканила младшая, Илона.

— Майн гот! — воскликнул Рымарь.— Это же звериный оскал капитализма!

— Меня интересует — сколько пар? — отстранил его Фред.

— Семьсот двадцать.

— Креп-найлон? — требовательно вставил Рымарь.

— Синтетика,— ответила Илона,— шестьдесят копеек пара. Всего — четыреста тридцать два рубля...

Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков — шесть рублей. А у финнов их можно было приобрести за шестьдесят копеек. Девятьсот процентов чистого заработка...

Фред вынул бумажник и отсчитал деньги.

— Вот,— сказал он,— еще двадцать рублей. Товар оставьте прямо в сумках.

— Надо выпить,— вставил Рымарь,— за мирное урегулирование Суэцкого кризиса! За присоединение Эльзаса и Лотарингии!

Илона переложила деньги в левую руку. Взяла наполненный до краев стакан.

— Давайте трахнем этих финок,— прошептал Рымарь,— в целях международного единства.

Фред повернулся ко мне:

— Видишь, с кем приходится дело иметь!

Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти.

— Ваш любимый художник? — спрашивал Рымарь Илону.

При этом он клал ей руку на спину.

— Возможно, Маантере,— говорила Илона, отодвигаясь.

Рымарь укоризненно приподнимал брови. Словно его эстетическое чувство было немного задето.

Фред сказал:

— Надо проводить женщин и дать водителю семь рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег.

— Я?! — возмутился Рымарь. — С моей кристальной честностью?!

Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим.

— Пиастры, кроны, доллары, — твердил он, — франки, иены...

Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит:

— Ровно семьсот двадцать пар. Финны — честный народ. Вот что значит — слаборазвитое государство...

— Помножь на три, — сказал ему Фред.

— Как это — на три?

— Носки уйдут по трешке, если сдать их оптом. Полтора куска с довеском чистого наваря.

Рымарь быстро уточнил:

— Тысяча семьсот двадцать восемь рублей.

Безумие уживалось в нем с практицизмом.

— Пятьсот с чем-то на брата, — добавил Фред.

— Пятьсот семьдесят шесть, — вновь уточнил Рымарь...

Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме.

Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал:

— В пять минут такие деньги!

Надо же было что-то сказать.

— Все равно, — ответил Фред, — будешь сорок минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине.

Тогда я спросил:

— Зачем я тебе нужен?

— Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента. Хотя такое не исключено. И не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что Рымарь — дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь

тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру сорок долларов. Это с его-то рожей! Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут — сорок долларов! Нарушение правил валютных операций. Готовая статья... Рано или поздно он сядет.

— А я? — спрашиваю.

— Ты — нет. У тебя будут другие неприятности. Я не стал уточнять — какие.

Прощаясь, Фред сказал:

— В четверг получишь свою долю.

Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила.

Все я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека.

Между тем дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму:

— Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?..

Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиних глазах, достигая, естественно, противоположной цели.

Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который непрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать...

В четверг позвонил Фред:

— Катастрофа!

— Что такое?

Я подумал, что арестовали Рымаря.

— Хуже, — сказал Фред, — зайди в ближайший галантерейный магазин.

— Зачем?

— Все магазины завалены креповыми носками. Причем советскими креповыми носками. Восемьдесят копеек — пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо...

— Что же делать?

— Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономики?!. Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не

возьмут! Знаю я нашу блядскую промышленность! Сначала она двадцать лет кочумает, а потом вдруг — раз! И все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то всё. Будут теперь штамповать эти креповые носки — миллион пар в секунду...

Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял двести сорок пар. Двести сорок пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение — клеймо «Мейд ин Финланд».

После этого было многое. Операция с плащами «болонья». Перепродажа шести немецких стереоустановок. Драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет. Бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования. И многое другое.

Я расплатился с долгами. Купил себе приличную одежду. Перешел на другой факультет. Познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме.

И лишь одно было неизменным. Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось.

Так я и уехал, бросив в пустой квартире груды финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан.

Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев два года, разбился на мотоцикле «чизетта». Рымарь отсидел год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде. Что весьма странно характеризует американскую науку.

Номенклатурные полуботинки

Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл..

Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:

— Что, в двух словах, происходит на родине?

Карамзину и двух слов не понадобилось.

— Воруют,— ответил Карамзин...

Действительно, воруют. И с каждым годом все раз-
машистей.

С мясокомбината уносят говяжьих туш. С текстиль-
ной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры —
линзы.

Тащат всё — кафель, гипс, полиэтилен, электромото-
ры, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла.

Зачастую все это принимает метафизический ха-
рактер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве
без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает
лишь в Российском государстве.

Я знал тонкого, благородного, образованного челове-
ка, который унес с предприятия ведро цементного рас-
твора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похи-
титель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего
дома.

Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес изби-
рательную урну. Притащил ее домой и успокоился.
Третий мой знакомый украл огнетушитель. Четвертый
унес из кабинета своего начальника бюст Поля Роб-
сона. Пятый — афишную тумбу с улицы Шкапина. Шес-
той — пюпитр из клуба самодеятельности.

Я, как вы сможете убедиться, действовал гораздо
практичнее. Я украл добротные советские ботинки, пред-
назначенные на экспорт. Причем украл я их не в магази-
не, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок.
Стащил я их у председателя Ленинградского горисполко-
ма. Короче говоря, у мэра Ленинграда.

Однако мы забежали вперед.

Демобилизовавшись, я поступил в заводскую много-
тиражку. Прослужил в ней три года. Понял, что идеоло-
гическая работа не для меня.

Мне захотелось чего-то более непосредственного. Да-
лекого от нравственных сомнений.

Я припомнил, что когда-то занимался в художествен-
ной школе. Между прочим, в той же самой, которую
окончил известный художник Шемякин. Какие-то на-
выки у меня сохранились.

Знакомые устроили меня по блату в ДПИ (Комби-
нат декоративно-прикладного искусства). Я стал учени-
ком камнереза. Решил утвердиться на поприще монумент-
альной скульптуры.

Увы, монументальная скульптура — жанр весьма кон-
сервативный. Причина этого — в самой ее монументаль-
ности.

Можно тайком писать романы и симфонии. Можно тайно экспериментировать на холсте. А вот попытайтесь-ка утаить четырехметровую скульптуру. Не выйдет!

Для такой работы необходима просторная мастерская. Значительные подсобные средства. Целый штат ассистентов, формовщиков, грузчиков. Короче, требуется официальное признание. А значит — полная благонадежность. И никаких экспериментов...

Побывал я однажды в мастерской знаменитого скульптора. По углам громоздились его незавершенные работы. Я легко узнал Юрия Гагарина, Маяковского, Фиделя Кастро. Пригляделся и замер — все они были голые. То есть абсолютно голые. С добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой.

Я похолодел от страха.

— Ничего удивительного, — пояснил скульптор, — мы же реалисты. Сначала лепим анатомию. Потом одежду...

Зато наши скульпторы — люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро.

Памятник Ленину есть в каждом городе. В любом районном центре. Заказы такого рода — неистоцимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую. То есть с завязанными глазами. Хотя бывают и курьезы. В Челябинске, например, произошел такой случай.

В центральном сквере, напротив здания горсовета, должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг. Собралось тысячи полторы народу.

Звучала патетическая музыка. Ораторы произносили речи.

Памятник был накрыт серой тканью.

И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань.

Ленин был изображен в знакомой позе — туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто.

Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь.

Лишь один человек не смеялся. Это был ленинград-

ский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности.

Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке.

Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью.

Наутро памятник был вновь обнаружен. За ночь лишнюю кепку убрали...

Мы снова отвлеклись.

Монументы рождаются так. Скульптор лепит глиняную модель. Формовщик отливает ее в гипсе. Потом за дело берутся камнерезы.

Есть гипсовая фигура. И есть бесформенная мраморная глыба. Необходимо, как говорится, убрать все лишнее. Абсолютно точно скопировать гипсовый прообраз.

Для этого имеются специальные устройства, так называемые пунктир-машины. С помощью этих машин на камне делаются тысячи зарубок. То есть определяются контуры будущего монумента.

Затем камнерез вооружается небольшим перфоратором. Стесывает грубые напластования мрамора. Берется за киянку и скарапель (нечто вроде молотка и зубила). Предстоит завершающий этап, филигранная, ответственная работа.

Камнерез обрабатывает мраморную поверхность. Одно неверное движение — и конец. Ведь строение мрамора подобно древесной фактуре. В мраморе есть хрупкие слои, затвердения, трещины. Есть прочные фактурные ступки. (Что-то вроде древесных сучков.) Есть многочисленные вкрапления иной породы. И так далее. В общем, дело это кропотливое и непростое.

Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадира звали Осип Лихачев. Его помощника и друга — Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами.

При этом Лихачев выпивал ежедневно, а Цыпин страдал хроническими запоями. Что не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину опохмеляться при каждом удобном случае.

Лихачев был хмурый, сдержанный, немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были

продолжением тяжких внутренних раздумий. Он восклицал, резко поворачиваясь к любому случайному человеку:

— Вот ты говоришь — капитализм, Америка, Европа! Частная собственность!.. У самого последнего чучмека — легковой автомобиль!.. А доллар, извиняюсь, все же падает!..

— Значит, есть куда падать,— весело откликнулся Цыпин,— уже неплохо. А твоему засраному рублю и падать некуда...

Однако Лихачев не реагировал, снова погружившись в безмолвие.

Цыпин, наоборот, был разговорчивым и добродушным человеком. Ему хотелось спорить.

— Дело не в машине,— говорил он,— я сам автолюбитель... Главное при капитализме — свобода. Хочешь — пьешь с утра до ночи. Хочешь — вкалываешь круглые сутки. Никакого идейного воспитания. Никакой социалистической морали. Кругом журналы с голыми девками... Опять же — политика. Допустим, не понравился тебе какой-нибудь министр — отлично. Пишешь в редакцию: министр — говно! Любому президенту можно в рожу наплевать. О вице-президентах я уж и не говорю. А машина и здесь не такая большая редкость. У меня с шестидесятого года «Запорожец», а что толку?..

Действительно, Цыпин купил «Запорожец». Однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами не садился за руль. В ноябре машину засыпало снегом. «Запорожец» превратился в небольшую снежную гору. Около нее всегда толпились дворовые ребята.

Весной снег растаял. «Запорожец» стал плоским, как гоночная машина. Крыша его был продавлена детскими санками.

Цыпин этому почти обрадовался:

— За рулем я обязан быть трезвым. А в такси я и пьяный доеду...

Такие вот попались мне учителя.

Вскоре мы получили заказ. Причем довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновский быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе. Мы пришли взглянуть на это дело.

Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток.

В левой — глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус — науку.

Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому хотелось утвердить примат материи над духом.

А вот глобус мне понравился. Хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной.

Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные Кордильеры, Аппалаччи, Гвианское нагорье. Не забыл про озера и реки — Гурон, Атабаска, Манитоба...

Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. Скульптор рассердился:

— Вы рассуждаете, как десятиклассник! А моя скульптура — не школьное пособие! Перед вами — шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. Точнее, в гипсе... Последний крик метафизического синтетизма!..

— Коротко и ясно, — вставил Цыпин.

— Не спорь, — шепнул мне Лихачев, — какое твое дело?

Неожиданно Чудновский смягчился:

— А может, вы правы. И все же — оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда...

Мы принялись за дело. Сначала работали на комбинате. Потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам.

Пришлось заканчивать работу на месте. То есть под землей.

На станции «Ломоносовская» шли отделочные работы. Здесь трудились каменщики, электрики, штукатуры. Бесчисленные компрессоры производили адский шум. Пахло жженой резиной и мокрой известкой. В металлических бочках горели костры.

Нашу модель бережно опустили под землю. Установили ее на громадных дубовых козлах. Рядом висела на цепях четырехтонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очертания фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы.

Тут возникло непредвиденное осложнение. Дело в том, что эскалаторы бездействовали. Идя наверх за водой, требовалось преодолеть шестьсот ступеней.

В первый день Лихачев заявил:

— Иди. Ты самый молодой.

Я и не знал, что метро расположено на такой глубине. Да еще в Ленинграде, где почва сырая и зыбкая. Мне пришлось раза два отдыхать. «Столичная», которую я принес, была выпита за минуту.

Пришлось идти снова. Я все ещё был самым молодым. Короче, за день я шесть раз ходил наверх. У меня заболели колени.

На следующий день мы поступили иначе. А именно, сразу же купили шесть бутылок. Это не помогло. Наши запасы привлекли внимание окружающих. К нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через десять минут водка кончилась. И снова я отправился наверх.

На третий день мои учителя решили бросить пить. На время, разумеется. Но окружающие по-прежнему выпивали. И щедро угощали нас.

На четвертый день Лихачев объявил:

— Я не фраер! Я не могу больше пить за чужой счет! Кто у нас, ребята, самый молодой?..

И я отправился наверх. Подъем давался мне все легче. Видимо, ноги окрепли.

Так что работали в основном Лихачев и Цыпин. Облик Ломоносова становился всё более четким. И, надо заметить, все более отталкивающим.

Иногда появлялся скульптор Чудновский. Давал руководящие указания. Кое-что на ходу переделывал.

Работяги тоже интересовались Ломоносовым. Спрашивали, например:

— Кто это в принципе — мужик или баба?

— Нечто среднее, — отвечал им Цыпин..

Надвигались праздники. Отделочные работы близились к завершению. Станция метро «Ломоносовская» принимала нарядный, торжественный вид.

Пол застелили мозаикой. Своды были украшены чугунными лампионами. Одна из стен предназначалась для нашего рельефа. Там установили гигантскую сварную раму. Чуть выше мерцали тяжелые блоки с цепями.

Я убирал мусор. Мои учителя наводили последний глянец. Цыпин прорабатывал кружевное жабо и шнурки на ботинках. Лихачев шлифовал завитки парика.

В канун открытия станции мы ночевали под землей. Нам предстояло вывесить свой злополучный рельеф. А именно — поднять его на таях. Вести так называемые

«пироны». И наконец, залить крепления для прочности эпоксидной смолой.

Поднять такую глыбу на четыре метра от земли довольно сложно. Мы провозились несколько часов. Блоки то и дело заклинивало. Штыри не попадали в отверстия. Цепи скрипели, камень раскачивался. Лихачев орал:

— Не подходи!..

Наконец, мраморная глыба повисла над землей. Мы сняли цепи и отошли на почтительное расстояние. Издалека Ломоносов выглядел более прилично.

Цыпин и Лихачев с облегчением выпили. Потом начали готовить эпоксидную смолу.

Разошлись мы под утро. В час должно было состояться торжественное открытие.

Лихачев пришел в темно-синем костюме. Цыпин — в замшевой куртке и джинсах. Я и не подозревал, что он щеголь.

Между прочим, оба были трезвые. От этого у них даже цвет лица изменился.

Мы спустились под землю. Среди мраморных колонн прогуливались нарядные трезвые работяги. Хотя карманы у многих заметно оттопыривались.

Четверо плотников наскоро сколачивали маленькую трибуну. Установить ее должны были под нашим рельефом.

Осип Лихачев понизил голос и сказал мне:

— Есть подозрение, что эпоксидная смола не затвердела. Цыпа бухнул слишком много растворителя. Короче, эта мраморная фигура держится на честном слове. Поэтому, когда начнется митинг, отойди в сторонку. И жену предупреди на будущее.

— Но там же, — говорю, — будет стоять весь цвет Ленинграда! А что, если все сооружение рухнет?

— Может, оно бы и к лучшему, — вяло сказал бригадир...

В час должны были появиться именитые гости. Ожидали мэра города, товарища Сизова. Его должны были сопровождать представители ленинградской общественности. Ученые, генералы, спортсмены, писатели.

Программа открытия была такая. Сначала — небольшой банкет для избранных. Затем — короткий митинг. Вручение почетных грамот и наград. А дальше, как выра-

зился начальник станции, — «по интересам». Одни — в ресторан, другие — на концерт художественной самодеятельности.

Гости прибыли в час двадцать. Я узнал композитора Андрея Петрова, штангиста Дудко и режиссера Владимира. Ну и, конечно, самого мэра.

Это был высокий, еще не старый человек. Выглядел он почти интеллигентно. Его охраняли двое хмурых упитанных молодцов. Их выделяла легкая меланхолия, свидетельствующая о явной готовности к драке.

Мэр обошел станцию, помедлил возле нашего рельефа. Негромко спросил:

— Кого он мне напоминает?

— Хрущева, — подмигнул нам Цыпин.

Мэр не дождался ответа и последовал дальше. За ним, угодливо посмеиваясь, бежал начальник станции.

К этому времени трибуну обтянули розовым сатином. Через несколько минут осмотр закончился. Нас пригласили к столу.

Отворилась какая-то загадочная боковая дверь. Мы увидели просторную комнату. Я и не знал о ее существовании. Наверное, здесь собирались оборудовать бомбоубежище для администрации.

В банкете участвовали гости и несколько заслуженных рабочих. Мы были приглашены все трое. Видимо, нас считали местной интеллигенцией. Тем более что скульптор отсутствовал.

Всего за столом разместилось человек тридцать. По одну сторону — гости, напротив — мы.

Первым выступил начальник станции. Он представил мэра города, назвав его «стойким ленинцем». Все долго аплодировали.

После этого взял слово мэр. Он говорил по бумажке. Выразил чувство глубокого удовлетворения. Поздравил всех трудящихся с досрочным завершением работ. Запинаясь, назвал три или четыре фамилии. И наконец, предложил выпить за мудрое ленинское руководство.

Все зашумели и потянулись к бокалам.

Потом было еще несколько тостов. Начальник станции предложил выпить за мэра. Композитор Петров — за светлое будущее. Режиссер Владимиров — за мирное сосуществование. А штангист Дудко за сказку, которая на глазах превращается в быль.

Цыпин порозовел. Он выпил фужер коньяку и потянулся за шампанским.

— Не смешивай,— посоветовал бригадир,— а то уже хорош.

— Что значит — не смешивай,— удивился Цыпин,— почему? Я же грамотно смешиваю. Делаю все по науке. Водку с пивом мешать — это одно. Коньяк с шампанским — другое. Я в этом деле профессор.

— Оно и видно,— нахмурился Лихачев,— по той же эпоксидной смоле...

Через минуту все говорили хором. Цыпин обнимал режиссера Владимирова. Начальник станции ухаживал за мэром. Штукатуры и каменщики, перебивая один другого, жаловались на заниженные расценки.

Только Лихачев молчал. Видно, думал о чем-то. Затем вдруг резко и совершенно неожиданно произнес, обращаясь к штангисту Дудко:

— Знал одну еврейку. Сошлись. Готовила неплохо...

А я наблюдал за мэром. Что-то беспокоило его. Томило. Заставляло хмуриться и напрягаться. Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка.

Затем произошло следующее.

Мэр резко придвинулся к столу. Не опуская головы, пригнулся. Левая рука его, оставив бутерброд, скользнула вниз.

Около минуты лицо почетного гостя выражало крайнюю сосредоточенность. Потом, издав едва уловимый звук лопнувшей шины, мэр весело откинулся на спинку кресла. И с облегчением взял бутерброд.

Тогда я незаметно приподнял скатерть. Заглянул под стол и тотчас выпрямился. То, что я увидел, поразило меня и вынудило затаить дыхание. Я сжался от причастности к тайне.

А увидел я крупные ступни мэра города, туго обтянутые зелеными шелковыми носками. Пальцы ног мэра города шевелились. Как будто мэр импровизировал на рояле.

Ботинки стояли рядом.

И тут — не знаю, что со мной произошло. То ли сказало мое подавленное диссидентство. То ли заговорила во мне криминальная сущность. То ли воздействовали на меня загадочные разрушительные силы.

Раз в жизни такое бывает с каждым.

Дальнейшие события припоминаю, как в тумане. Я передвинулся на край сиденья. Вытянул ногу. Нашупал ботинки мэра города и осторожно притянул к себе.

И лишь после этого замер от страха.

В ту же минуту поднялся начальник станции:

— Внимание, друзья! Приглашаю вас на короткий торжественный митинг. Почетные гости, займите места на трибуне!

Все зашевелились. Режиссер Владимиров поправил галстук. Штангист Дудко торопливо застегнул верхнюю пуговицу на брюках. Цыпин и Лихачев неохотно отставили бокалы.

Я посмотрел на мэра. Тревожно оглядываясь, мэр шарил ногой под столом. Я, разумеется, не видел этого. Но я догадывался об этом по выражению его растерянного лица. Было заметно, что радиус поисков увеличивается.

Что мне оставалось делать?

Возле моего кресла стоял портфель Лихачева. Портфель всегда был с нами. В нем умещалось до шестнадцати бутылок «Столичной». Таскать его было раз и навсегда поручено мне.

Я уронил носовой платок. Затем нагнулся и сунул ботинки мэра в портфель. Я ощутил их благородную, тяжеловатую прочность. Не думаю, чтобы кто-то все это заметил.

Застегнув портфель, я встал. Остальные тоже стояли. Все, кроме товарища Сизова. Охранники вопросительно поглядывали на босса.

И тут мэр города показал себя умным и находчивым человеком. Прижав ладонь к груди, он тихо выговорил:

— Что-то мне нехорошо. Я на минуточку прилягу...

Мэр быстро снял пиджак, ослабил галстук и взгромоздился на диванчик у телефона. Его ступни в зеленых шелковых носках утомленно раздвинулись. Руки были сложены на животе. Глаза прикрыты.

Охранники начали действовать. Один звонил врачу. Другой командовал:

— Освободите помещение! Я говорю — освободите помещение! Да побыстрее! Начинайте митинг!.. Еще раз повторяю — начинайте митинг!..

— Могу я чем-то помочь? — вмешался начальник станции.

— Убирайся, старый пидор! — раздалось в ответ. Первый охранник добавил:

— На столах все оставить как есть! Не исключена провокация! Надеюсь, фамилии присутствовавших известны?

Начальник станции угодливо кивнул.

— Я список представлю...

Мы вышли из помещения. Я нес портфель в дрожащей руке. Среди колонн толпились работяги. Ломоносов, слава Богу, висел на прежнем месте.

Митинг не отменили. Именитые гости, лишившиеся своего предводителя, замедлили шаги возле трибуны. Им скомандовали — подняться. Гости расположились под мраморной глыбой.

— Пошли отсюда, — сказал Лихачев, — чего мы здесь не видели? Я знаю пивную на улице Чкалова.

— Хорошо бы, — говорю, — удостовериться, что монумент не рухнул.

— Если рухнет, — сказал Лихачев, — то мы в пивной услышим.

Цыпин добавил:

— Хохоту будет...

Мы выбрались на поверхность. День был морозный, но солнечный. Город был украшен праздничными флагами.

А нашего Ломоносова через два месяца сняли. Ленинградские ученые написали письмо в газету. Жаловались, что наша скульптура принижает великий образ. Претензии, естественно, относились к Чудновскому. Так что деньги нам полностью заплатили. Лихачев сказал:

— Это главное...

Приличный двубортный костюм

Я и сейчас одет неважно. А раньше одевался еще хуже. В Союзе я был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пушкинского заповедника говорил мне:

— Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест...

В редакциях, где я служил, мной тоже часто были недовольны. Помню, редактор одной газеты жаловался:

— Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие. Делегировали вас на похороны генерала Филоненко. А вы, как мне стало известно, явились без пиджака.

— Я был в куртке.

— На вас была какая-то старая ряса.

— Это не ряса. Это заграничная куртка. И кстати, подарок Леже.

(Куртка, и вправду, досталась мне от Фернана Леже. Но эта история — впереди.)

— Что такое «леже»? — поморщился редактор.

— Леже — выдающийся французский художник. Член Коммунистической партии.

— Не думаю, — сказал редактор, потом вдруг рассердился: — Хватит! Вечные отговорки! Все не как у людей! Извольте одеваться так, как подобает работнику солидной газеты!

Тогда я сказал:

— Пусть мне редакция купит пиджак. Еще лучше — костюм. А галстук, так и быть, я сам куплю...

Редактор хитрил. Ему было совершенно все равно, как я одеваюсь. Дело было не в этом. Все объяснялось просто.

Я был самым здоровым в редакции. Самым крупным. То есть, как уверяло меня начальство, — самым представительным. Или, по выражению ответственного секретаря Минца, — «наиболее репрезентативным».

Если умирала какая-то знаменитость, на похороны от редакции делегировали меня. Ведь гроб тащить не каждому под силу. Я же занимался этим не без вдохновения. Не потому, что так уж любил похороны. А потому, что ненавидел газетную работу...

— Нахальство, — сказал редактор.

— Ничего подобного, — говорю, — законное требование. Железнодорожникам, например, выдается спецодежда. Сторожам — тулупы. Водолазам — скафандры. Пускай редакция мне купит спецодежду. Костюм для похоронных церемоний...

Редактор наш был добродушным человеком. Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие. Да и времена были тогда сравнительно либеральные.

Он сказал:

— Давайте примем компромиссное решение. Вы подготовьте до Нового года три социально значимых материала. Три статьи широкого общественно-политического звучания. И тогда редакция премирует вас скромным костюмом.

— Что значит — скромным? Дешевым?

— Не дешевым, а черным. Для торжественных случаев.

— О'кей,— говорю,— запомним этот разговор...

Через неделю прихожу в редакцию. Вызывает меня заведующий отделом пропаганды Безуглов. Спускаюсь ниже этажом. Безуглов говорит одновременно по двум телефонам. Слышу:

— Белорус не годится. Белорусов навалом. Узбека мне давай или, на худой конец, эстонца... Хотя нет, погоди, эстонец вроде бы есть... Зато молдаванин под сомнением... Что?.. Рабочий отпадает, пролетариев достаточно... Давай интеллигента либо сферу обслуживания. А самое лучшее — военного. Какого-нибудь старшину... В общем, действуй!

Безуглов поднял другую трубку:

— Алё... Срочно нужен узбек. Причем любого качества, хоть тунядец... Постарайся, голубчик, век не забуду...

Я поздоровался и спрашиваю:

— Что это за интернационал?

Безуглов говорит:

— Скоро День конституции. Вот мы и решили дать пятнадцать очерков. По числу союзных республик. Охватить представителей разных народов.

Безуглов вынул сигареты и продолжал:

— С русскими, допустим, нет проблем. Украинцев тоже хватает. Грузина нашли в Медицинской академии. Азербайджанца на мясокомбинате. Даже молдаванина подыскали, инструктора райкома комсомола. А вот с узбеками, киргизами, туркменами — завал. Где я возьму узбека?!

— В Узбекистане,— подсказал я.

— Какой ты умный! Ясно, что в Узбекистане. Но у меня же — сроки. Не говоря о том, что командировочные фонды давно израсходованы... Короче, хочешь заработать пятьдесят рублей?

— Хочу.

— Я так и думал... Найди мне узбека, выишу полтинник. Набавлю как за вредность...

— У меня есть знакомый татарин.

Безуглов рассердился:

— Зачем мне татарин?! У меня самого на площадке татары живут. И что толку? Это же не союзная республика... Короче, найди мне узбека. Киргиза и туркмена я уже распределил между внештатниками. Таджики вроде бы есть у Сашки Шевелева. Казаха ищет Самойлов. И так далее. Нужен узбек. Возьмешься за это дело?

— Ладно,— говорю,— но я тебя предупреждаю. Очерк будет социально значимым. С широким общественно-политическим звучанием.

— Ты выпил? — спросил Безуглов.

— Нет. А у тебя есть предложения?

— Что ты,— замахал руками Безуглов,— исключено. Я пью только вечером... Не раньше часу дня...

Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный. Родом из Свердловска.

Помню, собирался я в командировку на Урал. Естественно, должен был заехать в Свердловск. И как раз на майские праздники. То есть могли быть осложнения с гостиницей.

Обращаюсь к Безуглову:

— Могу я переночевать в Свердловске у твоих родителей?

— Естественно,— закричал Безуглов,— конечно! Сколько угодно! Все будут только рады. Квартира у них — громадная. Батя — член-корреспондент, мамаша — заслуженный деятель искусств. Угостят тебя домашними пельменями... Единственное условие: не проговорись, что мы знакомы. Иначе все пропало. Ведь я с четырнадцати лет — позор семьи!..

— Ладно,— говорю,— поищу тебе узбека.

Я начал действовать. Перелистал записную книжку. Позвонил трем десяткам знакомых. Наконец, один приятель, трубач, сообщил мне:

— У нас есть тромбонист Балиев. По национальности — узбек.

— Прекрасно,— говорю,— дай мне номер его телефона.

— Записывай.

Я записал.

— Он тебе понравится,— сказал мой друг.— Мужик культурный, начитанный, с юмором. Недавно освобо-
дился.

— Что значит — освобо-
дился?

— Кончился срок, вот его и освободили.

— Ворюга, что ли? — спрашиваю.

— Почему это ворюга? — обиделся друг.— Мужик за изнасилование сидел...

Я положил трубку.

В ту же минуту звонок Безуглова.

— Тебе повезло,— кричит,— нашли узбека. Ми-

щук его нашел... Где? Да на Кузнечном рынке. Торговал этой... как ее... хохломой.

— Наверное, пахлавой?

— Ну, пахлавой, какая разница... А мелкий частник — это даже хорошо. Это сейчас негласно поощряется. Приусадебные наделы, личные огороды и все такое...

Я спросил:

— Ты уверен, что пахлава растет в огороде?

— Я не знаю, где растет пахлава. И знать не хочу. Но я хорошо знаю последние инструкции горкома... Короче, с узбеком порядок.

— Жаль, — говорю, — у меня только что появилась отличная кандидатура. Культурный, образованный узбек. Солист оркестра. Недавно с гастролей вернулся.

— Поздно. Прибереги его на будущее. Мищук уже статью принес. А для тебя есть новое задание. Приближается День рационализатора. Ты должен найти современного русского умельца, потомка знаменитого Левши. Того самого, который подковал английскую блоху. И сделать на эту тему материал.

— Социально значимый?

— Не без этого.

— Ладно, — говорю, — попытаюсь...

Я слышал о таком умельце. Мне говорил о нем старший брат, работавший на кинохронике.

Жил старик на Елизаровской, под Ленинградом, в частном доме. Найти его оказалось проще, чем я думал. Первый же встречный указал мне дорогу.

Звали старика Евгений Эдуардович. Он реставрировал старинные автомобили. Отыскивал на свалках ржавые бесформенные корпуса. С помощью разнообразных источников восстанавливал первоначальный облик машины. Затем прodelывал огромную работу. Вытачивал, клеил, никелировал.

Он возродил десятки старинных моделей. Среди его творений были «олдсмобили» и «шевроле», «пежо» и «форды». Разноцветные, сверкающие кожей, медью, хромом, неуклюже-изысканные, они производили яркое впечатление.

Причем все эти модели были действующими. Они вибрировали, двигались, гудели. Слегка раскачиваясь, обгоняли пешеходов. Это было сильное, почти цирковое зрелище.

За рулем восседал хозяин, Евгений Эдуардович. Его старинная кожаная тужурка лоснилась. Глаза были при-

крыты целлулоидными очками. Широчайшее кепи дополняло его своеобразный облик.

Кстати, он был чуть ли не первым российским автомобилистом. Сел за руль в двенадцатом году. Некоторое время был личным шофером Родзянко. Затем возил Троцкого, Кагановича, Андреева. Возглавил первую российскую автошколу. Войну закончил командиром бронетанкового подразделения. Удостоился многих правительственных наград. Естественно, сидел. В преклонные годы занялся реставрацией старинных автомобилей.

Продукция Евгения Эдуардовича демонстрировалась на международных выставках. Его модели использовали на съемках отечественные и зарубежные кинематографисты. Он переписывался на четырех языках с редакциями бесчисленных автомобильных журналов.

Если машины участвовали в киносъемках, хозяин сопровождал их. Кинорежиссеры обратили внимание на импозантную фигуру Евгения Эдуардовича. Поначалу использовали его в массовых сценах. Затем стали поручать ему небольшие эпизодические роли. Он изображал меньшевиков, дворян, ученых старого закала. В общем, стал еще и киноактером...

Я провел на Елизаровской двое суток. Мои записи были полны интересных деталей. Мне не терпелось приступить к работе.

Приезжаю в редакцию. Узнаю, что Безуглов в командировке. А ведь он говорил мне, что командировочные фонды израсходованы.

Ладно... Захожу к ответственному секретарю газеты Боре Минцу. Рассказываю о своих планах. Сообщаю наиболее эффектные подробности.

Минц говорит:

— Как фамилия?

Я достал визитную карточку Евгения Эдуардовича.

— Холидей,— отвечаю,— Евгений Эдуардович Холидей.

Минц округлил глаза:

— Холидей? Русский умелец — Холидей? Потомок Левши — Холидей?! Ты шутишь!.. Что мы знаем о его происхождении? Откуда у него такая фамилия?

— Минц, по-твоему,— лучше?.. Не говоря о происхождении...

— Хуже,— согласился Минц,— бесспорно, хуже. Но Минц при этом — частное лицо. Про Минца не сочиняют очерков к Дню рационализатора. Минц не герой. О Минце не пишут...

(Я тогда подумал — не зарекайся!)

Он добавил: «Лично я не против англичан».

— Еще бы,— говорю...

Мне вдруг стало тошно. Что происходит? Все не для печати. Всё кругом не для печати. Не знаю, откуда советские журналисты черпают темы!.. Все мои затеи — неосуществимые. Все мои разговоры — не телефонные. Все знакомства — подозрительные...

Ответственный секретарь говорит:

— Напиши про мать-героиню. Найди обыкновенную, скромную мать-героиню. Причем с нормальной фамилией. И напиши строк двести пятьдесят. Такой материал всегда проскочит. Мать-героиня — это вроде беспроигрышной лотереи...

Что мне оставалось делать? Все-таки я штатный журналист.

Опять звоню друзьям. Приятель говорит:

— У нашей дворничихи — целая орава ребятишек. Хулиганье невероятное.

— Это неважно.

— Ну, тогда приезжай.

Еду по адресу.

Дворничиху звали Лидия Васильевна Брыкина. Это тебе не мистер Холидей! Жилище ее производило страшное впечатление. Шаткий стол, несколько продырявленных матрасов, удушающий тяжелый запах. Кругом возились оборванные, неопрятные ребятишки. Самый маленький орал в фанерной люльке. Девочка лет четырнадцати мрачно рисовала пальцем на оконном стекле.

Я объяснил цель моего прихода. Лидия Васильевна оживилась:

— Пиши, малый, записывай... Уж я постараюсь. Все расскажу народу про мою собачью жизнь.

Я спросил:

— Разве государство вам не помогает?

— Помогает. Еще как помогает. Сорок рублей нам положено в месяц. Ну и ордена с медалями. Вон на окне стоит полная банка. На мандарины бы их сменить, один к четырем.

— А муж? — спрашиваю.

— Который? У меня их целая рота. Последний за «Солнцедаром» ушел, так и не вернулся. С год тому назад...

Что мне оставалось делать? Что я мог написать об этой женщине?

Я посидел для виду и ушел. Обещал зайти в следующий раз.

Звонить было некому. Все опротивело. Я подумал — не уволиться ли мне в очередной раз? Не пойти ли грузчиком работать?

Тут жена говорит мне:

— В подъезде напротив живет интеллигентная дама. Утром гуляет с детьми. Их у нее человек десять... Ты узнай... Я забыла ее фамилию — на ша...

— Шварц?

— Да нет, Шаповалова... Или Шапошникова... Фамилию и телефон можно узнать в домоуправлении.

Я пошел в домоуправление. Поговорил с начальником Михеевым. Человек он был приветливый и добродушный. Пожаловался:

— Подчиненных у меня — двенадцать гавриков, а за вином отправить некого...

Когда я заговорил об этой самой даме, Михеев почему-то насторожился:

— Не знаю... Поговорите с ней лично. Зовут ее Шапорина Галина Викторовна. Квартира — двадцать три. Да вон она гуляет с малышами. Только я здесь ни при чем. Меня это не касается...

Я направился в сквер. Галина Викторовна оказалась благообразной, представительной женщиной. В советском кино такими изображают народных заседателей.

Я поздоровался и объяснил, в чем дело. Дама сразу насторожилась. Заговорила в точности, как наш управдом:

— В чем дело? Что такое? Почему вы обратились именно ко мне?

Мне стало все это надоедать. Я спрятал авторучку и говорю:

— Что происходит? Чего вы так испугались? Не хотите разговаривать — уйду. Я же не хулиган...

— Хулиганы мне как раз не страшны, — ответила дама.

Затем продолжала:

— Мне кажется, вы интеллигентный человек. Я знаю вашу матушку и знала вашего отца. Я полагаю, вам можно довериться. Я расскажу, в чем дело. Хулиганов я действительно не боюсь. Я боюсь милиции.

— Но меня-то, — говорю, — чего бояться? Я же не милиционер.

— Но вы журналист. А в моем положении реклами-

ровать себя более чем глупо. Разумеется, я не мать-героиня. И ребятишки эти — не мои. Я организовала что-то вроде пансиона. Учю детей музыке, французскому языку, читаю им стихи. В государственных яслях дети болеют, а у меня — никогда. И плату я беру самую умеренную. Но вы догадываетесь, что будет, если об этом узнает милиция? Пансион-то, в сущности, частный...

— Догадываюсь,— сказал я.

— Поэтому забудьте о моем существовании.

— Ладно,— говорю.

Я даже не стал звонить в редакцию. Скажу, думаю, если потребуется, что у меня творческий застой. Все равно уже гонорары за декабрь будут символические. Рублей шестнадцать. Тут не до костюма. Лишь бы не уволили...

Тем не менее костюм от редакции я получил. Строгий, двубортный костюм, если не ошибаюсь, восточно-германского производства. Дело было так.

Я сидел у наших машинисток. Рыжеволосая красавица Майюня Хлопина твердила:

— Да пригласи же ты меня в ресторан! Я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь!

Мне приходилось вяло оправдываться:

— Я ведь и не живу с тобой.

— А зря. Мы бы вместе слушали радио. Знаешь, какая моя любимая передача — «Щедрый гектар»! А твоя?

— А моя — «Есть ли жизнь на других планетах?».

— Не думаю,— вздыхала Хлопина,— и здесь-то жизнь собачья...

В эту минуту появился таинственный незнакомец. Еще днем я заметил этого человека.

Он был в элегантном костюме, при галстукке. Усы его переходили в низкие бакенбарды. На запястье висела миниатюрная кожаная сумочка.

Скажу, забегая вперед, что незнакомец был шпионом. Просто мы об этом не догадывались. Мы решили, что он из Прибалтики. Всех элегантных мужчин у нас почему-то считали латышами.

Незнакомец говорил по-русски с едва заметным акцентом.

Вел он себя непосредственно и даже чуточку агрессивно. Дважды хлопнул редактора по спине. Уговорил парторга сыграть в шахматы. В кабинете ответственного секретаря Минца долго листал технические пособия.

Тут мне хотелось бы отвлечься. Я убежден, что почти все шпионы действуют неправильно. Они зачем-то маскируются, хитрят, изображают простых советских граждан. Сама таинственность их действий — подозрительна. Им надо вести себя гораздо проще. Во-первых, одеваться как можно шикарнее. Это внушает уважение. Кроме того, не скрывать заграничного акцента. Это вызывает симпатию. А главное — действовать с максимальной бесцеремонностью.

Допустим, шпиона интересует новая баллистическая ракета. Он знакомится в театре с известным конструктором. Приглашает его в ресторан.

Глупо предлагать этому конструктору деньги. Денег у него хватает. Нелепо подвергать конструктора идеологической обработке. Он все это знает и без вас.

Нужно действовать совсем иначе. Нужно выпить. Обнять конструктора за плечи. Хлопнуть его по колену и сказать:

— Как поживаешь, старик? Говорят, изобрел что-то новенькое? Черкни-ка мне на салфетке две-три формулы. Просто ради интереса...

И все. Шпион может считать, что ракета у него в кармане...

Целый день незнакомец провел в редакции. К нему привыкли. Хоть и переглядывались с некоторым удивлением.

Звали его — Артур.

В общем, заходит Артур к машинисткам и говорит:

— Простите, я думал, это есть уборная.

Я сказал:

— Идем. Нам по дороге.

В сортире шпион испуганно оглядел наше редакционное полотенце. Достал носовой платок.

Мы разговорились. Решили спуститься в буфет. Оттуда позвонили моей жене и заехали в «Кавказский».

Выяснилось, что оба мы любим Фолкнера, Бриттена и живопись тридцатых годов. Артур был человеком мыслящим и компетентным. В частности, он сказал:

— Живопись Пикассо — это всего лишь драма, а творчество Рене Магритта — катастрофическая феерия...

Я поинтересовался:

— Ты бывал на Западе?

— Конечно.

— И долго там прожил?

— Долго. Сорок три года. Если быть точным, до прошлого вторника.

— Я думал, ты из Латвии.

— Я швед. Это рядом. Хочу написать книгу о России...

Расстались мы поздно ночью возле гостиницы «Европейская». Договорились встретиться завтра.

Наутро меня пригласили к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Он был тощий, лысый, с пегим венчиком над ушами. Я задумался, может ли он причесываться, не снимая шляпы.

Мужчина занимал редакторское кресло. Хозяин кабинета устроился на стуле для посетителей. Я присел на край дивана.

— Знакомьтесь,— сказал редактор,— представитель Комитета государственной безопасности майор Чилиев.

Я вежливо приподнялся. Майор, без улыбки, кивнул. Видимо, его угнетало несовершенство окружающего мира.

В поведении редактора я наблюдал — одновременно — сочувствие и злорадство. Вид его как будто говорил: «Ну что? Доигрался?! Теперь уж выкручивайся самостоятельно. А ведь я предупреждал тебя, дурака...»

Майор заговорил. Резкий голос не соответствовал его утомленному виду.

— Знаете ли вы Артура Торнстрема?

— Да,— отвечаю,— вчера познакомились.

— Задавал ли он какие-нибудь провокационные вопросы?

— Вроде бы нет. Он вообще не задавал мне вопросов. Я что-то не припомню.

— Ни одного?

— По-моему, ни единого.

— С чего началось ваше знакомство? Точнее, где и как вы познакомились?

— Я сидел у машинисток. Он вошел и спрашивает...

— Ах, спрашивает? Значит, все-таки спрашивает?! О чем же, если не секрет?

— Он спросил — где здесь уборная?

Майор записал эту фразу и добавил:

— Советую вам быть повнимательнее...

Дальнейший разговор показался мне абсолютно бессмысленным. Чилиева интересовало все. Что мы ели? Что пили? О каких художниках беседовали? Он даже поинтересовался, часто ли швед ходил в уборную...

Майор настаивал, чтоб я припомнил все детали. Не злоупотребляет ли швед алкоголем? Поглядывает ли на женщин? Похож ли на скрытого гомосексуалиста?

Я отвечал подробно и добросовестно. Мне было нечего скрывать.

Майор сделал паузу. Чуть приподнялся над столом. Затем слегка возвысил голос:

— Мы рассчитываем на вашу сознательность. Хотя вы человек довольно легкомысленный. Сведения, которые мы имеем о вас, более чем противоречивы. Конкретно — бытовая неразборчивость, пьянка, сомнительные анекдоты...

Мне захотелось спросить — что же тут противоречивого? Но я сдержался. Тем более что майор вытащил довольно объемистую папку. На обложке была крупно выведена моя фамилия.

Я не отрываясь глядел на эту папку. Я испытывал то, что почувствовала бы, допустим, свинья в мясном отделе гастронома.

Майор продолжал:

— Мы ждем от вас полной искренности. Рассчитываем на вашу помощь. Надеюсь, вы уяснили, какое это серьезное задание?.. А главное, помните — нам все известно. Нам все известно заранее. Абсолютно все...

Тут мне захотелось спросить — а как насчет Миши Барышникова? Неужели было известно заранее, что Миша останется в Штатах?!

Майор тем временем спросил:

— Как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня?

— Вроде бы, — говорю, — должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел.

— Ни в коем случае, — привстал майор, — идите. Непременно идите. И все до мелочей запоминайте. Мы вам завтра утром позвоним.

Этого, подумал я, мне только не хватало!

— Не могу, — говорю, — есть объективные причины.

— То есть?

— У меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда. Там, между прочим, бывают иностранцы.

— Почему же у вас нет костюма? — спросил майор. — Что за ерунда такая? Вы же работник солидной газеты.

— Зарабатываю мало,— ответил я.

Тут вмешался редактор:

— Я хочу раскрыть вам одну маленькую тайну. Как известно, приближаются новогодние торжества. Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию. Потом захватить во Фрунзенский универмаг. Выбрать там подходящий костюм рублей за сто двадцать.

— У меня,— говорю,— нестандартный размер.

— Ничего,— сказал редактор,— я позвоню директору универмага...

Так я стал обладателем импортного двубортного костюма. Если не ошибаюсь, восточногерманского производства. Надевал я его раз пять. Один раз, когда был в театре со шведом. И раза четыре, когда меня делегировали на похороны...

А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным журналистом. Выразителем интересов правого крыла.

Шесть лет он изучал русский язык. Хотел написать книгу. И его выслали.

Надеюсь, без моего участия. То, что я рассказывал о нем майору, выглядело совершенно безобидно.

Более того, я даже предупредил Артура, что за ним следят. Вернее, намекнул ему, что стены имеют уши...

Швед не понял. Короче, я тут ни при чем.

Самое удивительное, что знакомый диссидент Шамкович обвинил меня тогда в пособничестве КГБ.

Офицерский ремень

Самое ужасное для пьяницы — очнуться на больничной койке. Еще не окончательно проснувшись, ты бормочешь:

— Все! Завязываю! Навсегда завязываю! Больше — ни единой капли!

И вдруг обнаруживаешь на голове толстую марлевую повязку. Хочешь потрогать бинты, но оказывается, что левая рука твоя в гипсе и так далее.

Все это произошло со мной летом шестьдесят третьего года на юге республики Коми.

За год до этого меня призвали в армию. Я был зачислен в лагерную охрану. Окончил двадцатидневную школу надзирателей под Синдором...

Еще раньше я два года занимался боксом. Участвовал в республиканских соревнованиях. Однако я не помню, чтобы тренер хоть раз мне сказал:

— Ну, все. Я за тебя спокоен.

Зато я услышал это от инструктора Торопцева в школе надзорсостава. После трех недель занятий. И при том, что угрожали мне в дальнейшем не боксеры, а рецидивисты...

Я попытался оглядеться. На линолеуме желтели солнечные пятна. Тумбочка была заставлена лекарствами. У двери висела настенная газета — «Ленин и здравоохранение».

Пахло дымом и, как ни странно, водорослями. Я находился в санчасти.

Болела стянутая повязкой голова. Ощущалась глубокая рана над бровью. Левая рука не действовала.

На спинке кровати висела моя гимнастерка. Там должны были оставаться сигареты. Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то чернильным раствором. Спичечный коробок пришлось держать в зубах.

Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня.

Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я пошел к старшине:

— Что случилось? Неужели мне полагается выходной?

— Вроде того,— говорит старшина,— можешь радоваться... Зэк помешался в четырнадцатом бараке. Лает, кукарекает... Повариху тетю Шуру укусил... Короче, доставишь его в психбольницу на Иоссере. А потом целый день свободен. Типа выходного.

— Когда я должен идти?

— Хоть сейчас.

— Один?

— Ну почему — один? Вдвоем, как полагается. Чурилина возьми или Гаенко...

Чурилина я разыскал в инструментальном цехе. Он возился с паяльником. На верстаке что-то потрескивало, распространяя запах канифоли.

— Напайку делаю,— сказал Чурилин,— ювелирная работа. Погляди.

Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие.

Была у нас в ту пору мода — чекисты заводили себе

кожаные офицерские ремни. Потом заливали бляху сломом олова и шли на танцы. Если возникало побоище, латунные бляхи мелькали над головами...

Я говорю:

— Собирайся.

— Что такое?

— Психа везем на Иоссер. Какой-то зэк рехнулся в четырнадцатом бараке. Между прочим, тетю Шуру укусил.

Чурилин говорит:

— И правильно сделал. Видно, жрать хотел. Эта Шура казенное масло уносит домой. Я видел.

— Пошли, — говорю.

Чурилин остудил бляху под краном и затянул ремень:

— Поехали...

Мы получили оружие, заходим на вахту. Минуты через две контролер приводит небритого, толстого зэка. Тот упирается и кричит:

— Хочу красивую девушку, спортсменку! Дайте мне спортсменку! Сколько я должен отдать?!

Контролер без раздражения ответил:

— Минимум лет шесть. И то, если освободят досрочно. У тебя же групповое дело.

Зэк не обратил внимания и продолжал кричать:

— Дайте мне, гады, спортсменку-разрядницу!..

Чурилин присмотрелся к нему и толкнул меня локтем:

— Слушай, да какой он псих?! Нормальный человек. Сначала жрать хотел, а теперь ему бабу подавай. Да еще разрядницу... Мужик со вкусом... Я бы тоже не отказался...

Контролер передал мне документы. Мы вышли на крыльцо. Чурилин спрашивает:

— Как тебя зовут?

— Доремифасоль, — ответил зэк.

Тогда я сказал ему:

— Если вы действительно ненормальный — пожалуйста. Если притворяетесь — тоже ничего. Я не врач. Мое дело отвести вас на Иоссер. Остальное меня не волнует. Единственное условие — не переигрывать. Начнете кусаться — пристрелю. А лаять и кукарекать можете сколько угодно...

Идти нам предстояло километра четыре. Попутных лесовозов не было. Машину начальника лагеря взял капитан Соколовский. Уехал, говорят, сдавать какие-то экзамены в Инту.

Короче, мы должны были идти пешком. Дорога вела через поселок, к торфяным болотам. Оттуда — мимо роши, до самого переезда. А за переездом начинались лагерные вышки Иоссера.

В поселке около магазина Чурилин замедлил шаги. Я протянул ему два рубля. Патрульных в эти часы можно было не опасаться.

Зэк явно одобрил нашу идею. Даже поделился на радостях:

— Толик меня зовут...

Чурилин принес бутылку «Московской». Я сунул ее в карман галифе. Осталось потерпеть до роши.

Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньки и рычал.

Я посоветовал ему не тратить сил. Приберечь их для медицинского обследования. А мы уж его не выдадим.

Чурилин расстелил на траве газету. Достал из кармана немного печенья.

Выпили мы по очереди, из горлышка. Зэк сначала колебался:

— Врач может почувствовать запах. Это будет как-то неестественно...

Чурилин перебил его:

— А лаять и кукарекать — естественно?.. Закусишь щавелем, и все дела.

Зэк сказал:

— Убедили...

День был теплый и солнечный. По небу тянулись изменчивые легкие облака. У переезда нетерпеливо гудели лесовозы. Над головой Чурилина вибрировал шмель.

Водка начинала действовать, и я подумал: «Хорошо на свободе! Вот демобилизуюсь и буду часами гулять по улицам. Зайду в кафе на Марата. Покурю на скамейке возле здания Думы...»

Я знаю, что свобода философское понятие. Меня это не интересует. Ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь — вот что такое свобода!..

Мои собутыльники дружески беседовали. Зэк объяснял:

— Голова у меня не в порядке. Опять-таки, газы... Ежели по совести, таких бы надо всех освободить. Списать вчистую по болезни. Списывают же устаревшую технику.

Чурилин перебивал его:

— Голова не в порядке?! А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что же ты, интересно, похитил?

Зэк смущенно отмахивался:

— Да ничего особенного... Трактор...

— Цельный трактор?!

— Ну.

— И как же ты его похитил?

— Очень просто. С комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию.

— Как это?

— Зашел на комбинат. Сел в трактор. Сзади привязал железную бочку из-под тавота. Еду на вахту. Бочка грохочет. Появляется охранник: «Куда везешь бочку?» Отвечаю: «По личной надобности». — «Документы есть?» — «Нет». — «Отвязывай к едрене фене»... Я бочку отвязал и дальше поехал. В общем, психология сработала... А потом мы этот трактор на запчасти разобрали...

Чурилин восхищенно хлопнул зэка по спине:

— Артист ты, батя!

Зэк скромно подтвердил:

— В народе меня уважали.

Чурилин неожиданно поднялся:

— Да здравствуют трудовые резервы!

И достал из кармана вторую бутылку.

К этому времени нашу поляну осветило солнце. Мы перебрались в тень. Сели на поваленную ольху.

Чурилин скомандовал:

— Поехали!

Было жарко. Зэк до пояса расстегнулся. На груди его видна была пороховая татуировка:

«Фаина! Помнишь дни золотые?!»

А рядом — череп, финка и баночка с надписью «яд»...

Чурилин опьянел внезапно. Я даже не заметил, как это произошло. Он вдруг стал мрачным и затих.

Я знал, что в казарме полно неврастеников. К этому неминуемо приводит служба в охране. Но именно Чурилин казался мне сравнительно здоровым.

Я помнил за ним лишь одну сумасшедшую выходку. Мы тогда возили зэков на лесоповал. Сидели у печи в дощатой будке, грелись, разговаривали. Естественно, выпивали.

Чурилин без единого слова вышел наружу. Где-то

раздобыл ведро. Наполнил его соляжкой. Потом забрался на крышу и опрокинул горючее в трубу.

Помещение наполнилось огнем. Мы еле выбрались из будки. Трое обгорели.

Но это было давно. А сейчас я говорю ему:

— Успокойся...

Чурилин молча достал пистолет. Потом мы услышали:

— Встать! Бригада из двух человек поступает в распоряжение конвоя! В случае необходимости конвой применяет оружие. Заключенный Холоденко, вперед! Ефрейтор Довлатов — за ним!..

Я продолжал успокаивать его:

— Очнись. Приди в себя. А главное — спрячь пистолет.

Зэк удивился по-лагерному:

— Что за шухер на бану?

Чурилин тем временем опустил предохранитель. Я шел к нему, повторяя:

— Ты просто выпил лишнего.

Чурилин стал пятиться. Я все шел к нему, избегая резких движений. Повторял от страха что-то бессвязное. Даже, помню, улыбался.

А вот зэк не утратил присутствия духа. Он весело крикнул:

— Дела — хоть лезь под нары!..

Я видел поваленную ольху за спиной Чурилина. Пятиться ему оставалось недолго. Я пригнулся. Знал, что, падая, он может выстрелить. Так оно и случилось.

Грохот, треск валежника...

Пистолет упал на землю. Я пинком отшвырнул его в сторону.

Чурилин встал. Теперь я его не боялся. Я мог уложить его с любой позиции. Да и зэк был рядом.

Я видел, как Чурилин снимает ремень. Я не сообразил, что это значит. Думал, что он поправляет гимнастерку.

Теоретически я мог пристрелить его или хотя бы ранить. Мы ведь были на задании. Так сказать, в боевой обстановке. Меня бы оправдали.

Вместо этого я снова двинулся к нему. Интеллигентность мне вредила, еще когда я занимался боксом.

В результате Чурилин обрушил бляху мне на голову.

Главное, я все помню. Сознания не потерял. Самого удара не почувствовал. Увидел, что кровь потекла мне на

брюки. Так много крови, что я даже ладони подставил. Стою, а кровь течет.

Спасибо, что хоть зэк не растерялся. Вырвал у Чурилина ремень. Затем перевязал мне лоб оторванным рукавом сорочки.

Тут Чурилин, видимо, начал соображать. Он схватился за голову и, рыдая, пошел к дороге.

Пистолет его лежал в траве. Рядом с пустыми бутылками. Я сказал зэку:

— Подними...

А теперь представьте себе выразительную картинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Дальше — ненормальный зэк с пистолетом. И замыкает шествие ефрейтор с окровавленной повязкой на голове. А навстречу — военный патруль. ГАЗ-61 с тремя автоматчиками и здоровенным волкодавом.

Удивляюсь, как они не пристрелили моего зэка. Вполне могли дать по нему очередь. Или натравить пса.

Увидев машину, я потерял сознание. Отказали волевые центры. Да и жара наконец подействовала. Я только успел предупредить, что зэк не виноват. А кто виноват — пусть разбираются сами.

К тому же, падая, я сломал руку. Точнее, не сломал, а повредил. У меня обнаружилась трещина в предплечье. Я еще подумал — вот уж это совершенно лишнее.

Последнее, что я запомнил, была собака. Сидя возле меня, она нервно зевала, раскрывая лиловую пасть...

Над моей головой заработал репродуктор. Оттуда донеслось гудение, последовали легкие щелчки. Я вытащил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна.

Мне вдруг припомнилось забытое детское ощущение. Я школьник, у меня температура. Мне разрешают пропустить занятия.

Я жду врача. Он будет садиться на мою постель. Заглядывать мне в горло. Говорить: «Ну-с, молодой человек». Мама будет искать для него чистое полотенце.

Я болен, счастлив, все меня жалеют. Я не должен мыться холодной водой...

Я стал ждать появления врача. Вместо него появился Чурилин. Заглянул в окошко, сел на подоконник. Затем направился ко мне. Вид у него был просительный и скорбный.

Я попытался лягнуть его ногой в мошонку. Чурилин слегка отступил и начал, фальшиво заламывая руки:

— Серега, извини! Я был не прав... Раскаиваюсь... Искренне раскаиваюсь... Действовал в состоянии эффекта...

— Аффекта,— поправил я.

— Тем более...

Чурилин осторожно шагнул в мою сторону:

— Я пошутить хотел... Для смеха... У меня к тебе претензий нет...

— Еще бы,— говорю.

Что я мог ему сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон «Гигиена» употребляет только внутрь?..

Я спросил:

— Что с нашим ээком?

— Порядок. Он снова рехнулся. Все утро поет: «Широка страна моя родная». Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе.

— А ты?

— А я, естественно, на гауптвахте. То есть фактически я здесь, а в принципе — на гауптвахте. Там мой земляк дежурит... У меня к тебе дело.

Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил:

— Серега, погибаю, испекся! В четверг товарищеский суд!

— Над кем?

— Да надо мной. Ты, говорят, Серегу искалечил.

— Ладно, я скажу, что у меня претензий нет. Что я тебя прощаю.

— Я уже сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, не важно, чаша терпения переполнилась.

— Что же я могу сделать?

— Ты образованный, придумай что-нибудь. Как говорится, заверни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал. Это значит — три года дисбата. А дисбат — это хуже, чем лагерь. Так что выручай...

Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать:

— Я же единственный сын... Брат в тюрьме, сестры замужем...

Я говорю:

— Не знаю, что тут можно сделать. Есть один вариант...

Чурилин оживился:

— Какой?

— Я на суде задам вопрос. Спрошу: «Чурилин, у вас есть гражданская профессия?» Ты ответишь: «Нет». Я

скажу: «Что же ему после демобилизации — воровать? Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии?» И так далее. Тут, конечно, поднимется шум. Может, и возьмут тебя на поруки.

Чурилин еще больше оживился. Сел на мою кровать, повторяя:

— Ну, голова! Вот это голова! С такой головой в принципе можно и не работать.

— Особенно,— говорю,— если колотить по ней латунной бляхой.

— Дело прошлое,— сказал Чурилин,— все забыто... Напиши мне, что я должен говорить.

— Я же тебе все рассказал.

— А теперь — напиши. Иначе я сразу запутаюсь.

Чурилин протянул мне огрызок химического карандаша. Потом оторвал кусок стеной газеты:

— Пиши.

Я аккуратно вывел: «Нет».

— Что значит — «нет»? — спросил он.

— Ты сказал: «Напиши, что мне говорить». Вот я и пишу: «Нет». Я задам вопрос на суде: «Есть у тебя гражданская профессия?» Ты ответишь: «Нет». Дальше я скажу насчет шоферских курсов. А потом начнется шум.

— Значит, я говорю только одно слово — «нет»?

— Вроде бы да.

— Маловато,— сказал Чурилин.

— Не исключено, что тебе зададут и другие вопросы.

— Какие?

— Я уж не знаю.

— Что же я буду отвечать?

— В зависимости от того, что спросят.

— А что меня спросят? Примерно?

— Ну, допустим: «Признаешь ли ты свою вину, Чурилин?»

— И что же я отвечу?

— Ты ответишь: «Да».

— И все?

— Можешь ответить: «Да, конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь».

— Это уже лучше. Записывай. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ. Вопросы пиши нормально, ответы — квадратными буквами. Чтобы я не перепутал...

Мы просидели с Чурилиным до одиннадцати. Фельдшер хотел его выгнать, но Чурилин сказал:

— Могу я навестить товарища по оружию?!

В результате мы написали целую драму. Там были предусмотрены десятки вопросов и ответов. Мало того, по настоянию Чурилина я обозначил в скобках: «холодно», «задумчиво», «растерянно».

Затем мне принесли обед: тарелку супа, жареную рыбу и кисель.

Чурилин удивился:

— А кормят здесь получше, чем на гауптвахте.

Я говорю:

— А ты бы хотел — наоборот?

Пришлось отдать ему кисель и рыбу.

После этого мы расстались. Чурилин сказал:

— В двенадцать мой земляк уходит с гауптвахты. После него дежурит какой-то хохол. Я должен быть на месте.

Чурилин подошел к окну. Затем вернулся:

— Я забыл. Давай ремнями поменяемся. Иначе мне за эту бляху срок добавят.

Он взял мой солдатский ремень. А свой повесил на кровать.

— Тебе повезло,— говорит,— мой из натуральной кожи. И бляха с напайкой. Удар — и человек с копыт!

— Да уж знаю...

Чурилин снова подошел к окну. Еще раз обернулся.

— Спасибо тебе,— говорит,— век не забуду.

И выбрался через окно. Хотя вполне мог пройти через дверь.

Хорошо еще, что не унес мои сигареты...

Прошло три дня. Врач мне сказал, что я легко отделался. Что у меня всего лишь ссадина на голове.

Я бродил по территории военного городка. Часами сидел в библиотеке. Загорал на крыше дровяного склада. Дважды пытался зайти на гауптвахту. Один раз дежурил латыш первого года службы. Сразу же поднял автомат. Я хотел передать сигареты, но он замотал головой.

Вечером я снова зашел. На этот раз дежурил знакомый инструктор.

— Заходи,— говорит,— можешь даже там переночевать.

И он загремел ключами. Отворилась дверь.

Чурилин играл в бунт с тремя другими узниками. Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке. На полу валялись апельсиновые корки.

— Привет,— сказал Чурилин,— не мешай. Сейчас я их поставлю на четыре точки.

Я отдал ему «Беломор».

— А выпить? — спросил Чурилин.

Можно было позавидовать его нахальству.

Я постоял минуту и ушел.

Наутро повсюду были расклеены молнии: «Открытое комсомольское собрание дивизиона. Товарищеский суд. Персональное дело Чурилина Вадима Тихоновича. Явка обязательна».

Мимо проходил какой-то сверхсрочник.

— Давно, — говорит, — пора. Одичали... Что в казарме творится — это страшное дело... Вино из-под дверей течет...

В помещении клуба собралось человек шестьдесят. На сцене расположилось комсомольское бюро. Чурилина посадили сбоку, возле знамени. Ждали, когда появится майор Афанасьев.

Чурилин выглядел абсолютно счастливым. Может, впервые оказался на сцене. Он жестикулировал, махал рукой приятелям. Мне, кстати, тоже помахал.

На сцену поднялся майор Афанасьев:

— Товарищи!

Постепенно в зале наступила тишина.

— Товарищи воины! Сегодня мы обсуждаем персональное дело рядового Чурилина. Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Довлатовым был послан на ответственное задание. В пути рядовой Чурилин упился, как зюзя, и начал совершать безответственные действия. В результате было нанесено увечье ефрейтору Довлатову, кстати, такому же, извиняюсь, мудозвону... Хоть бы зэка постыдились...

Пока майор говорил все это, Чурилин сиял от удовольствия. Раза два он причесывался, вертелся на стуле, трогал знамя. Явно чувствовал себя героем.

Майор продолжал:

— Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвахте двадцать шесть суток. Я не говорю о пьянках — это для Чурилина, как снег зимой. Я говорю о более серьезных преступлениях, типа драки. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия — бей в рожу! Так все начнут кулаками размахивать! Думаете, мне не хочется кому-нибудь в рожу заехать?!. В общем, чаша терпения переполнилась. Мы должны решить — остается Чурилин с нами или пойдут его бумаги в трибунал. Дело серьез-

ное, товарищи! Начнем!.. Рассказывайте, Чурилин, как это все произошло.

Все посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее, разглядывал и что-то беззвучно шептал.

— Рассказывайте,— повторил майор Афанасьев.

Чурилин растерянно взглянул на меня. Чего-то, видно, мы не предусмотрели. Что-то упустили в сценарии.

Майор повысил голос:

— Не заставляйте себя ждать!

— Мне торопиться некуда,— сказал Чурилин.

Он помрачнел. Его лицо становилось все более злым и угрюмым. Но и в голосе майора крепло раздражение. Пришлось мне вытянуть руку:

— Давайте я расскажу.

— Отставить,— прикрикнул майор,— сами хороши!

— Ага,— сказал Чурилин,— вот... Желаю... это... поступить на курсы бульдозеристов.

Майор повернулся к нему:

— При чем тут курсы, мать вашу за ногу! Напился, понимаешь, друга искалечил, теперь о курсах мечтает!.. А в институт случайно не хотите поступить? Или в консерваторию?..

Чурилин еще раз заглянул в бумажку и мрачно произнес:

— Чем мы хуже регулярной армии?

Майор задохнулся от бешенства:

— Сколько это будет продолжаться?! Ему идут навстречу — он свое! Ему говорят «рассказывай» — не хочет!..

— Да нечего тут рассказывать,— вскочил Чурилин,— подумай, какая сага о Форсайтах!.. Рассказывай! Рассказывай! Чего же тут рассказывать?! Хули же ты мне, сука, плешь разъедаешь?! Могу ведь и тебя пощекотить!..

Майор схватился за кобуру. На скулах его выступили красные пятна. Он тяжело дышал. Затем овладел собой:

— Суду всё ясно. Собрание объявляю закрытым!

Чурилина взяли за руки двое сверхсрочников. Я, доставая сигареты, направился к выходу...

Чурилин получил год дисциплинарного батальона. За месяц перед его освобождением я демобилизовался. Сумасшедшего зэка тоже больше не видел. Весь этот мир куда-то пропал.

И только ремень все еще цел.

Куртка Фернана Леже

Эта глава — рассказ о принце и нищем.

В марте сорок первого года родился Андрюша Черкасов. В октябре этого же года родился я.

Андрюша был сыном выдающегося человека. Мой отец выделялся только своей худобой.

Николай Константинович Черкасов был замечательным артистом и депутатом Верховного Совета. Мой отец — рядовым театральным деятелем и сыном буржуазного националиста.

Талантом Черкасова восхищались Питер Брук, Феллини и Де Сика. Талант моего отца вызывал сомнение даже у его родителей.

Черкасова знала вся страна как артиста, депутата и борца за мир. Моего отца знали только соседи как человека пьющего и нервного.

У Черкасова была дача, машина, квартира и слава. У моего отца была только астма.

Их жены дружили. Даже, кажется, вместе заканчивали театральный институт.

Мать была рядовой актрисой, затем корректором и, наконец, — пенсионеркой. Нина Черкасова тоже была рядовой актрисой. После смерти мужа ее уволили из театра.

Разумеется, у Черкасовых были друзья из высшего социального круга: Шостакович, Мравинский, Эйзенштейн... Мои родители принадлежали к бытовому окружению Черкасовых.

Всю жизнь мы чувствовали заботу и покровительство этой семьи. Черкасов давал рекомендации моему отцу. Его жена дарила маме платья и туфли.

Мои родители часто ссорились. Потом они развелись. Причем развод был чуть ли не единственным миролюбивым актом их совместной жизни. Одним из немногих случаев, когда мои родители действовали единодушно.

Черкасов ошутимо помогал нам с матерью. Например, благодаря ему мы сохранили жилплощадь.

Андрюша был моим первым другом. Познакомились мы в эвакуации. Точнее, не познакомились, а лежали рядом в детских колясках. У Андрюши была заграничная коляска. У меня — отечественного производства.

Питались мы, я думаю, одинаково скверно. Шла война.

Потом война закончилась. Наши семьи оказались в Ленинграде. Черкасовы жили в правительственном доме на Кронверкской улице. Мы — в коммуналке на улице Рубинштейна.

Виделись мы с Андрюшей довольно часто. Вместе ходили на детские утренники. Праздновали все дни рождения.

Я ездил с матерью на Кронверкскую трамваем. Андрюшу привозил шофер на трофейной машине «бугатти».

Мы с Андрюшей были одного роста. Примерно одного возраста. Оба росли здоровыми и энергичными.

Андрюша, насколько я помню, был смелее, вспыльчивее, резче. Я был немного сильнее физически и, кажется, чуточку разумнее.

Каждое лето мы жили на даче. У Черкасовых на Карельском перешейке была дача, окруженная соснами. Из окон был виден Финский залив, над которым парили чайки.

К Андрюше была приставлена очередная домработница. Домработницы часто менялись. Как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять.

У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи. Все полки были заставлены духами и косметикой. Молоденьких домработниц это возбуждало. Заметив очередную пропажу, Нина Черкасова хмурила брови:

— Любаша пошаливает!

Назавтра Любашу сменяла Зинуля...

У меня была няня Луиза Генриховна. Как немке, ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас. То есть попросту с нами жила. И заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили.

Когда-то я жил на даче у Черкасовых с Луизой Генриховной. Затем произошло вот что. У Луизы Генриховны был тромбоз вен. И вот одна знакомая молочница порекомендовала ей смазывать больные ноги — калом. Вроде бы есть такое народное средство.

На беду окружающих, это средство подействовало. До самого ареста Луиза Генриховна распространяла невыносимый запах. Мы это, конечно, терпели, но Черкасовы оказались людьми более изысканными. Маме было сказано, что присутствие Луизы Генриховны нежелательно.

После этого мать сняла комнату. Причем на той же

улице, в одном из крестьянских домов. Там мы с няней проводили каждое лето. Вплоть до ее ареста.

Утром я шел к Андрюше. Мы бегали по участку, ели смородину; играли в настольный теннис, ловили жуков. В теплые дни ходили на пляж. Если шел дождь, лепили на веранде из пластилина.

Иногда приезжали Андрюшины родители. Мать — почти каждое воскресенье. Отец — раза четыре за лето, выпасться.

Сами Черкасовы относились ко мне хорошо. А вот домработницы — хуже. Ведь я был дополнительной нагрузкой. Причем без дополнительной оплаты.

Поэтому Андрюше разрешалось шалить, а мне — нет. Вернее, Андрюшины шалости казались естественными, а мои — не совсем. Мне говорили: «Ты умнее. Ты должен быть примером для Андрюши...» Таким образом, я превращался на лето в маленького гувернера.

Я ощущал неравенство. Хотя на Андрюшу чаще повышали голос. Его более сурово наказывали. А меня неизменно ставили ему в пример.

И все-таки я чувствовал обиду. Андрюша был главнее. Челядь побаивалась его как хозяина. А я был, что называется, из простых. И хотя домработница была еще проще, она меня явно недолюбливала.

Теоретически все должно быть иначе. Домработнице следовало бы любить меня. Любить как социально близкого. Симпатизировать мне как разночинцу. В действительности же слуги любят ненавистных хозяев гораздо больше, чем кажется. И уж конечно больше, чем себя.

Нина Черкасова была интеллигентной, умной, хорошо воспитанной женщиной. Разумеется, она не дала бы унижить шестилетнего сына ее подруги. Если Андрюша брал яблоко, мне полагалось такое же. Если Андрюша шел в кино, билеты покупали нам обоим.

Как я сейчас понимаю, Нина Черкасова обладала всеми достоинствами и недостатками богачей. Она была мужественной, решительной, целеустремленной. При этом холодной, заносчивой и аристократически наивной. Например, она считала деньги тяжким бременем. Она говорила маме:

— Какая ты счастливая, Нора! Твоему Сереже ириску протянешь, он доволен. А мой оболтус любит только шоколад...

Конечно, я тоже любил шоколад. Но делал вид, что предпочитаю ириски.

Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Хемингуэю, бедность — незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким. И так далее.

Любопытно, что Хемингуэй это понял, как только разбогател...

В семь лет я уверял маму, что ненавижу фрукты. К девяти годам отказывался примерить в магазине новые ботинки. В одиннадцать — полюбил читать. В шестнадцать — научился зарабатывать деньги.

С Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до шестнадцати. Он заканчивал английскую школу. Я — обыкновенную. Он любил математику. Я предпочитал менее точные науки. Оба мы, впрочем, были изрядными лентяями.

Виделись мы довольно часто. Английская школа была в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Бывало, Андрияша заходил к нам после занятий. И я, случалось, заезжал к нему посмотреть цветной телевизор. Андрей был инфантилен, рассеян, полон дружелюбия. Я уже тогда был злым и внимательным к человеческим слабостям.

В школьные годы у каждого из нас появились друзья. Причем у каждого — свои. Среди моих преобладали юноши криминального типа. Андрей тянулся к мальчикам из хороших семей.

Значит, что-то есть в марксистско-ленинском учении. Наверное, живут в человеке социальные инстинкты. Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям — беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. Тысячу раз я заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувствовал себя уверенно.

Приличные знакомые мне говорили:

— Не обижайся, ты распространяешь вокруг себя ужасное беспокойство. Рядом с тобой заражаешься всевозможными комплексами...

Я не обижался. Я лет с двенадцати ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам. Неудивительно, что семеро из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагерь.

Рыжий Борис Иванов сел за кражу листового железа. Штангист Кононенко зарезал сожительницу. Сын школьного дворника Миша Хамраев ограбил железнодоро-

рожный вагон-ресторан. Бывший авиамоделист Летяго изнасиловал глухонемого. Алик Брыкин, научивший меня курить, совершил тяжкое воинское преступление — избил офицера. Юра Голынчик по кличке Хряпа ранил милиционерскую лошадь. И даже староста класса Виля Ривкович умудрился получить год за торговлю медикаментами.

Мои друзья внушали Андрюше Черкасову тревогу и беспокойство. Каждому из них постоянно что-то угрожало. Все они признавали единственную форму самоутверждения — конфронтацию.

Мне же его приятели внушали ощущение неуверенности и тоски. Все они были честными, разумными и доброжелательными. Все предпочитали компромисс — единоборству.

Оба мы женились сравнительно рано. Я, естественно, на бедной девушке. Андрей — на Даше, внучке химика Ипатьева, приумножившей семейное благосостояние.

Помню, я читал насчет взаимной тяги антиподов. Помоему, есть в этой теории нечто сомнительное. Или как минимум спорное. Например, Даша с Андреем были похожи. Оба рослые, красивые, доброжелательные и практичные. Оба больше всего ценили спокойствие и порядок. Оба жили со вкусом и без проблем.

Да и мы с Леной были похожи. Оба — хронические неудачники. Оба — в разладе с действительностью. Даже на Западе умудряемся жить вопреки существующим правилам...

Как-то Андрюша и Дарья позвали нас в гости. Приезжаем на Кронверкскую. В подъезде сидит милиционер. Снимает телефонную трубку:

— Андрей Николаевич, к вам!

И затем, поменяв выражение лица на чуть более строгое:

— Пройдите...

Поднимаемся в лифте. Заходим.

В прихожей Даша шепнула:

— Извините, у нас медсестра.

Я сначала не понял. Я думал, кому-то из родителей плохо. Мне даже показалось, что нужно уходить.

Нам пояснили:

— Гена Лаврентьев привел медсестру. Это ужас. Девица в советской цыгейковой шубе. Четвертый раз спрашивает, будут ли танцы. Только что выпила целую бутылку холодного пива... Ради бога, не сердитесь...

— Ничего,— говорю,— мы привыклише...

Я тогда работал в заводской многотиражке. Моя жена была дамским парикмахером. Едва ли что-то могло нас шокировать.

А медсестру я потом разглядел. У нее были красивые руки, тонкие щиколотки, зеленые глаза и блестящий лоб. Она мне понравилась. Она много ела и даже за столом незаметно приплясывала.

Ее спутник, Лаврентьев, выглядел хуже. У него были пышные волосы и мелкие черты лица — сочетание гнусное. Кроме того, он мне надоел. Слишком долго рассказывал о поездке в Румынию. Кажется, я сказал ему, что Румыния мне ненавистна...

Шли годы. Виделись мы с Андреем довольно редко. С каждым годом все реже.

Мы не поссорились. Не испытывали взаимного разочарования. Мы просто разошлись.

К тому времени я уже что-то писал. Андрей заканчивал свою кандидатскую диссертацию.

Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня — сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики. Его знакомые изредка пили коньяк с шампанским. Мои — систематически употребляли розовый портвейн. Его приятели декламировали в компании Гумилева и Бродского. Мои читали исключительно собственные произведения.

Вскоре умер Николай Константинович Черкасов. Около Пушкинского театра состоялся митинг. Народу было так много, что приостановилось уличное движение.

Черкасов был народным артистом. И не только по званию. Его любили профессора и крестьяне, генералы и уголовники. Такая же слава была у Есенина, Зощенко и Высоцкого.

Год спустя Нину Черкасову уволили из театра. Затем отобрали призы ее мужа. Заставили отдать международные награды, полученные Черкасовым в Европе. Среди них были ценные вещи из золота. Начальство заставило вдову передать их театральному музею.

Вдова, конечно, не бедствовала. У нее была дача, машина, квартира. Кроме того, у нее были сбережения. Даша с Андреем работали.

Мама изредка навещала вдову. Часами говорила с ней по телефону. Та жаловалась на сына. Говорила, что он невнимательный и эгоистичный.

Мама вздыхала:

— Твой хоть не пьет...

Короче, наши матери превратились в одинаково грустных и трогательных старух. А мы — в одинаково черстных и невнимательных сыновей. Хотя Андрюша был преуспевающим физиком, я же — диссидентствующим лириком.

Наши матери стали похожи. Однако не совсем. Моя почти не выходила из дома. Нина Черкасова бывала на всех премьерах. Кроме того, она собиралась в Париж.

Она бывала за границей и раньше. И вот теперь ей захотелось навестить старых друзей.

Происходило что-то странное. Пока был жив Черкасов, в доме ежедневно сидели гости. Это были знаменитые, талантливые люди — Мравинский, Райкин, Шостакович. Все они казались друзьями семьи. После смерти Николая Константиновича выяснилось, что это были его личные друзья.

В общем, советские знаменитости куда-то пропали. Оставались заграничные — Сартр, Ив Монтан, вдова художника Леже. И Нина Черкасова решила снова побывать во Франции.

За неделю до ее отъезда мы случайно встретились. Я сидел в библиотеке Дома журналистов, редактировал мемуары одного покорителя тундры. Девять глав из четырнадцати в этих мемуарах начинались одинаково: «Если говорить без ложной скромности...» Кроме того, я обаял был сверить ленинские цитаты.

И вдруг заходит Нина Черкасова. Я и не знал, что мы пользуемся одной библиотекой.

Она постарела. Одета была, как всегда, с незаметной, продуманной роскошью.

Мы поздоровались. Она спросила:

— Говорят, ты стал писателем?

Я растерялся. Я не был готов к такой постановке вопроса. Уж лучше бы она спросила: «Ты гений?» Я бы ответил спокойно и положительно. Все мои друзья изнывали под бременем гениальности. Все они называли себя гениями. А вот назвать себя писателем оказалось труднее.

Я сказал:

— Пишу кое-что для забавы...

В читальном зале было двое посетителей. Оба поглядывали в нашу сторону. Не потому, что узнавали вдову Черкасова. Скорее потому, что ощущали запах французских духов.

Она сказала:

— Знаешь, мне давно хотелось написать о Коле. Что-то наподобие воспоминаний.

— Напишите.

— Боюсь, что у меня нет таланта. Хотя всем знакомым нравились мои письма.

— Вот и напишите длинное письмо.

— Самое трудное — начать. Действительно, с чего все это началось? Может быть, со дня нашего знакомства? Или гораздо раньше?

— А вы так и начните.

— Как?

— «Самое трудное — начать. Действительно, с чего все это началось...»

— Пойми, Коля был всей моей жизнью. Он был моим другом. Он был моим учителем... Как ты думаешь, это грех — любить мужа больше, чем сына?

— Не знаю. Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть только — да или нет.

— Ты явно поумнел, — сказала она.

Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров — Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер... Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву.

Тогда я сказал, что Пастернаку не хватало вкуса. А Цветаева, при всей ее гениальности, была клинической идиоткой...

Затем мы перешли на живопись. Я был уверен, что она восхищается импрессионистами. И не ошибся.

Тогда я сказал, что импрессионисты предпочитали минутное — вечному. Что лишь у Моне родовые тенденции преобладали над видовыми...

Черкасова грустно вздохнула:

— Мне казалось, что ты поумнел...

Мы проговорили более часа. Затем она попрощалась и вышла. Мне уже не хотелось редактировать воспоминания покорителя тундры. Я думал о нищете и богатстве. О жалкой и ранимой человеческой душе...

Когда-то я служил в охране. Среди заключенных попадались видные номенклатурные работники. Первые дни они сохраняли руководящие манеры. Потом органически растворялись в лагерной массе.

Когда-то я смотрел документальный фильм о Париже. События происходили в оккупированной Франции. По улицам шли толпы беженцев. Я убедился, что порабощен-

ные страны выглядят одинаково. Все разоренные народы — близнецы...

Вмиг облетает с человека шелуха покоя и богатства. Тотчас обнажается его израненная, сиротливая душа...

Прошло недели три. Раздался телефонный звонок. Черкасова вернулась из Парижа. Сказала, что заедет.

Мы купили халвы и печенья.

Она выглядела помолодевшей и немного таинственной. Французские знаменитости оказались гораздо благодороднее наших. Приняли ее хорошо.

Мама спросила:

— Как одеты в Париже?

Нина Черкасова ответила:

— Так, как считают нужным.

Затем она рассказывала про Сартра и его немыслимые выходки. Про репетиции в театре «Соле». Про семейные неурядицы Ива Монтана.

Она вручила нам подарки. Маме — изящную театральную сумочку. Лене — косметический набор. Мне досталась старая вельветовая куртка.

Откровенно говоря, я был немного растерян. Куртка явно требовала чистки и ремонта. Локти блестели. Пуговиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски.

Я даже подумал — лучше бы привезла авторучку. Но вслух произнес:

— Спасибо. Зря беспокоились.

Не мог же я крикнуть — «Где вам удалось приобрести такое старье?!»

А куртка действительно была старая. Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные.

Черкасова как-то странно поглядела на меня и говорит:

— Это куртка Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции.

Я с удивлением переспросил:

— Леже? Тот самый?

— Когда-то мы были с ним очень дружны. Потом я дружила с его вдовой. Рассказала ей о твоём существовании. Надя полезла в шкаф. Достала эту куртку и протянула мне. Она говорит, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда...

Я надел куртку. Она была мне впору. Ее можно было

носить поверх теплого свитера. Это было что-то вроде короткого осеннего пальто.

Нина Черкасова просидела у нас до одиннадцати. Затем она вызвала такси.

Я долго разглядывал пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало. Только два — на рукаве и у ворота.

Я стал вспоминать, что мне известно про Фернана Леже.

Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В пятнадцатом году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтные рисунки Леже проникнуты ужасом.

В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил.

Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью-йоркская шпана.

Ему казалось, что линия важнее цвета. Что искусство, от Шекспира до Эдит Пиаф, живет контрастами.

Его любимые слова:

«Ренуар изображал то, что видел. Я изображаю то, что понял...»

Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему, беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп.

Я носил куртку лет восемь. Надевал ее в особо торжественных случаях. Хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали.

О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал. Мне было приятно хранить эту жалкую тайну.

Шло время. Мы оказались в Америке. Нина Черкасова умерла, завещав маме полторы тысячи рублей. В Союзе это большие деньги.

Получить их в Нью-Йорке оказалось довольно трудно. Это потребовало бы невероятных хлопот и усилий.

Мы решили поступить иначе. Оформили доверенность на имя моего старшего брата. Но и это оказалось делом хлопотным и нелегким. Месяца два я возился с бумагами. Одну из них собственноручно подписал мистер Шульц.

В августе брат сообщил мне, что деньги получены. Выражений благодарности не последовало. Может быть, деньги того и не стоят.

Брат иногда звонит мне рано утром. То есть по ленин-

градскому времени — глубокой ночью. Голос у него в таких случаях бывает подозрительно хриплый. Кроме того, доносятся женские восклицания:

— Спроси насчет косметики!..

Или:

— Объясни ему, дураку, что лучше всего идут синтетические шубы под норку...

Вместо этого братец мой спрашивает:

— Ну как дела в Америке? Говорят, там водка продается круглосуточно?

— Сомневаюсь. Но бары, естественно, открыты:

— А пиво?

— Пива в ночных магазинах сколько угодно.

Следует уважительная пауза. И затем:

— Молодцы капиталисты, дело знают!..

Я спрашиваю:

— Как ты?

— На букву ха, — отвечает, — в смысле — хорошо...

Впрочем, мы отвлеклись. У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико-математических... Какая разница?

Поплиновая рубашка

Моя жена говорит:

— Это безумие — жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленился...

Моя жена всегда преувеличивает. Хотя я действительно стараюсь избегать ненужных забот. Ему что угодно. Стригусь, когда теряю человеческий облик. Зато — уж сразу под машинку. Чтобы потом еще три месяца не стричься.

Попросту говоря, я неохотно выхожу из дома. Хочу, чтобы меня оставили в покое...

В детстве у меня была няня, Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны. И засунула мои ноги в одну штанину. В результате я проходил таким образом целый день.

Мне было четыре года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно. Но я молчал. Я не хотел переодеваться. Да и сейчас не хочу.

Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот...

Когда-то я довольно много пил. И соответственно болтался где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный. Хотя, стоило мне протрезветь — и общительности как не бывало.

При этом я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество. Не умею гладить и стирать. А главное — мало зарабатываю.

Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то...

Моя жена всегда преувеличивает:

— Я знаю, почему ты все еще живешь со мной. Сказать?

— Ну, почему?

— Да просто тебе лень купить раскладушку!..

В ответ я мог бы сказать:

— А ты? Почему же ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты — умеющая штопать, стирать, выносить малознакомых людей, а главное — зарабатывать деньги!..

Познакомились мы двадцать лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье. Восемнадцатое февраля. День выборов.

По домам ходили агитаторы. Уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил. Я раза три вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений. Скорее — из ненависти к бессмысленным действиям.

И вот раздается звонок. На пороге — молодая женщина в осенней куртке. По виду — школьная учительница, то есть немного — старая дева. Правда, без очков, зато с коленкоровой тетрадью в руке.

Она заглянула в тетрадь и назвала мою фамилию. Я сказал:

— Заходите. Погрейтесь. Выпейте чаю...

Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела. Да и халат был в пятнах.

— Елена Борисовна, — представилась девушка, — ваш агитатор... Вы еще не голосовали...

Это был не вопрос, а сдержанный упрек. Я повторил:

— Хотите чаю?

Добавив из соображений приличия:

— Там мама...

Мать лежала с головной болью. Что не помешало ей довольно громко крикнуть:

— Попробуйте только съесть мою халву!

Я сказал:

— Проголосовать мы еще успеем.

И тут Елена Борисовна произнесла совершенно неожиданную речь:

— Я знаю, что эти выборы — сплошная профанация. Но что же я могу сделать? Я должна привести вас на избирательный участок. Иначе меня не отпустят домой.

— Ясно,— говорю,— только будьте поосторожнее. Вас за такие разговоры не похвалят.

— Вам можно доверять. Я это сразу поняла. Как только увидела портрет Солженицына.

— Это Достоевский. Но и Солженицына я уважаю...

Затем мы скромно позавтракали. Мать все-таки отрезала нам кусок халвы.

Разговор, естественно, зашел о литературе. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал:

— Тбля Гладилин?

Если речь заходила о Шукшине, я уточнял:

— Вася Шукшин?

Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул:

— Беллочка!..

Затем мы вышли на улицу. Дома были украшены флагами. На снегу валялись конфетные обертки. Дворник Гриша щеголял в ратиновом пальто.

Голосовать я не хотел. И не потому, что ленился. А потому, что мне нравилась Елена Борисовна. Стоит нам всем проголосовать, как ее отпустят домой...

Мы пошли в кино на «Иваново детство». Фильм был достаточно хорошим, чтобы я мог отнестись к нему снисходительно.

В ту пору я горячо хвалил одни лишь детективы. За то, что они дают мне возможность расслабиться.

А вот картины Тарковского я похваливал снисходительно. При этом намекая, что Тарковский лет шесть ждет от меня сценария.

Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какую-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеское приветствие Горышина. На пьяные объятия Вольфа. На беглый разговор с Ефимовым или Конецким. Ведь я был так называемым молодым писателем. И даже Гранин знал меня в лицо.

Когда-то в Ленинграде было много знаменитостей. Например, Чуковский, Олейников, Зощенко, Хармс и так

далее. После войны их стало гораздо меньше. Одних за что-то расстреляли, другие переехали в Москву...

Мы поднялись в ресторан. Заказали вино, бутерброды, пирожные. Я собирался заказать омлет, но передумал. Старший брат всегда говорил мне: «Ты не умеешь есть цветную пиццу».

Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана.

В зале было пусто. Только у дверей сидел орденоносец Решетов, читая книгу. По тому, как он увлекся, было видно, что это его собственный роман. Я мог бы поспорить, что роман называется — «Иду к вам, люди!».

Мы выпили. Я рассказал три случая из жизни Евтушенко, которые произошли буквально на моих глазах.

А знаменитости все не появлялись. Хотя посетителей становилось все больше. К окну направился, скрипит протезом, беллетрист Горянский. У стойки бара расположились поэты Чикин и Штейнберг. Чикин говорил:

— Лучше всего, Боря, тебе удаются философские отступления.

— А тебе, Дима, внутренние монологи,— реагировал Штейнберг...

К знаменитостям Чикин и Штейнберг не принадлежали. Горянский был известен тем, что задушил охранника в немецком концентрационном лагере.

Мимо прошел довольный известный критик Халупович. Он долго разглядывал меня, потом сказал:

— Извините, я принял вас за Леву Мелиндера...

Мы заказали двести граммов коньяка. Денег оставалось мало, а знаменитостей все не было.

Видно, Елена Борисовна так и не узнает, что я многообещающий литератор.

И тут в ресторан заглянул писатель Данчковский. С известными оговорками его можно было назвать знаменитостью.

Когда-то в Ленинград приехали двое братьев из Шклова. Звали братьев — Савелий и Леонид Данчиковские. Они начали пробовать себя в литературе. Сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем. Потом — каждый в отдельности.

Через год их пути разошлись еще более кардинально.

Младший брат решил укоротить свою фамилию. Теперь он подписывался — Данч. Но при этом оставался евреем.

Старший поступил иначе. Он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву — «и». Теперь

он подписывался — Данчковский. Зато из еврея стал обрусевшим поляком.

Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве.

— Оборотень,— кричал Леонид,— золоторотец, пьяный гой!

— Заткнись, жидовская морда! — отвечал Савелий.

Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма-ленинизма.

Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга. О нем заговорили критики.

Постепенно он стал «ленинианцем». То есть создателем бесконечной и неудержимой Ленинианы.

Сначала он написал книгу «Володино детство». Затем — небольшую повесть «Мальчик из Симбирска». После этого выпустил двухтомник «Юность огневая». И наконец, трилогию — «Вставай, проклятьем заклеяменный!».

Исчерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети». Затем — «Ленин и музыка», «Ленин и живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки.

Данчковский разбогател. Был награжден орденом «Знак Почета». К этому времени его брата посмертно реабилитировали.

Данчковский хорошо меня знал, поскольку больше года руководил нашим литературным объединением.

И вот он появился в ресторане.

Я, понизив голос, шепнул Елене Борисовне:

— Обратите внимание — Данчковский, собственной персоной... Бешеный успех... Идет на Ленинскую премию...

Данчковский направился в угол, подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги.

Я фамильярно приподнял бокал. Данчковский, не здороваясь, отчетливо выговорил:

— Читал я твою юмореску в «Авроре». По-моему, говно...

Мы просидели в ресторане часов до одиннадцати. Избирательный участок давно закрылся. Потом закрылся ресторан. Мать лежала с головной болью. А мы еще гуляли по набережной Фонтанки.

Елена Борисовна удивляла меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни. Как будто все происходящее мелькало на экране.

Она забыла про избирательный участок. Пренебрёгла своими обязанностями. Как выяснилось, она даже не проголосовала.

И все это ради чего? Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные юморески.

Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями. Но я вообще особый человек. Так неужели мы похожи?

За плечами у нас двадцать лет брака. Двадцать лет взаимной обособленности и равнодушия к жизни.

При этом у меня есть стимул, цель, иллюзия, надежда. А у нее? У нее есть только дочь и равнодушие.

Я не помню, чтобы Лена возражала или спорила. Вряд ли она хоть раз произнесла уверенное, звонкое — «да», или тяжеловесное, суровое — «нет».

Ее жизнь проходила как будто на экране телевизора. Менялись кадры, лица, голоса, добро и зло спешили в одной упряжке. А моя любимая, поглядывая в сторону экрана, занималась более важными делами...

Решив, что мать уснула, я пошел домой. Я даже не сказал Елене Борисовне: «Пойдемте ко мне». Я даже не взял ее за руку.

Просто мы оказались дома. Это было двадцать лет назад.

За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья. Они писали на эту тему стихи и романы. Переезжали из одной республики в другую. Меняли род занятий, убеждения, привычки. Становились диссидентами и алкоголиками. Покушались на чужую или собственную жизнь.

Кругом возникали и с грохотом рушились прекрасные, таинственные миры. Как туго натянутые струны, лопались человеческие отношения. Наши друзья заново рождались и умирали в поисках счастья.

А мы? Всем соблазнам и ужасам жизни мы противопоставили наш единственный дар — равнодушие. Спрашивается, что может быть долговечнее замка, выстроенного на песке?.. Что в семейной жизни прочнее и надежнее обожженной бесхарактерности?.. Что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, не способных к обороне?..

Я работал в многотиражной газете. Получал около ста рублей. Плюс какие-то малосущественные надбавки. Так, мне припоминаются ежемесячные четыре рубля «за освоение более совершенных методов хозяйствования».

Подобно большинству журналистов, я мечтал написать роман. И, не в пример большинству журналистов, действительно занимался литературой. Но мои рукописи были отклонены самыми прогрессивными журналами.

Сейчас я могу этому только радоваться. Благодаря цензуре мое ученичество затянулось на семнадцать лет. Рассказы, которые я хотел напечатать в те годы, представляются мне сейчас абсолютно беспомощными. Достаточно того, что один рассказ назывался «Судьба Фаины».

Лена не читала моих рассказов. Да я и не предлагал. А она не хотела проявлять инициативу.

Три вещи может сделать женщина для русского писателя. Она может кормить его. Она может искренне поверить в его гениальность. И наконец, женщина может оставить его в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого.

Лена не интересовалась моими рассказами. Не уверен даже, что она хорошо себе представляла, где я работаю. Знала только, что пишу.

Я знал о ней примерно столько же.

Сначала моя жена работала в парикмахерской. После истории с выборами ее уволили. Она стала корректором. Затем, совершенно неожиданно для меня, окончила полиграфический институт. Поступила, если не ошибаюсь, в какое-то спортивное издательство. Зарабатывала вдвое больше меня.

Трудно понять, что нас связывало. Разговаривали мы чаще всего по делу. Друзья были у каждого свои. И даже книги мы читали разные.

Моя жена всегда раскрывала ту книгу, что лежала ближе. И начинала читать с любого места.

Сначала меня это злило. Затем я убедился, что книги ей всегда попадают хорошие. Не то что мне. Уж если я раскрою случайную книгу, то это непременно будет «Поднятая целина»...

Что же нас связывало? И как вообще рождается человеческая близость? Все это не так просто.

У меня, например, есть двоюродные братья. Все трое — пьяницы и хулиганы. Одного я люблю, к другому равнодушен, а с третьим просто незнаком...

Так мы и жили — рядом, но каждый в отдельности. Подарками обменивались в редчайших случаях. Иногда я говорил: «Надо бы для смеха подарить тебе цветы».

Лена отвечала:

— У меня все есть...

Да и я не ждал подарков. Меня это устраивало.

А то я знал одну семью. Муж работал с утра до ночи. Жена смотрела телевизор и ходила по магазинам. Говоря при этом:

«Купила Марику на день рожденья тюлевые занавески — обалдеть!»

Так мы прожили четыре года. Потом родилась дочка — Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было двое, и вдруг появился еще один человек — капризный, шумный, требующий заботы.

Дочку мы почти не воспитывали, только любили. Тем более что она довольно много хворала, начиная с пяти-месячного возраста.

В общем, после рождения дочери стало ясно, что мы женаты. Катя заменила нам брачное свидетельство.

Помню, зашел я с коляской в редакцию журнала «Аврора». Мне причитался там небольшой гонорар. Чиновница раскрыла ведомость:

— Распишитесь.

И добавила:

— Шестнадцать рублей мы вычли за бездетность.

— Но у меня,— говорю,— есть дочка.

— Надо представить соответствующий документ.

— Пожалуйста.

Я вынул из коляски розовый пакет. Осторожно положил его на стол главного бухгалтера. Сохранил таким образом шестнадцать рублей...

Отношения мои с женой не изменились. Вернее, почти не изменились. Теперь нашему личному равнодушию противостояла общая забота. Например, мы вместе купали дочку...

Однажды Лена поехала на службу. Я задержался дома. Стал, как всегда, разыскивать необходимые бумаги. Если не ошибаюсь, копию издательского договора.

Я рылся в шкафах. Выдвигал один за другим ящики письменного стола. Даже в ночную тумбочку заглянул.

Там, под грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом. Это был маленький, почти карманный альбом для фотографий. Листов пятнадцать толстого картона с рельефным изображением голубя на обложке.

Я раскрыл его. Первые фотографии были желтоватые, с трещинами. Некоторые без уголков. На одной — круглолицая малышка гладила собаку. Точнее говоря, осторожно к ней прикасалась. Лохматая собака прижимала уши. На другой — шестилетняя девочка обнимала самодельную куклу. Вид у обеих был печальный и растерянный.

Потом я увидел семейную фотографию — мать, отец и дочка. Отец был в длинном плаще и соломенной шляпе. Из рукавов едва виднелись кончики пальцев. У жены его была теплая кофта с высокими плечами, локоны, газовый шарфик. Девочка резко повернулась в сторону. Так, что разлетелось ее короткое осеннее пальто. Что-то привлекло ее внимание за кадром. Может, какая-нибудь бродячая собака. Позади, за деревьями, виднелся фасад царкосельского Лицея.

Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками. Пожилой усатый железнодорожник в форме, дама около бюста Ленина, юноша на мотоцикле. Затем появился моряк или, вернее, курсант. Даже на фотографии было видно, как тщательно он побрит. Курсанту заглядывала в лицо девица с букетиком ландышей.

Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замерших физиономий. Ни одного веселого детского лица.

В центре — группа учителей. Двое из них с орденами, возможно — бывшие фронтовики. Среди других — классная руководительница. Ее легко узнать. Старуха обнимает за плечи двух натянуто улыбающихся школьников.

Слева, в третьем ряду — моя жена. Единственная не смотрит в аппарат.

Я узнавал ее на всех фотографиях. На маленьком снимке, запечатлевшем группу лыжников. На микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки. И даже на передержанной карточке, в толпе, среди едва различимых участников молодежного хора.

Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях. Смущенную барышню в дешевом купальнике под размашистой надписью «Евпатория». Студентку в платке возле колхозной библиотеки. И везде моя жена казалась самой печальной.

Я перевернул еще несколько страниц. Увидел молодого человека в шестигранной кепке, старушку, заслонившуюся рукой, неизвестную балерину.

Мне попалась фотография артиста Яковлева. Точнее, открытка с его изображением. Снизу каллиграфическим почерком было выведено: «Лена! Служение искусству требует всего человека, без остатка. Рафик Абдуллаев»...

Я раскрыл последнюю страницу. И вдруг у меня перехватило дыхание. Даже не знаю, чему я так удивился. Но почувствовал, как у меня багровеют щеки.

Я увидел квадратную фотографию, размером чуть больше почтовой марки. Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потерявшего квалификацию.

Это была моя фотография. Если не ошибаюсь — с прошлогоднего удостоверения. На белом уголке виднелись следы заводской печати.

Минуты три я просидел не двигаясь. В прихожей тикали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел.

Хотя, если разобраться, что произошло? Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально.

Но я почему-то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причины. Значит, все, что происходит, — серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?..

У меня не хватило сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты.

Я подумал: «Если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом?»

В общем, я собрался и поехал на работу...

Прошло лет шесть, началась эмиграция. Евреи заговорили об исторической родине.

Раньше полноценному человеку нужны были дублинка и кандидатская степень. Теперь к этому добавился израильский вызов.

О нем мечтал любой интеллигент. Даже если не собирался эмигрировать. Так, на всякий случай.

Сначала уезжали полноценные евреи. За ними устремились граждане сомнительного происхождения. Еще через год начали выпускать русских. Среди них по израильским документам выехал наш знакомый, отец Маврикий Рыкунов.

И вот моя жена решила эмигрировать. А я решил остаться.

Трудно сказать, почему я решил остаться. Видимо, еще не достиг какой-то роковой черты. Все еще хотел

исчерпать какие-то неопределенные шансы. А может, бессознательно стремился к репрессиям. Такое случается. Groш цена российскому интеллигенту, не побывавшему в тюрьме...

Меня поразила ее решимость. Ведь Лена казалась зависимой и покорной. И вдруг — такое серьезное, окончательное решение.

У нее появились заграничные бумаги с красными печатями. К ней приходили суровые, бородатые отказники. Оставляли инструкции на папиросной бумаге. Недоверчиво поглядывали в мою сторону.

А я до последней минуты не верил. Слишком уж все это было невероятно. Как путешествие на Марс.

Клянусь, до последней минуты не верил. Знал и не верил. Так чаще и бывает.

И эта проклятая минута наступила. Документы были оформлены, виза получена. Катя раздала подругам фантики и марки. Оставалось только купить билеты на самолет.

Мать плакала. Лена была поглощена заботами. Я ото двинулся на задний план.

Я и раньше не заслонял ее горизонтов. А теперь ей было и вовсе не до меня.

И вот Лена поехала за билетами. Вернулась с коробкой. Подошла ко мне и говорит:

— У меня оставались лишние деньги. Это тебе.

В коробке лежала импортная поплиновая рубаша. Если не ошибаюсь, румынского производства.

— Ну что ж, — говорю, — спасибо. Приличная рубаша, скромная и доброкачественная. Да здравствует товарищ Чаушеску!..

Только куда я в ней пойду? В самом деле — куда?!

Зимняя шапка

С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираясь в редакцию, я натянул уродливую лыжную шапочку, забытую кем-то из гостей. Сойдет, думаю, тем более что в зеркало я не глядел уже лет пятнадцать.

Приезжаю в редакцию. Как всегда, опаздываю минут на сорок. Соответственно принимаю дерзкий и решительный вид.

Обстановка в комнате литсотрудников — мрачная. Воробьев драматически курит. Сидоровский глядит в одну точку. Делюкин говорит по телефону шепотом. У Милы Дорошенко вообще заплаканные глаза.

— Салют,— говорю,— что приуныли, трубадуры режима?!

Молчат. И только Сидоровский хмуро откликается:

— Твой цинизм, Довлатов, переходит все границы.

Явно, думаю, что-то случилось. Может, нас всех лишили прогрессивки?..

— Что за траур,— спрашиваю,— где покойник?

— В Куйбышевском морге,— отвечает Сидоровский,— похороны завтра.

Еще не легче. Наконец, Делюкин кончил разговор и тем же шепотом объяснил:

— Раиса отравилась. Съела три коробки намбутала.

— Так,— говорю,— ясно. Довели человека!..

Раиса была нашей машинисткой — причем весьма квалифицированной. Работала она быстро, по слепому методу. Что не мешало ей замечать бесчисленное количество ошибок.

Правда, замечала их Раиса только на бумаге. В жизни Рая делала ошибки постоянно.

В результате она так и не получила диплома. К тому же в двадцать пять лет стала матерью-одиночкой. И наконец, занесло Раису в промышленную газету с давними антисемитскими традициями.

Будучи еврейкой, она так и не смогла к этому привыкнуть. Она дерзила редактору, выпивала, злоупотребляла косметикой. Короче, не ограничивалась своим еврейским происхождением. Шла в своих пороках дальше.

Раису бы, наверное, терпели, как и всех других семитов. Но для этого ей пришлось бы вести себя разумнее. То есть глубокомысленно, скромно и чуточку виновато. Она же без конца демонстрировала типично христианские слабости.

С октября Раису начали травить. Ведь чтобы ее уволить, нужны были формальные основания. Необходимо было объявить ей три или четыре выговора.

Редактор Богомолов начал действовать. Он провоцировал Раю на грубость. По утрам караулил ее с хронометром в руках. Мечтал уличить ее в неблагонадежности. Или хотя бы увидеть в редакции пьяной.

Все это совершалось при единодушном молчании окружающих. Хотя почти все наши мужчины то и дело

ухаживали за Раисой. Она была единственной свободной женщиной в редакции.

И вот Раиса отравилась. Целый день все ходили мрачные и торжественные. Разговаривали тихими, внушительными голосами. Воробьев из отдела науки сказал мне:

— Я в ужасе, старик! Пойми, я в ужасе! У нас были такие сложные, запутанные отношения. Как говорится, тысяча и одна ночь... Ты знаешь, я женат, а Рая человек с характером... Отсюда всяческие комплексы... Надеюсь, ты меня понимаешь?..

В буфете ко мне подсел Делюкин. Подбородок его был запачкан яичным желтком. Он сказал:

— Раиса-то, а?! Ты подумай! Молодая, здоровая девка!

— Да,— говорю,— ужасно.

— Ужасно... Ведь мы с Раисой были не просто друзьями. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? У нас были странные, мучительные отношения. Я — позитивист, романтик, где-то жизнелюб. А Рая была человеком со всяческими комплексами. В чем-то мы объяснялись на разных языках...

Даже Сидоровский, наш фельетонист, остановил меня:

— Пойми, я не религиозен, и все-таки самоубийство — это грех! Кто мы такие, чтобы распоряжаться собственной жизнью?! Раиса не должна была так поступать! Задумывалась ли она, какую тень бросает на редакцию?!

— Не уверен. И вообще, при чем тут редакция?

— У меня, как это ни смешно, есть профессиональная гордость!

— У меня тоже. Но у меня другая профессия.

— Хамить не обязательно. Я собирался поговорить о Рае.

— У вас были сложные, запутанные отношения?

— Как ты узнал?

— Догадался.

— Для меня ея поступок оскорбителен. Ты, конечно, скажешь, что я излишне эмоционален. Да, я эмоционален. Может быть, даже излишне эмоционален. Но у меня есть железные принципы. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать?!

— Не совсем.

— Я хочу сказать, что у меня есть принципы...

И вдруг мне стало тошно. Причем до такой степени, что у меня заболела голова. Я решил уволиться, точнее —

даже не возвращаться после обеда за своими бумагами. Просто взять и уйти без единого слова. Именно так — миновать проходную, сесть в автобус... А дальше? Что будет дальше, уже не имело значения. Лишь бы уйти из редакции с ее железными принципами, фальшивым энтузиазмом, неосуществимыми мечтами о творчестве...

Я позвонил моему старшему брату. Мы встретились около гастронома на Таврической. Купили все что полагается.

Боря говорит:

— Поехали в гостиницу «Советская», там живут мои друзья из Львова.

Друзья оказались тремя сравнительно молодыми женщинами. Звали женщин — Софа, Рита и Галина Павловна. Документальный фильм, который они снимали, назывался «Мощный аккорд». Речь в нем шла о комбинированном питании для свиней.

Гостиницу «Советскую» построили лет шесть назад. Сначала здесь жили одни иностранцы. Потом иностранцев неожиданно выселили. Дело в том, что из окон последних этажей можно было фотографировать цеха судостроительного завода «Адмиралтеец».

Злые языки переименовали гостиницу «Советскую» — в «Антисоветскую»...

Женщины из киногруппы мне понравились. Действовали они быстро и решительно. Принесли стулья, достали тарелки и рюмки, нарезали колбасу. То есть выказали полную готовность отдохнуть и развлекаться днем. А Софа даже открыла консервы маникюрными ножницами.

Брат сказал:

— Поехали!

Он выпил, покраснелся, снял пиджак. Я тоже хотел снять пиджак, но Рита меня остановила:

— Спуститесь за лимонадом.

Я пошел в буфет. Через три минуты вернулся. За это время женщины успели полюбить моего брата. Причем все три одновременно. К тому же их любовь носила оскорбительный для меня характер. Если я тянулся к шпротам, Софа восклицала:

— Почему вы не едите кильки? Шпроты предпочитает Боря!

Если я наливал себе водку, Рита проявляла беспокойство:

— Пейте «Московскую». Боря говорит, что «Столичная» лучше!

Даже сдержанная Галина Павловна вмешалась:

— Курите «Аврору». Боре нравятся импортные сигареты.

— Мне тоже,— говорю,— нравятся импортные сигареты.

— Типичный снобизм,— возмутилась Галина Павловна.

Стоило моему брату произнести любую глупость, как женщины начинали визгливо хохотать. Например, он сказал, закусывая кабачковой икрой:

— По-моему, эта икра уже была съедена.

И все захохотали.

А когда я стал рассказывать, что отравилась наша машинистка, все закричали:

— Перестаньте!..

Так прошло часа два. Я все думал, что женщины наконец поссорятся из-за моего брата. Этого не случилось. Наоборот, они становились все более дружными, как жены престарелого мусульманина.

Боря рассказывал сплетни про киноактеров. Напевал блätные песенки. Опьянев, расстегнул Галине Павловне кофту. Я же опустил настолько, что раскрыл вчерашнюю газету.

Потом Рита сказала:

— Я еду в аэропорт. Мне нужно встретить директора картины. Сергей, проводите меня.

Ничего себе, думаю. Боря ест шпроты. Боря курит «Джебел». Боря пьет «Столичную». А провожать эту старую галошу должен я?!

Брат сказал:

— Поезжай. Все равно ты читаешь газету.

— Ладно,— говорю,— поехали. Унижаться, так до конца.

Я натянул свою лыжную шапочку. Рита облачилась в дубленку. Мы спустились в лифте и подошли к остановке такси.

Начинало темнеть. Снег казался голубоватым. В сумерках растворялись неоновые огни.

Мы были на стоянке первыми. Рита всю дорогу молчала. Произнесла одну-единственную фразу:

— Вы одеваетесь, как босяк!

Я ответил:

— Ничего страшного. Представьте себе, что я монтер или водопроводчик. Аристократка торопится домой в сопровождении электромонтера. Все нормально.

Подошла машина. Я взялся за ручку. Откуда-то выскочили двое рослых парней. Один говорит:

— Мы спешим, борода!

И пытается отодвинуть меня в сторону. Второй протискивается на заднее сиденье.

Это было уже слишком. Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции. А тут еще — прямое уличное хамство. Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. Я мстил этим парням за все свои обиды. Тут всё соединилось — Рая, газетная поденщина, нелепая лыжная шапочка и даже любовные успехи моего брата.

Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарофутдинова. Размахнулся и — опрокинулся на спину.

Я не понимаю, что тогда случилось. То ли было скользко. Или центр тяжести у меня слишком высоко... Короче, я упал. Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное. Такое далекое от всех моих невзгод и разочарований. Такое чистое.

Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз. И все померкло...

Очнулся я под звуки милицейских свистков. Я сидел, опершись на мусорный бак. Справа от меня толпились люди. Левая сторона действительности была покрыта мраком.

Рита что-то объясняла старшине милиции. Ее можно было принять за жену ответственного работника. А меня — за его личного шофера. Поэтому милиционер так внимательно слушал.

Я уперся кулаками в снег. Буксуя, попытался выпрямиться. Меня качнуло. К счастью, подбежала Рита.

Мы снова ехали в лифте. Одежда моя была в грязи. Лыжная шапка отсутствовала. Ссадина на щеке кровоточила.

Рита обнимала меня за талию. Я попытался отодвинуться. Ведь теперь я ее компрометировал по-настоящему. Но Рита прижалась ко мне и шепотом выговорила:

— До чего ты красив, злодей!

Лифт, тихо звякнув, остановился на последнем этаже. Мы оказались в том же гостиничном номере. Брат целовался с Галиной Павловной. Софа тянула его за рубашку, повторяя:

— Дурачок, она тебе в матери годится...

Увидев меня, брат поднял страшный крик. Даже хотел бежать куда-то, но передумал и остался. Меня окружили женщины.

Происходило что-то странное. Когда я был нормальным человеком, мной пренебрегали. Теперь, когда я стал почти инвалидом, женщины окружили меня вниманием. Они буквально сражались за право лечить мой глаз.

Рита обтирала влажной тряпочкой мое лицо. Галина Павловна развязывала шнурки на ботинках. Софа зашла дальше всех — она расстегивала мне брюки.

Брат пытался что-то говорить, давать советы, но его одергивали. Если он вносил какое-то предложение, женщины реагировали бурно:

— Замолчи! Пей свою дурацкую водку! Ешь свои паршивые консервы! Обойдемся без тебя!

Дождавшись паузы, я все-таки рассказал о самоубийстве нашей машинистки. На этот раз меня выслушали с огромным интересом. А Галина Павловна чуть не расплакалась:

— Обратите внимание! У Сережи — единственный глаз! Но этим единственным глазом он видит значительно больше, чем иные люди — двумя...

После этого Рита сказала:

— Я не поеду в аэропорт. Мы едем в травматологический пункт. А директора картины встретит Боря.

— Я его не знаю,— сказал мой брат.

— Ничего. Дашь объявление по радио.

— Но я же пьяный.

— А он, думаешь, приедет трезвый?..

Мы с Ритой отправились в травматологический пункт на улицу Гоголя, девять. В приемной ожидали люди с разбитыми физиономиями. Некоторые стонали.

Рита, не дожидаясь очереди, прошла к врачу. Ее роскошная дубленка и здесь произвела необходимое впечатление. Я слышал, как она громко поинтересовалась:

— Если моему хахалю рожу набили, куда обратиться?

И тотчас же помахала мне рукой:

— Заходи!

Я просидел у врача минут двадцать. Врач сказал, что я легко отделался. Сотрясения мозга не было, зрачок остался цел. А синяк через неделю пройдет.

Затем врач спросил:

— Чем это вас саданули — кирпичиной?

— Ботинком,— говорю.

Врач уточнил:

— Наверное, скороходовским ботинком?

И добавил:

— Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!

Короче, все было не так уж страшно. Единственной потерей, таким образом, можно было считать лыжную шапочку.

Домой я приехал около часа ночи. Лена сухо выговорила:

— Поздравляю.

Я рассказал ей, что произошло. В ответ прозвучало:

— Вечно с тобой происходят фантастические истории...

Рано утром позвонил мой брат. Настроение у меня было гнусное. В редакцию ехать не хотелось. Денег не было. Будущее тонуло во мраке.

К тому же, в моем лице появилось нечто геральдическое. Левая его сторона потемнела. Синяк переливался всеми цветами радуги. О том, чтобы выйти на улицу, страшно было подумать.

Но брат сказал:

— У меня к тебе важное дело. Надо повернуть одну финансовую махинацию. Я покупаю в кредит цветной телевизор. Продаю его за наличные деньги одному типу. Теряю на этом рублей пятьдесят. А получаю более трехсот с рассрочкой на год. Уяснил?

— Не совсем.

— Все очень просто. Эти триста рублей я получаю как бы в долг. Расплачиваюсь с мелкими кредиторами. Выбросаюсь из финансового тупика. Обретаю второе дыхание. А долг за телевизор буду регулярно и спокойно погашать в течение года. Ясно? Рассуждая философски, один большой долг лучше, чем сотня мелких. Брать на год солиднее, чем выпрашивать до послезавтра. И наконец, красивее быть в долгу перед государством, чем одалживать у знакомых.

— Убедил,— говорю,— только при чем здесь я?

— Ты поедешь со мной.

— Еще чего не хватало!

— Ты мне нужен. У тебя более практический ум. Ты проследишь, чтобы я не растратил деньги.

— Но у меня разбита физиономия.

— Подумаешь! Кого это волнует?! Я привезу тебе солнечные очки.

— Сейчас февраль.

— Не важно. Ты мог прилететь из Абиссинии... Кста-

ти, люди не знают, почему у тебя разбита физиономия. А вдруг ты отстаивал женскую честь?

— Примерно так оно и было.

— Тем более...

Я собрался уходить. Жене сказал, что еду в поликлинику. Лена говорит:

— Вот тебе рубль, купи бутылку подсолнечного масла.

Мы встретились с братом на Конюшенной площади. Он был в потертой котиковой шапке. Достал из кармана солнечные очки. Я говорю:

— Очки не спасут. Дай лучше шапку.

— А шапка спасет?

— В шапке хоть уши не мерзнут.

— Это верно. Мы будем носить ее по очереди.

Мы подошли к троллейбусной остановке. Брат сказал:

— Берем такси. Если мы поедем троллейбусом, это будет искусственно. У нас, можно сказать, полные карманы денег. У тебя есть рубль?

— Есть. Но я должен купить бутылку подсолнечного масла.

— Я же тебе говорю, деньги будут. Хочешь, я куплю тебе ведро подсолнечного масла?

— Ведро — это слишком. Но рубль, если можно, верни.

— Считай, что этот паршивый рубль у тебя в кармане...

Брат остановил машину. Мы поехали в Гостиный двор. Зашли в отдел радиотоваров. Боря исчез за прилавком с каким-то Мишаней. Уходя, протянул мне шапку:

— Твоя очередь. Надень.

Я ждал его минут двадцать, разглядывая приемники и телевизоры. Шапку я держал в руке. Казалось, всех интересуется мой глаз. Если возникала миловидная женщина, я разворачивался правой стороной.

На секунду появился брат, возбужденный и радостный. Сказал мне:

— Все идет нормально. Я уже подписал кредитные документы. Только что явился покупатель. Сейчас ему выдадут телевизор. Жди...

Я стал ждать. Из отдела радиотоваров перебрался в детскую секцию. Узнал в продавце своего бывшего одноклассника Леву Гиршовича. Лева стал разглядывать мой глаз.

— Чем это тебя? — спрашивает.

Всех, подумал я, интересуется — чем? Хоть бы один поинтересовался — за что?

— Ботинком,— говорю.

— Ты что, валялся на панели?

— Почему бы и нет?..

Лева рассказал мне дикую историю. На фабрике детских игрушек обнаружили крупное государственное хищение. Стали пропадать заводные медведи, танки, шагающие экскаваторы. Причем в огромных количествах. Милиция год занималась этим делом, но безуспешно.

Совсем недавно преступление было раскрыто. Двое чернорабочих этой фабрики прорыли небольшой тоннель. Он вел с территории предприятия на улицу Котовского. Работяги брали игрушки, заводили, ставили на землю. А дальше — медведи, танки, экскаваторы — шли сами. Нескончаемым потоком уходили с фабрики...

Тут я увидел через стекло моего брата. Пошел к нему.

Боря явно изменился. В его манерах появилось что-то аристократическое. Какая-то пресыщенность и ленивое барство.

Вялым, капризным голосом он произнес:

— Куда же ты девался?

Я подумал — вот как меняют нас деньги. Даже если они в принципе чужие.

Мы вышли на улицу. Брат хлопнул себя по карману:

— Идем обедать!

— Ты же сказал, что надо раздать долги.

— Да, я сказал, что надо раздать долги. Но я же не сказал, что мы должны голодать. У нас есть триста двадцать рублей шестьдесят четыре копейки. Если мы не пообедаем, это будет искусственно. А пить не обязательно. Пить мы не будем.

Затем он прибавил:

— Ты согрелся? Дай сюда мою шапку.

По дороге брат начал мечтать:

— Мы закажем что-нибудь хрустящее. Ты заметил, как я люблю все хрустящее?

— Да,— говорю,— например, «Столичную» водку.

Боря одернул меня:

— Не будь циником. Водка — это святое.

С печальной укоризной он добавил:

— К таким вещам надо относиться более или менее серьезно...

Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе, но брат сказал:

— Шашлычная — это единственное место, где разбитая физиономия является нормой..

Посетителей в шашлычной было немного. На вешалке темнели зимние пальто. По залу сновали милостивые девушки в кружевных фартуках. Музыкальный автомат наигрывал «Голубку».

У входа над стойкой мерцали ряды бутылок. Дальше, на маленьком возвышении, были расставлены столы.

Брат мой тотчас же заинтересовался спиртными напитками.

Я хотел остановить его:

— Вспомни, что ты говорил.

— А что я говорил? Я говорил — не пить. В смысле — не запивать. Не обязательно пить стаканами. Мы же интеллигентные люди. Выпьем по рюмке для настроения. Если мы совсем не выпьем, это будет искусственно.

И брат заказал поллитра армянского коньяка.

Я говорю:

— Дай мне рубль. Я куплю бутылку подсолнечного масла.

Он рассердился:

— Какой ты мелочный! У меня нет рубля, одни десятички. Вот разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла...

Раздеваясь, брат протянул мне шапку:

— Твоя очередь, держи.

Мы сели в угол. Я развернулся к залу правой стороной.

Дальше все происходило стремительно. Из шашлычной мы поехали в «Асторию». Оттуда — к знакомым из балета на льду. От знакомых — в бар Союза журналистов.

И всюду брат мой повторял:

— Если мы сейчас остановимся, это будет искусственно. Мы пили, когда не было денег. Глупо не пить теперь, когда они есть...

Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице, я ему эту шапку с благодарностью возвращал.

Потом он зашел в театральный магазин на Рылеева. Купил довольно уродливую маску Буратино. В этой маске я просидел целый час за стойкой бара «Юность». К этому времени глаз мой стал фиолетовым.

К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подраться. Точнее, разыскать моих вчерашних обид-

чиков. Боре казалось, что он может узнать их в толпе.

— Ты же,— говорю,— их не видел.

— А для чего, по-твоему, существует интуиция?..

Он стал приставать к незнакомым людям. К счастью, все его боялись. Пока он не задел какого-то богатыря возле магазина «Галантерея».

Тот не испугался. Говорит:

— Первый раз вижу еврея-алкоголика!

Братец мой невероятно оживился. Как будто всю жизнь мечтал, чтобы оскорбили его национальное достоинство. При том, что он как раз евреем не был. Это я был до некоторой степени евреем. Так уж получилось. Запутанная семейная история. Леня рассказывать..

Кстати, Борина жена, в девичестве — Файнциммер, любила повторять: «Боря выпил столько моей крови, что теперя и он наполовину еврей!»

Раньше я не замечал в Боре кавказского патриотизма. Теперь он даже заговорил с грузинским акцентом:

— Я — еврей? Значит, я, по-твоему,— еврей?! Обижаешь, дорогой!..

Короче, они направились в подворотню. Я сказал:

— Перестань. Оставь человека в покое. Пошли отсюда.

Но брат уже сворачивал за угол, крикнув:

— Не уходи. Если появится милиция, свистни...

Я не знаю, что творилось в подворотне. Я только видел, как шарахались проходившие мимо люди.

Брат появился через несколько секунд. Нижняя губа его была разбита. В руке он держал совершенно новую котиковую шапку. Мы быстро зашагали к Владимирской площади.

Боря отдышался и говорит:

— Я ему дал по физиономии. И он мне дал по физиономии. У него свалилась шапка. И у меня свалилась шапка. Я смотрю — его шапка новее. Нагибаюсь, беру его шапку. А он, естественно,— мою. Я его изматерил. И он меня. На том и разошлись. А эту шапку я дарю тебе. Бери.

Я сказал:

— Купи уж лучше бутылку подсолнечного масла.

— Разумеется,— ответил брат,— только сначала выпьем. Мне это необходимо в порядке дезинфекции.

И он для убедительности выпятил разбитую губу...

Дома я оказался глубокой ночью. Лена даже не спросила, где я был. Она спросила:

— Где подсолнечное масло?
Я произнес что-то невнятное.
В ответ прозвучало:
— Вечно друзья пьют за твой счет!
— Зато,— говорю,— у меня есть новая котиковая шапка.
Что я мог еще сказать?
Из ванной я слышал, как она повторяет:
— Боже мой, чем это все кончится? Чем это кончится?..

Шоферские перчатки

С Юрой Шлиппенбахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редакторов многотиражных газет. Я представлял газету «Турбостроитель». Шлиппенбах — ленфильмовскую многотиражку под названием «Кадр».

Докладывал второй секретарь обкома партии Болотников. В конце он сказал:

— У нас есть образцовые газеты, например «Знамя прогресса». Есть посредственные, типа «Адмиралтейца». Есть плохие, вроде «Турбостроителя». И наконец, есть уникальная газета «Кадр». Это нечто фантастическое по бездарности и скуке.

Я слегка пригнулся. Шлиппенбах, наоборот, горделиво выпрямился. Видимо, почувствовал себя гонимым диссидентом. Затем довольно громко крикнул:

— Ленин говорил, что критика должна быть обоснованной!

— Твоя газета, Юра, ниже всякой критики,— ответил секретарь...

В перерыве Шлиппенбах остановил меня и спрашивает:

— Извините, какой у вас рост?..

Я не удивился. Я к этому привык. Я знал, что далее последует такой абсурдный разговор:

«— Какой у тебя рост? — Сто девяносто четыре.— Жаль, что ты в баскетбол не играешь.— Почему не играю? Играю.— Я так и подумал...»

— Какой у вас рост? — спросил Шлиппенбах.

— Метр девяносто четыре. А что?

— Дело в том, что я снимаю любительскую кинокартину. Хочу предложить вам главную роль.

- У меня нет актерских способностей.
- Это неважно. Зато фактура подходящая.
- Что значит — фактура?
- Внешний облик.

Мы договорились встретиться на следующее утро.

Шлиппенбаха я и раньше знал по газетному сектору. Просто мы не были лично знакомы. Это был нервный худой человек с грязноватыми длинными волосами. Он говорил, что его шведские предки упоминаются в исторических документах. Кроме того, Шлиппенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. «Полтава» была заложена конфетной оберткой.

— Читайте,— нервно говорил Шлиппенбах.

И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал:

Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, катятся во прах.
Уходит Робен сквозь теснины,
Сдается пылкий Шлиппенбах...

В газетном секторе его побаивались. Шлиппенбах вел себя чрезвычайно дерзко. Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлиппенбах не любил.

Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто-то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлиппенбаху. Тот воскликнул:

— Я и за живого Матюшина рубля не дал бы. А за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей...

При этом Шлиппенбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно. Список кредиторов растянулся в его журналистском блокноте на два листа. Когда ему напоминали о долге, Шлиппенбах угрожающе восклицал:

— Будешь надоедать — вычеркну тебя из списка!..

Вечером после совещания он раза два звонил мне. Так, без конкретного повода. Вялый тон его говорил о нашей крепнущей близости. Ведь другу можно позвонить и без особой нужды.

— Тоска,— жаловался Шлиппенбах,— и выпить нечего. Лежу тут на диване в одиночестве, с женой...

Кончая разговор, он мне напомнил:

— Завтра все обсудим.

Утро мы провели в газетном секторе. Я вычитывал

сверку, Шлиппенбах готовил очередной номер. То и дело он нервно выкрикивал:

— Куда девались ножницы?! Кто взял мою линейку?! Как пишется «Южно-Африканская Республика» — вместе или через дефис?!

Затем мы пошли обедать.

В шестидесятые годы буфет Дома прессы относился к распределителям начального звена. В нем продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки, дефицитная рыба. Теоретически буфет обслуживал сотрудников Дома прессы. В том числе — журналистов из многотиражек. Практически же там могли оказаться и люди с улицы. Например, внештатные авторы. То есть постепенно распределитель становился все менее закрытым. А значит, дефицитных продуктов там оставалось все меньше. Наконец, из бывшего великолепия уцелело лишь жигулевское пиво.

Буфет занимал всю северную часть шестого этажа. Окна выходили на Фонтанку. В трех залах могло одновременно разместиться больше ста человек.

Шлиппенбах затащил меня в нишу. Столик был расчитан на двоих. Разговор нам, видно, предстоял сугубо конфиденциальный.

Мы заказали пиво и бутерброды. Шлиппенбах, слегка понизив голос, начал:

— Я обратился к вам, потому что ценю интеллигентных людей. Я сам интеллигентный человек. Нас мало. Откровенно говоря, нас должно быть еще меньше. Аристократы вымирают, как доисторические животные. Однако ближе к делу. Я решил снять любительский фильм. Хватит отдавать свои лучшие годы пошлой журналистике. Хочется настоящей творческой работы. В общем, завтра я приступаю к съемкам. Фильм будет минут на десять. Задуман он как сатирический памфлет. Сюжет таков. В Ленинграде появляется таинственный незнакомец. В нем легко узнать царя Петра. Того самого, который двести шестьдесят лет назад основал Петербург. Теперь великого государя окружает пошлая советская действительность. Милиционер грозит ему штрафом. Двое алкашей предлагают скинуться на троих. Фарцовщики хотят купить у царя ботинки. Чувихи принимают его за богатого иностранца. Сотрудники КГБ — за шпиона. И так далее. Короче, всюду пьянство и бардак. Царь в ужасе кричит — что я наделал?! Зачем основал этот блядский город?!

Шлиппенбах захохотал так, что разлетелись бумажные салфетки. Потом добавил:

— Фильм будет, мягко говоря, аполитичный. Демонстрировать его придется на частных квартирах. Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс. Последствия могут быть самыми неожиданными. Так что подумайте и взвесьте. Вы согласны?

— Вы же сказали — подумать.

— Сколько можно думать? Соглашайтесь.

— А где вы достанете оборудование?

— Об этом можете не беспокоиться. Я же работаю на «Ленфильме». У меня там все — друзья, начиная с Герберта Раппопорта и кончая последним осветителем. Техника в моем распоряжении. Камерой я владею с детских лет. Короче, думайте и решайте. Вы мне подходите. Ведь я могу доверить эту роль только своему единомышленнику. Завтра мы поедем на студию. Подберем соответствующий реквизит. Посоветуемся с примером. И начнем.

Я сказал:

— Надо подумать.

— Я вам позвоню.

Мы расплатились и пошли в газетный сектор.

Актерских способностей у меня действительно не было. Хотя мои родители принадлежали к театральной среде. Отец был режиссером, мать — актрисой. Правда, глубокого следа в истории театра мои родители не оставили. Может быть, это даже хорошо...

Что касается меня, то я выступал на сцене дважды. Первый раз — еще в школе. Помню, мы инсценировали рассказ «Чук и Гек». Мне, как самому высокому, досталась роль отца-полярника. Я должен был выехать из Анды на лыжах, а затем произнести финальный монолог.

Тундру изображал за кулисами двоичник Прокопович. Он бешено каркал, выл и ревел по-медвежьи.

Я появился на сцене, шаркая ботинками и взмахивая руками. Так я изображал лыжника. Это была моя режиссерская находка. Дань театральной условности.

К сожалению, зрители не оценили моего формализма. Слушая вой Прокоповича и наблюдая мои таинственные движения, они решили, что я — хулиган. Хулиганья среди послевоенных школьников было достаточно.

Девочки стали возмущаться, мальчишки захолопали. Директор школы выбежал на сцену и утащил меня за кулисы. В результате финальный монолог произнесла учительница литературы.

Второй раз мне довелось быть актером года четыре назад. Я служил тогда в республиканской партийной газете и был назначен Дедом Морозом. Мне обещали за это три дня выходных и пятнадцать рублей.

Редакция устраивала новогоднюю елку для подшефного интерната. И опять я был самым высоким. Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и корзину с подарками. А затем выпустили на сцену.

Тулуп был узок. От шапки пахло рыбой. Бороду я чуть не сжег, пытаюсь закурить.

Я дождался тишины и сказал:

— Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаете?

— Ленин! Ленин! — крикнули из первых рядов.

Тут я засмеялся, и у меня отклеилась борода...

И вот теперь Шлиппенбах предложил мне главную роль.

Конечно, я мог бы отказаться. Но почему-то согласился. Вечно я откликаюсь на самые дикие предложения. Недаром моя жена говорит:

— Тебя интересует все, кроме супружеских обязанностей.

Моя жена уверена, что супружеские обязанности это прежде всего трезвость.

Короче, мы поехали на «Ленфильм». Шлиппенбах позвонил в бутафорский цех какому-то Чипе. Нам выписали пропуск.

Помещение, в котором мы оказались, было заставлено шкафами и ящиками. Я почувствовал запах сырости и нафталина. Над головой мигали и потрескивали лампы дневного света. В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла кошка.

Из-за ширмы появился Чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался:

— Ты в охране служил?

— А что?

— Помнишь штрафной изолятор на Ропче?

— Ну.

— А помнишь, как зэк на ремне удавился?

— Что-то припоминаю.

— Так это я был. Два часа откачивали, суки...

Чипа угостил нас разведенным спиртом. И вообще, проявил услужливость. Он сказал:

— Держи, гражданин начальник!

И выложил на стол целую кучу барахла. Там были высокие черные сапоги, камзол, накидка, шляпа. Затем Чипа достал откуда-то перчатки с раструбами. Такие, как у первых российских автолюбителей.

— А брюки? — напомнил Шлиппенбах.

Чипа вынул из ящика бархатные штаны с позументом.

Я в муках натянул их. Застегнуться мне не удалось.

— Сойдет, — заверил Чипа, — перетяните шпагатом.

Когда мы прощались, он вдруг говорит:

— Пока сидел, на волю рвался. А сейчас — поддам и в лагерь тянет. Какие были люди — Сивый, Мотыль, Паровоз!..

Мы положили барахло в чемодан и спустились на лифте к гримеру. Вернее, к гримерше по имени Людмила Борисовна.

Между прочим, я был на «Ленфильме» впервые. Я думал, что увижу массу интересного — творческую суматоху, знаменитых актеров. Допустим, Чурсина примеряет импортный купальник, а рядом стоит охваченная завистью Тенякова.

В действительности «Ленфильм» напоминал гигантскую канцелярию. По коридорам циркулировали малопривлекательные женщины с бумагами. Отовсюду доносился стук пишущих машинок. Колоритных личностей мы так и не встретили. Я думаю, наиболее колоритным был Чипа с его тельняшкой и цилиндром.

Гримерша Людмила Борисовна усадила меня перед зеркалом. Некоторое время постояла у меня за спиной.

— Ну как? — поинтересовался Шлиппенбах.

— В смысле головы — не очень. Тройка с плюсом. А вот фактура — потрясающая.

При этом Людмила Борисовна трогала мою губу, оттягивала нос, касалась уха.

Затем она надела мне черный парик. Подклеила усы. Легким движением карандаша округлила щеки.

— Невероятно! — восхищался Шлиппенбах. — Типичный царь! Арап Петра Великого...

Потом я нарядился, и мы заказали такси. По студии я шел в костюме государя императора. Встречные оглядывались, но редко.

Шлиппенбах заглянул еще к одному приятелю. Тот

выдал нам два черных ящика с аппаратурой. На этот раз — за деньги.

— Сколько? — поинтересовался Шлиппенбах.

— Четыре двенадцать, — был ответ.

— А мне говорили, что ты перешел на сухое вино.

— Ты и поверил?..

В такси Шлиппенбах объяснил мне:

— Сценарий можно не читать. Все будет построено на импровизации, как у Антониони. Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продуктовый магазин. Кричит: где стерлядь, мед, анисовая водка? Кто разорил державу, басурмане?! И так далее. Сейчас мы едем на Васильевский остров. Простите, мы на «вы»?

— На «ты», естественно.

— Едем на Васильевский остров. Там ждет нас Букина с машиной.

— Кто это — Букина?

— Экспедитор с «Ленфильма». У нее казенный микроавтобус. Сказала, будет после работы. Интеллигентнейшая женщина. Вместе сценарий писали. На квартире у приятеля... Короче, едем на Васильевский. Снимаем первые кадры. Царь движется от Стрелки к Невскому проспекту. Он в недоумении. То и дело замедляет шаги, оглядывается по сторонам. Ты понял?.. Бойся автомобилей. Рассматривай вывески. В страхе обходи телефонные будки. Если тебя случайно заденут — хватывай шпагу. Подходи ко всему этому делу творчески.

Шпага лежала у меня на коленях. Клинок был отпилен. Обнажать его я мог сантиметра на три.

Шлиппенбах возбужденно жестикулировал. Зато водитель оставался совершенно невозмутимым. И только в конце он дружелюбно поинтересовался:

— Мужик, ты из какого зоопарка убежал?

— Потрясающе! — закричал Шлиппенбах. — Готовый кадр!..

Мы вылезли с ящиками из такси. У противоположного тротуара стоял микроавтобус. Рядом прогуливалась барышня в джинсах. Мой вид ее не заинтересовал.

— Галина, ты прелесть, — сказал Шлиппенбах. — Через десять минут начинаем.

— Горе ты мое, — откликнулась барышня.

Затем они минут двадцать возились с аппаратурой. Я прогуливался вдоль здания бывшей кунсткамеры. Прохожие разглядывали меня с любопытством.

С Невы дул холодный ветер. Солнце то и дело пряталось за облаками.

Наконец Шлиппенбах сказал — готово. Галина налила себе из термоса кофе. Крышка термоса при этом отворачивательно скрипела.

— Иди вон туда,— сказал Шлиппенбах,— за угол. Когда я махну рукой, двигайся вдоль стены.

Я перешел через дорогу и стал за углом. К этому времени мои сапоги окончательно промокли. Шлиппенбах все медлил. Я заметил, что Галина протягивает ему стакан. А я, значит, прогуливаюсь в мокрых сапогах.

Наконец, Шлиппенбах махнул рукой. Камеру он держал наподобие алебарды. Затем поднес ее к лицу.

Я потушил сигарету, вышел из-за угла, направился к мосту.

Оказалось, что, когда тебя снимают, идти неловко. Я делал усилия, чтобы не спотыкаться. Когда налетел ветер, я придерживал шляпу.

Вдруг Шлиппенбах начал что-то кричать. Я не слышал из-за ветра, остановился, перешел через дорогу.

— Ты чего? — спросил Шлиппенбах.

— Я не слышал.

— Чего ты не слышал?

— Вы что-то кричали.

— Не вы, а ты.

— Что ты мне кричал?

— Я кричал — гениально! Больше ничего. Давай, иди снова.

— Хотите кофе? — наконец-то спросила Галина.

— Не сейчас,— остановил ее Шлиппенбах,— после третьего дубля.

Я снова вышел из-за угла. Снова направился к мосту. И снова Шлиппенбах мне что-то крикнул. Я не обратил внимания.

Так и шел до самого парапета. Наконец, оглянулся. Шлиппенбах и его подруга сидели в машине. Я поспешил назад.

— Единственное замечание,— сказал Шлиппенбах,— побольше экспрессии. Ты должен всему удивляться. С недоумением разглядывать плакаты и вывески.

— Там нет плакатов.

— Неважно. Я это все потом смонтирую. Главное — удивляйся. Метра три пройдешь — всплесни руками...

В итоге Шлиппенбах гонял меня раз семь. Я страш-

но утомился. Штаны под камзолом спадали. Курить в перчатках было неудобно.

Но вот мучения кончились. Галина протянула мне термос. Затем мы поехали на Таврическую.

— Там есть пивной ларек,— сказал Шлиппенбах,— даже, кажется, не один. Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков...

Я знал это место. Два пивных ларька, а между ними рюмочная. Неподалеку от театрального института. Действительно, пьяных сколько угодно.

Автобус мы загнали в подворотню. Там же были сделаны все приготовления.

После этого Шлиппенбах горячо зашептал:

— Мизансцена простая. Ты приближаешься к ларьку. С негодованием разглядываешь всю эту публику. Затем произносишь речь.

— Что я должен сказать?

— Говори, что попало. Слова не имеют значения. Главное — мимика, жесты...

— Меня примут за идиота.

— Вот и хорошо. Произноси что угодно. Узнай на счет цены.

— Тем более меня примут за идиота. Кто же цен не знает? Да еще на пиво.

— Тогда спроси их — кто последний? Лишь бы губы шевелились, а уж я потом смонтирую. Текст будет позже записан на магнитофонную ленту. Короче, действуй.

— Выпейте для храбрости,— сказала Галина.

Она достала бутылку водки. Налила мне в стакан из-под кофе.

Храбрости у меня не прибавилось. Однако я вылез из машины. Надо было идти.

Пивной ларек, выкрашенный зеленой краской, стоял на углу Ракова и Моховой. Очередь тянулась вдоль газона до самого здания райпищеторга.

Возле прилавка люди теснились один к другому. Далее толпа постепенно редела. В конце она распадалась на десяток хмурых замкнутых фигур.

Мужчины были в серых пиджаках и телогрейках. Они держались строго и равнодушно, как у посторонней могилы. Некоторые захватили бидоны и чайники.

Женщин в толпе было немного, пять или шесть. Они вели себя более шумно и нетерпеливо. Одна из них выкрикивала что-то загадочное:

— Пропустите из уважения к старухе матери!..

Достигнув цели, люди отходили в сторону, предвкусывая блаженство. На газон летела серая пена.

Каждый нес в себе маленький, личный пожар. Потушив его, люди оживали, закуривали, искали случая начать беседу.

Те, что еще стояли в очереди, интересовались:

— Пиво нормальное?

В ответ звучало:

— Вроде бы нормальное...

Сколько же, думаю, таких ларьков по всей России? Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново?

Приближаясь к толпе, я испытывал страх. Ради чего я на все это согласился? Что скажу этим людям — измученным, хмурым, полубезумным? Кому нужен весь этот глупый маскарад?!

Я присоединился к хвосту очереди. Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства. Остальные меня просто не заметили.

Передо мной стоял человек кавказского типа в железнодорожной гимнастерке. Левее — оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками. В двух шагах от меня, ломая спички, прикуривал интеллигент. Тощий портфель он зажал между коленями.

Положение становилось все более нелепым. Все молчат, не удивляются. Вопросов не задают. Какие могут быть вопросы? У всех единственная проблема — опохмелиться.

Ну что я им скажу? Спрошу их — кто последний? Да я и есть последний.

Кстати, денег у меня не было. Деньги остались в нормальных человеческих штанах.

Смотрю — Шлиппенбах из подворотни машет кулаками, отдает распоряжения. Видно, хочет, чтобы я действовал сообразно замыслу. То есть надеется, что меня ударят кружкой по голове.

Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку.

Слышу — железнодорожник кому-то объясняет:

— Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем...

Интеллигент ко мне обращается:

— Простите, вы знаете Шердакова?

— Шердакова?

— Вы Долматов?

— Приблизительно.

— Очень рад. Я же вам рубль остался должен. Пом-

ните, мы от Шердакова расходились в День космонавта? И я у вас рубль попросил на такси. Держите.

Карманов у меня не было. Я сунул мятый рубль в перчатку.

Шердакова я действительно знал. Специалист по марксистско-ленинской эстетике, доцент театрального института. Частый посетитель здешней рюмочной...

— Кланяйтесь,— говорю,— ему при встрече.

Тут приближается к нам Шлиппенбах. За ним, вздыхая, движется Галина.

К этому времени я был почти у цели. Людская масса уплотнилась. Я был стиснут между оборванцем и железнодорожником. Конец моей шпаги упирался в бедро интеллигента.

Шлиппенбах кричит:

— Не вижу мизансцены! Где конфликт?! Ты должен вызывать антагонизм народных масс!

Очередь насторожилась. Энергичный человек с кинокамерой внушал народу раздражение и беспокойство.

— Извиняюсь,— обратился к Шлиппенбаху железнодорожник,— вас здесь не стояло!

— Нахожусь при исполнении служебных обязанностей,— четко реагировал Шлиппенбах.

— Все при исполнении,— донеслось из толпы.

Недовольство росло. Голоса делались все более агрессивными:

— Ходят тут всякие сатирики, блядь, юмористы...

— Сфотографирует тебя, а потом — на доску... В смысле — «Они мешают нам жить...»

— Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он нам тюльку гонит...

— Такому бармалею место у параша...

Энергия толпы рвалась наружу. Но и Шлиппенбах вдруг рассердился:

— Пропили Россию, гады! Совесть потеряли окончательно! Водярой залили глаза, с утра пораньше!..

— Юрка, кончай! Юрка, не будь идиотом, пошли! — уговаривала Шлиппенбаха Галина.

Но тот упирался. И как раз подошла моя очередь. Я достал мятый рубль из перчатки. Спрашиваю:

— Сколько брать?

Шлиппенбах вдруг сразу успокоился и говорит:

— Мне большую с подогревом. Галке — маленькую.

Галина добавила:

— Я пива не употребляю. Но выпью с удовольствием...

Логика в ее словах было маловато.

Кто-то начал роптать. Оборванец пояснил недовольным:

— Царь стоял, я видел. А этот пидор с фонарем — его дружок. Так что все законно!

Алкаши с минуту поворчали и затихли.

Шлиппенбах переложил камеру в левую руку. Поднял кружку:

— Выпьем за успех нашей будущей картины! Истинный талант когда-нибудь пробьет себе дорогу.

— Чучело ты мое,— сказала Галя...

Когда мы задом выезжали из подворотни, Шлиппенбах говорил:

— Ну и публика! Вот так народ! Я даже испугался. Это было что-то вроде...

— Полтавской битвы,— закончил я.

Переодеваться в автобусе было неудобно. Меня отвезли домой в костюме государя императора.

На следующий день я повстречал Шлиппенбаха возле гонорарной кассы. Он сообщил мне, что хочет заняться правозащитной деятельностью. Таким образом, съемки любительского фильма прекратились.

Театральный костюм потом валялся у меня два года. Шпагу присвоил соседский мальчишка. Шляпой мы натирали полы. Камзол носила вместо демисезонного пальто экстравагантная женщина Регина Бриттерман. Из бархатных штанов моя жена соорудила юбку.

Шоферские перчатки я захватил в эмиграцию. Я был уверен, что первым делом куплю машину. Да так и не купил. Не захотел.

Должен же я чем-то выделяться на общем фоне! Пускай весь Форест Хиллс знает «того самого Довлатова, у которого нет автомобиля»!

РЕМЕСЛО

Памяти Карла

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕВИДИМАЯ КНИГА

Предисловие

С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересуют признания литературного неудачника? Что поучительного в его исповеди?

Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование.

Мало того, я обладаю преимуществами. Мне без труда удастся располагать к себе людей. Я совершил десятки поступков, уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными.

Я дважды был женат, и оба раза счастливо.

Наконец, у меня есть собака. А это уже излишество.

Тогда почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? В чем причина моей тоски?

Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья...

Мне жаль, что прозвучало это слово. Ведь представления, которые оно рождает, безграничны до нуля.

Я знал человека, всерьез утверждавшего, что он будет абсолютно счастлив, если жилконтора заменит ему фановую трубу...

Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возомнил себя непризнанным гением!

Да нет же! В этом-то и дело, что нет! Я выслушал сотни, тысячи откликов на мои рассказы. И никогда, ни в единой, самой убогой, самой фантастической петербургской компании меня не объявляли гением. Даже когда объявляли таковыми Горецкого и Харитоненко.

(Поясню. Горецкий — автор романа, представляющего собой девять листов засвеченной фотобумаги.

Главное же действующее лицо наиболее зрелого романа Харитоненко — презерватив.)

Тридцать лет назад я взялся за перо. Написал роман, семь повестей и четыреста коротких вещей. (На ощупь — побольше, чем Гоголь!) Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. (Обязанности разные.) Как минимум одним неотъемлемым правом. Правом обнародовать написанное. То есть правом бессмертия или неудачи.

За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется бесчисленными органами, лицами, институтами великого государства?!

Я должен это понять.

Не буду утруждать себя композицией. Сумбурно, длинно и невнятно попытаюсь изложить свою «творческую» биографию. Это будут приключения моих рукописей. Портреты знакомых. Документы...

Как же назвать мне все это — «Досье»? «Записки одного литератора»? «Сочинение на вольную тему»?

Разве это важно? Книга-то невидимая...

За окном — ленинградские крыши, антенны, бледное небо. Катя готовит уроки. Фокстерьер Глафира, похожая на березовую чурочку, сидит у ее ног и думает обо мне.

А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину — один.

Лист бумаги — счастье и проклятие! Лист бумаги — наказание мое...

Предисловие, однако, затянулось. Начнем. Начнем хотя бы с этого.

Первый критик

До революции Агния Францевна Мау была придворным венерологом. Прошло шестьдесят лет. Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый апломб и прямоту клинициста. Это Мау сказала нашему квартуполномоченному полковнику Тихомирову, отдавшему лапу ее болонке:

— Вы — страшное говно, мон колонель, не обесудьте!..

Тихомиров жил напротив, загнанный в отвратительную коммуналку своим партийным бескорыстием. Он добивался власти и ненавидел Мау за ее аристокра-

тическое происхождение. (У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы.)

— Ведьма! — грохотал он. — Фашистка! Какать в одном поле не сяду!..

Старуха поднимала голову так резко, что взлетал ее крошечный золотой медальон:

— Неужели какать рядом с вами такая уж большая честь?!

Тусклые перья на ее шляпе гневно вздрагивали...

Для Тихомирова я был чересчур изыскан. Для Мау — безнадежно вульгарен. Но против Агнии Францевны у меня было сильное оружие — вежливость. А Тихомирова вежливость настораживала. Он знал, что вежливость маскирует пороки.

И вот однажды я беседовал по коммунальному телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным избытком. Раз десять Тихомиров проследовал узкой коммунальной трассой. Трижды ходил в уборную. Заваривал чай. До полярного сияния начистил лишённые индивидуальности ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно.

А я все говорил. Я говорил, что Лев Толстой, по сути дела, — обыватель. Что Достоевский сродни постимпрессионизму. Что апперцепция у Бальзака — неорганична. Что Люда Федосеенко сделала аборт. Что американской прозе не хватает космополитического фермента...

И Тихомиров не выдержал.

Умышленно задев меня пологим животом, он рывкнул:

— Писатель! Смотрите-ка — писатель! Да это же писатель!.. Расстреливать надо таких писателей!..

Знал бы я тогда, что этот вопль расслабленного умственной перегрузкой квартуполномоченного на долгие годы определит мою жизнь.

«...Расстреливать надо таких писателей!..»

Кажется, я допускаю ошибку. Необходима какая-то последовательность. Например, хронологическая.

Первый литературный импульс — вот с чего я начну. Это было в октябре 1941 года. Башкирия, Уфа, эвакуация, мне — три недели.

Когда-то я записал этот случай...

Судьба

Мой отец был режиссером драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда все было хорошо...

Я родился в эвакуации, четвертого октября. Прошло три недели. Мать шла с коляской по бульвару. И тут ее остановил незнакомый человек.

Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным. А главное — совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было еще и значительным. Недаром мама помнила его всю жизнь.

Штатский незнакомец казался вполне здоровым.

— Простите, — решительно и смущенно выговорил он, — но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку.

Мама возмутилась.

— Новости, — сказала она, — так вы и меня захотите ущипнуть.

— Вряд ли, — успокоил ее незнакомец.

Затем добавил:

— Хотя еще минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить...

— Идет война, — заметила мама уже не так резко, — священная война! Настоящие мужчины гибнут на передовой. А некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы.

— Да, — печально согласился незнакомец, — война идет. Она идет в душе каждого из нас. Прощайте.

Затем добавил:

— Вы ранили мое сердце...

Прошло тридцать два года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь сорок первого года. И еще — у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями.

Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым.

Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам?..

Какая чепуха! В описанной истории даже я — фигура несомненная! Так что же говорить о Платонове?!

Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев

чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга спирта, шевиотовый мантиль и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, было крепче спирта, ценнее шевиотового мантиля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее?

Мазурик, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. Рукопись, лежащая в канаве или ящичке стола, неотличима от прошлогодних газет.

Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так:

«Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше...»

Было ли все это так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова...

Начало

Я вынужден сообщать какие-то детали моей биографии. Иначе многое останется неясным. Сделаю это коротко, пунктиром.

Толстый застенчивый мальчик... Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором...

Школа... Дружба с Алешей Лаврентьевым, за которым приезжает «форд»... Алеша шалит, мне поручено воспитывать его... Тогда меня возьмут на дачу. Я станюлюсь маленьким гувернером... Я умнее и больше читал... Я знаю, как угодить взрослым...

Черные дворы. Зарождающаяся тяга к плебсу... Мечты о силе и бесстрашии... Похороны дохлой кошки за сараями... Моя надгробная речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера... Я умею говорить, рассказывать...

Бесконечные двойки... Равнодушие к точным наукам... Совместное обучение... Девочки... Алла Горшкова...

Мой длинный язык... Неуклюжие эпиграммы... Тяжкое бремя сексуальной невинности...

1952 год. Я отсылаю в газету «Ленинские искры» четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина. Три — про животных...

Первые рассказы. Они публикуются в детском журнале «Костер». Напоминают худшие вещи средних профессионалов...

С поэзией кончено навсегда. С невинностью — тоже...

Аттестат зрелости... Производственный стаж... Типография имени Володарского... Сигареты, вино и мужские разговоры... Растущая тяга к племсу. (То есть буквально ни одного интеллигентного приятеля.)

Университет имени Жданова. (Звучит не хуже, чем «Университет имени Аль Капоне»...) Филфак... Прогулы... Студенческие литературные упражнения...

Бесконечные переэкзаменовки... Несчастливая любовь, окончившаяся женитьбой... Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами — Рейном, Найманом, Бродским... Наиболее популярный человек той эпохи — Сергей Вольф.

Дедушка русской словесности

Нас познакомили в ресторане. Вольф напоминал американского безработного с плаката. Джинсы, свитер, мятый клетчатый пиджак.

Он пил водку. Я пригласил его в фойе и невнятно объяснился без свидетелей. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы.

Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил — водка нагревается.

— Любимые писатели? — коротко спросил Вольф. Я назвал Хемингуэя, Бёлля, русских классиков...

— Жаль,— произнес он задумчиво,— жаль... Очень жаль...

Попрощался и ушел.

Я был несколько озадачен. Женя Рейн потом объяснил мне:

— Назвали бы Вольфа. Он бы вас угостил. Настоящие писатели интересуются только собой...

Как всегда, Рейн был прав...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ (Из записных книжек)

Как-то сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. Он говорил:

«Самолеты преодолевают верхнюю облачность... Жаворонки попадают в сопла... Глохнут моторы... Самолеты падают... Люди разбиваются... Жаворонки попадают в сопла... Гибнут люди...»

А напротив сидел Женя Рейн.

«Самолеты разбиваются,— кричал Веселов,— моторы глохнут... В сопла попадают жаворонки... Гибнут люди... Гибнут люди...»

Тогда Рейн обиженно крикнул:

«А жаворонки что — выживают?!»

Да и с Вольфом у меня хорошие отношения. О нем есть такая запись:

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу. Вольф поймал огромного судака. Вручил его хозяйке и говорит:

«Поджарьте этого судака, и будем вместе ужинать».

Так и сделали. Поужинали, выпили. Вольф и Длуголенский ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длуголенскому:

«У тебя есть карандаш и бумага?»

«Есть».

«Давай сюда».

Вольф порисовал минуты две и говорит:

«Вот суки! Они подали не всего судака! Смотри. Этот подъем был. И этот спуск был. А вот этого перевала — не было. Явный пробел в траектории судака...»

Дальше

1960 год. Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема — одиночество. Неизменный антураж — вечеринка. Вот примерный образчик фактуры:

«— А ты славный малый!

— Правда?

— Да, ты славный малый!

— Я разный.

— Нет, ты славный малый. Просто замечательный.

— Ты меня любишь?

— Нет...»

Выпирающие ребра подтекста. Хемингуэй как идеал литературный и человеческий...

Недолгие занятия боксом... Развод, отмеченный трехдневной пьянкой... Безделье... Повестка из военкомата...

Стоп! Я хотел уже перейти к решающему этапу своей литературной биографии. И вот перечитал написанное. Что-то важное скомкано, забыто. Упущенные факты тормозят мои автобиографические дроги.

Я уже говорил, что познакомился с Бродским. Вытеснив Хемингуэя, он навсегда стал моим литературным кумиром.

Нас познакомила моя бывшая жена Ася. До этого она не раз говорила:

— Есть люди, перед которыми стоят великие цели!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро — закрыто. Чугунная решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер.

Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул: «Э!»

Милиционер насторожился, обернулся.

«Дивная картина, — сказал ему Бродский, — впервые наблюдаю мента за решеткой...»

Я познакомился с Бродским, Найманом, Рейном. В дальнейшем узнал их лучше. То есть в послеармейские годы, когда мы несколько сблизились. До этого я не мог по заслугам оценить их творческого и личного своеобразия. Более того, мое отношение к этой группе поэтов имело налет скептицизма. Помимо литературы я жил интересами спорта, футбола. Нравился барышням из технических вузов. Литература пока не стала моим единственным занятием. Я уважал Евтушенко.

Почему же так важно упомянуть эту группу? Я уже тогда знал о существовании неофициальной литературы. О существовании так называемой второй культурной действительности. Той самой действительности, которая через несколько лет превратится в единственную реальность...

Повестка из военкомата. За три месяца до этого я покинул университет.

В дальнейшем я говорил о причинах ухода — туманно. Загадочно касался неких политических мотивов.

На самом деле все было проще. Раза четыре я сдавал экзамен по немецкому языку. И каждый раз проваливался.

Языка я не знал совершенно. Ни единого слова. Кроме имен вождей мирового пролетариата. И наконец меня выгнали. Я же, как водится, намекал, что страдаю за правду.

Затем меня призвали в армию. И я попал в конвойную охрану. Очевидно, мне суждено было побывать в аду...

Зона

Я не буду рассказывать, что такое ВОХРА. Что такое нынешний Устьвымлаг. Наиболее драматические ситуации отражены в моей рукописи «Зона». По ней, думаю, можно судить о том, как я жил эти годы. Два экземпляра «Зоны» у меня сохранились. Еще один благополучно переправлен в Нью-Йорк. И последний, четвертый, находится в эстонском КГБ. (Но об этом — позже.)

«Зона» — мемуары надзирателя конвойной охраны, цикл тюремных рассказов.

Как видите, начал я с бытописания изнанки жизни. Дебют вполне естественный (Бабель, Горький, Хемингуэй). Экзотичность пережитого материала — важный литературный стимул. Хотя наиболее чудовищные, эпатажирующие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Воспроизводить их не хотелось. Это выглядело бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани произведения, а в самом материале. Так что я игнорировал крайности, пытаюсь держаться в обыденных эстетических рамках.

В чем основные идеи «Зоны»?

Мировая «каторжная» литература знает две системы идейных представителей. Два нравственных аспекта.

1. Каторжник — жертва, герой, благородная многострадальная фигура. Соответственно распределяются моральные ориентиры. То есть представители режима — сила негативная, отрицательная.

2. Каторжник — монстр, злодей. Соответственно — все наоборот. Каратель, полицейский, сыщик, милиционер — фигуры благородные и героические. Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Полицейские и воры чрезвычайно напоминают друг друга. Заключение особого режима и лагерные надзиратели безумно похожи. Язык, образ мыслей, фольклор, эстетические каноны, нравственные установки. Таков результат

обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки — единый и жестокий мир. Это я и попытался выразить.

И еще одну существенную черту усматриваю я в моем лагерном наследии. Сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих.

Каторга неизменно изображалась с позиций жертвы. Каторга же, увы, и пополняла ряды литераторов. Лагерная охрана не породила видных мастеров слова. Так что мои «Записки охранника» — своеобразная новинка.

Короче, осенью 64-го года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала «Зона». Перспективы были самые неясные.

Начинался важнейший этап моей жизни...

Этап

Я встретился с бывшими приятелями. Общаться нам стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели. А я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что его тыловые друзья преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы.

Я бывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали и возвращались к актуальным филологическим темам: Пруст, Берроуз, Набоков...

Все это казалось мне удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены правдоподобия. Я всем надоел.

Мне понятно, за что высмеивал Тургенев недавнего каторжанина Достоевского.

К этому времени моя жена полюбила знаменитого столичного литератора. Тогда я окончательно надулся и со всеми перессорился.

Надо было искать работу. Мне казалось в ту пору, что журналистика сродни литературе. И я поступил в заводскую многотиражку. Газетная работа поныне

является для меня источником существования. Сейчас газета мне опротивела, но тогда я был полон энтузиазма.

Много говорится о том, что журналистика для литератора — занятие пагубное. Я этого не ощутил. В этих случаях действуют различные участки головного мозга. Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк.

Итак, я поступил в заводскую многотиражку. Одновременно писал рассказы. Их становилось все больше. Они не умещались в толстой папке за сорок копеек. Тогда я еще не вполне серьезно относился к этому.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды брат спросил меня:

«Ты пишешь роман?»

«Пишу»,— ответил я.

«И я пишу,— обрадовался брат,— махнем не глядя?..»

Я должен был кому-то показать свои рукописи. Но кому? Приятели с филфака не внушали доверия. Знакомых литераторов у меня не было. Только неофициальные...

Потомок д'Артаньяна

По бульвару вдоль желтых скамеек, мимо гипсовых урн шагает небольшого роста человек. Зовут его Анатолий Найман.

Быстрые ноги его обтянуты светлыми континентальными джинсами. В движениях — изящество юного князя.

Найман интеллектуальный ковбой. Успеваает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки — ядовиты.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Женщина в трамвае — Найману:

«Ах, не прикасайтесь ко мне!»

«Ничего страшного, я потом вымою руки...»

Кроме того, Найман пишет замечательные стихи, он друг Ахматовой и воспитатель Бродского. Я его боюсь.

Мы встретились на улице Правды. Найман оглядел меня с веселым задором. Еще бы, подстрелить такую крупную дичь! Скоро Найман убедился в том, что я — млекопитающее. Не хищник. Морж на суше. Чересчур большая мишень. Стрелять в меня неинтересно. А сейчас...

— Мы, кажется, знакомы? Демобилизовались? Очень хорошо... Что-то пишете? Прочитайте строчки три... Ах, рассказы? Тогда занесите. Я живу близко...

Найман читает мои рассказы. Звонит. Мы гуляем возле Пушкинского театра.

— Через год вы станете «прогрессивным молодым автором». Если вас это, конечно, устраивает...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

«Толя,— зову я Наймана,— пойдите в гости к Леве Рыскину».

«Не пойду. Какой-то он советский».

«То есть как это — советский? Вы ошибаетесь!»

«Ну, антисоветский. Какая разница?..»

Найман спешит. Я провожаю его. Мне хочется без конца говорить о рассказах. Печататься не обязательно. Это неважно. Когда-нибудь потом... Лишь бы написать что-то стоящее.

Найман рассеянно кивает. Он равнодушен даже к созвездию левых москвичей. Ему известны литературные тайны прошлого и будущего. Современная литература — вся — невзрачный захламленный тоннель между прошлым и будущим...

Мы оказываемся в районе новостроек. Я пытаюсь ему угодить:

— Думаю, Толстой не согласился бы жить в этом унылом районе!

— Толстой не согласился бы жить в этом... году!..

Мы видимся довольно часто. Я приношу новые рассказы. Толя их снисходительно похваливает. Его жена Лера твердит:

— Сергей, у вас нет Бога! Вы — изувер!

Я не знаю, кто я такой. Пишу рассказы... Совесть есть, это точно. Я ощущаю ее болезненное наличие. Мне грустно, что наша планета в дальнейшем остынет.

Я завидую Найману. Его остроумию, уверенности, злости.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Найману звонит приятельница:

«Толя! Приходи к нам обедать... Знаешь, возьми по дороге сардин — таких импортных, марокканских... И варенья какого-нибудь... Если тебя не беспокоят эти расходы».

«Эти расходы меня совершенно не беспокоят. Потому что я не куплю ни того, ни другого...»

Я так хочу понравиться Найману. Я почти заискиваю.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Я спрашиваю Наймана:

«Вы знаете Абрама Каценеленбогена?»

Абрам Каценеленбоген — талантливый лингвист. Популярный, яркий человек. Толя должен знать его. Я тоже знаю Абрама Каценеленбогена. То есть у нас — общие знакомые. Значит, мы равны... Найман отвечает:

«Абрам Каценеленбоген? Что-то знакомое. Имя Абрам мне где-то встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Каценеленбоген слышу впервые...»

Приношу ему три рассказа в неделю.

— Прочел с удовольствием. Рассказы замечательные. Плохие, но замечательные. Вы становитесь прогрессивным молодым автором. На улице Воинова есть литературное объединение. Там собираются прогрессивные молодые авторы. Хотите, я покажу рассказы Игорю Ефимову?

— Кто такой Игорь Ефимов?

— Прогрессивный молодой автор...

Горожане

Так мои рассказы попали к Игорю Ефимову. Ефимов их прочел, кое-что одобрил. Через него я познакомился с Борисом Вахтиным, Марамзиным и Губиным. Четверо талантливых авторов представляли литературное содружество «Горожане». Само название противопоставляло их крепнувшей деревенской литературе.

Негласным командиром содружества равных был Вахтин. Мужественный, энергичный — Борис чрезвычайно к себе располагал. Излишняя театральность его манер порою вызывала насмешки. Однако же — насмешки тайные. Смеяться открыто не решались. Даже ядовитый Найман возражал Борису осторожно.

Потом я узнал, что Вахтину хорошо заметны его слабости. Что он нередко иронизирует в собственный адрес. А это — неопровержимый признак ума.

Как у большинства агрессивных людей, его волевое давление обрушивалось на людей столь же агрессивных. В отношении людей неприятельных он был чрезвычайно сдержан. Я в ту пору был неприятельным человеком.

Мне известно, что Вахтин совершил немало добрых поступков элементарного житейского толка. Ему постоянно досаждали чьи-то жены, которым он выхлопывал алименты. Его домогались инвалиды, требовавшие финансового участия. К нему шли жертвы всяческих беззаконий.

Еще мне импонировала в нем черточка ленивого барства. Его неизменная готовность раскошелиться. То есть буквально — уплатить за всех...

Губин был человеком другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель, он начинал легко и удачливо. Но его довольно быстро раскусили. Последовал длительный тяжелый неуспех. И Губин, мне кажется, сдался. Оставил литературные попытки. Сейчас он чиновник «Ленгаза», неизменно приветливый, добрый, веселый. За всем этим чувствуется драма.

Сам он говорит, что писать не бросил. Мне хочется этому верить. И все-таки я думаю, что Губин переступил рубеж благотворного уединения. Пусть это звучит банально — литературная среда необходима.

Писатель не может бросить свое занятие. Это неизбежно привело бы к искажению его личности. Вот почему я думаю о Губине с тревогой и надеждой.

В моих записных книжках имеется о нем единственное упоминание.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Володя Губин — человек не светский.

— До чего красивые жены у моих приятелей,— говорит он,— это фантастика! У Вахтина — красавица! У Ефимова — красавица! А у Довлатова, ну, такая красавица... Таких даже в метро не часто встретишь!..

Губин рассказывает о себе:

— Да, я не появляюсь в издательствах. Это бесполезно. Но я пишу. Пишу ночами. И достигаю таких вершин, о которых не мечтал!..

Повторяю, я хотел бы этому верить. Но в сумеречные озарения поверить трудно. Ночь — опасное время. Во мраке так легко потерять ориентиры.

Судьба Губина — еще одно преступление наших литературных вохровцев...

Марамзин сейчас человек известный, живет в Париже, редактирует «Эхо».

Когда мы познакомились, он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый и расчетливый, Марамзин, я уверен, давно шел к намеченной цели.

Его замечательную, несколько манерную прозу украшают внезапные оазисы ясности и чистоты:

«Я свободы не прошу. Зачем мне свобода? Более того, у меня она, кажется, есть...»

Замечу, что это написано до эмиграции.

В его характере с последовательной непоследовательностью уживались безграничная ортодоксия и широчайшая терпимость. Его безапелляционные жесты — раздражали. Затрудняла общение и склонность к мордобою.

После одной кулачной истории я держался от Марамзина на расстоянии...

О Ефимове писать трудно. Игорь многое предпринял, чтобы затруднить всякие разговоры о себе. Попытки рассказать о нем уведут в сторону казенной характеристики:

«Честен, принципиален, морально устойчив... Пользуется авторитетом...»

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Шли выборы правления Союза. (Союза писателей, разумеется.) Голосовали по спискам. Неудобную кандидатуру следовало вычеркнуть.

В коридоре Ефимов повстречал Минчковского. Обдав Игоря винными парами, тот задорно произнес:

— Идем голосовать!

Пунктуальный Ефимов уточнил:

— Идем вычеркивать друг друга...

Ефимов — человек не слишком откровенный. Книги и даже рукописи не отражают полностью его характера.

Я хотел бы написать: это человек сложный... Сложный, так не пиши. А то, знаете, в переводных романах делаются иногда беспомощные сноски:

«В оригинале — неперевоаемая игра слов...»
Я думаю, Ефимов — самый многообещающий человек
в Ленинграде.
Если не считать Бродского...

Рыжий

Среди моих знакомых преобладали неординарные личности. Главным образом дерзкие начинающие писатели, бунтующие художники и революционные музыканты.

Даже на этом мятежном фоне Бродский резко выделялся...

Нильс Бор говорил:

«Истины бывают ясные и глубокие. Ясной истине противостоит ложь. Глубокой истине противостоит другая истина, не менее глубокая...»

Мои друзья были одержимы ясными истинами. Мы говорили о свободе творчества, о праве на информацию, об уважении к человеческому достоинству. Нами владел скептицизм по отношению к государству.

Мы были стихийными, физиологическими атеистами. Так уж нас воспитали. Если мы и говорили о Боге, то в состоянии позы, кокетства, демарша. Идея Бога казалась нам знаком особой творческой притязательности. Наиболее высокой по классу эмблемой художественного изобилия. Бог становился чем-то вроде положительного литературного героя...

Бродского волновали глубокие истины. Понятие души в его литературном и жизненном обиходе было решающим, центральным. Будни нашего государства воспринимались им как умирание покинутого душою тела. Или — как апатия сонного мира, где бодрствует только поэзия...

Рядом с Бродским другие молодые нонконформисты казались людьми иной профессии.

Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа.

Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании.

Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что

Дзержинский — жив. И что «Коминтерн» — название музыкального ансамбля.

Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал:

— Кто это? Похож на Уильяма Блэйка...

Своим поведением Бродский нарушал какую-то чрезвычайно важную установку. И его сослали в Архангельскую губернию.

Советская власть — обидчивая дама. Худо тому, кто ее оскорбляет. Но гораздо хуже тому, кто ее игнорирует...

Наверное, я мог бы вспомнить об этих людях что-то плохое. Однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей...

«Горожане» отнеслись ко мне благосклонно. Желая вернуть литературе черты изящной словесности, они настойчиво акцентировали языковые приемы. Даже строгий Ефимов баловался всяческой орнаменталистикой.

Борис Вахтин провозглашал:

«Не пиши ты эпохами и катаклизмами! Не пиши ты страстями и локомотивами! А пиши ты, дурень, буквами — А, Б, В...»

Я был единодушно принят в содружество «Горожане». Но тут сказала характерная черта моей биографии — умение поспевать лишь к шапочному разбору. Стоит мне приобрести что-нибудь в кредит, и эту штуку тотчас же уценивают. А я потом два года расплачиваюсь.

С лагерной темой опоздал года на два.

В общем, пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов. Он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман «Зрелища». Без него группа теряла солидность. Ведь он был единственным членом Союза писателей...

Короче, многие даже не знают, что я был пятым «горожанином».

Рядом с Гейне

Мои сочинения передавались из рук в руки. Так я познакомился с Битовым, Майей Данини, Ридом Грачевым, Воскобойниковым, Леоновым, Арро... Все эти люди отнеслись ко мне доброжелательно. Из литераторов старшего поколения рассказами заинтересовались Меттер, Гор, Бакинский.

Классик нашей литературы Гранин тоже их прочел. Затем пригласил меня на дачу. Мы беседовали возле кухонной плиты.

— Неплохо,— повторил Даниил Александрович, листая мою рукопись,— неплохо...

За стеной раздавались шаги.

Гранин задумался, потом сказал:

— Только все это не для печати.

Я говорю:

— Может быть. Я не знаю, где советские писатели чрепают темы. Все кругом не для печати...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В Тбилиси проходила конференция:

«Оптимизм советской литературы».

Среди других выступал поэт Наровчатов. Говорил на тему безграничного оптимизма советской литературы. Затем вышел на трибуну грузинский писатель Кемоклидзе:

«Вопрос предыдущему оратору».

«Слушаю вас»,— откликнулся Наровчатов.

«Я хочу спросить насчет Байрона. Он был молодой?»

«Да,— удивился Наровчатов,— Байрон погиб сравнительно молодым человеком. А что? Почему вы об этом спрашиваете?»

«Еще один вопрос насчет Байрона. Он был красивый?»

«Да, Байрон обладал чрезвычайно эффектной внешностью. Это общеизвестно...»

«И еще один вопрос насчет того же Байрона. Он был зажиточный?»

«Ну, разумеется. Он был лорд. У него был замок... Ей-Богу, какие-то странные вопросы...»

«И последний вопрос насчет Байрона. Он был талантливый?»

«Байрон — величайший поэт Англии! Я не понимаю, в чем дело?»

«Сейчас поймешь. Вот посмотри на Байрона. Он был молодой, красивый, зажиточный и талантливый. И он был пессимист. А ты — старый, нищий, уродливый и бездарный. И ты — оптимист!»

Гранин сказал:

— Вы преувеличиваете. Литератор должен публико-

ваться. Разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью. В эту щель необходимо проникнуть.

Я набрался храбрости и сказал:

— Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен.

Наступила тягостная пауза.

Я попрощался, вышел. И сейчас же ударился в темном коридоре о широкие лосиные рога. Это была вешалка, укрепленная с расчетом на пигмея...

Прошло недели две. Я узнал, что мои рассказы будут обсуждаться в Союзе писателей. В ежемесячной программе Дома имени Маяковского напечатали анонс. Девять лет спустя взволнованно перелистываю голубую книжечку.

13 декабря 67-го года:

13	13
Среда	Среда
Обсуждение рассказов ДОВЛАТОВА	К 170-летию со дня рождения ГЕЙНЕ
Начало в 17 ч.	Начало в 17 ч.

Фамилии были напечатаны одинаковым шрифтом. Поклонники Гейне собрались на втором этаже. Мои — на третьем. Мои — клянусь! — значительно преобладали.

Обсуждение прошло хорошо. Если о тебе говорят целый вечер — дурное или хорошее — это приятно.

С резкой критикой выступил лишь один человек — писатель Борис Иванов. Через несколько месяцев его выгнали из партии. Я тут ни при чем. Видно, он критиковал не только меня...

Первая рецензия

Декабрьским утром 67-го года я отослал целую пачку рассказов в журнал «Новый мир». Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Запечатал, отослал, и все.

«Новый мир» тогда был очень популярен. В нем сотрудничали лучшие московские прозаики. В нем печатался Солженицын.

Я думал, что ответа вообще не последует. Меня просто не заметят.

И вот я получаю большой маркированный конверт. В нем — мои слегка помятые рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьевой. И далее — короткое заключение отдела прозы.

Воспроизвожу наиболее существенные отрывки из этих документов. Качество цитируемых материалов — на совести авторов.

О рассказах С. Довлатова

Эти небольшие рассказы читаешь с каким-то двойным интересом. Интерес вызывает личная авторская нота, тот характер отношения к жизни, в котором преобладает стыд. Беспощадный дар наблюдательности вооружает писателя сильным биноклем: малое он различает до подробностей, большое не заслоняет его горизонтов...

Программным видится у автора демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали. Даже тень ее — кажется — принудит Довлатова замкнуться, ощетиниться. Впрочем, сама демонстративность авторского невмешательства, акцентированность его молчания становится формой присутствия, системой безжалостного зренья.

Хочется еще сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве резкостью, о легкой бравате в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом, для других — невероятным и пугающим.

Но в то же время на рассказах Довлатова лежит особый, узнаваемый лоск «прозы для своих». Я далека от желаний упрекать молодых авторов в том, что их рассказы остаются «прозой для своих», это — беда развития школы, не имеющей доступ к читателю, лишенной такого выхода насильственно, обреченной на анаэробность, загнанной внутрь...

Вероятно, я повторюсь, если скажу, что, лишь начав профессиональную жизнь, Довлатов освободится от излишества литературного самоутверждения, но, увы, эта моя убежденность еще не открывает перед талантливым автором журнальных страниц.

19 янв. 68 г.

Инна Соловьева

А вот редакционное заключение от 21 января:

Уважаемый товарищ Довлатов!

Из ваших рассказов мы ничего, к сожалению, не смогли отобрать для печати. Однако как автор вы нас заинтересовали. Хотелось бы ознакомиться с другими вашими произведениями. Обязательно присылайте. Желаем всего самого доброго.

Ст. редактор отдела прозы

Ирина Борисова

Рукописи были отклонены. И все-таки это письмо меня обнадежило. Ведь главное для меня — написать что-то стоящее. А здесь: «...беспощадный дар наблюдательности...», «...уникальный жизненный материал...».

Через несколько лет меня перестанут интересоваться соображения рецензентов. Я буду сразу же заглядывать в конец:

«Тем не менее рассказы приходится возвратить...»
«В силу известных причин рассказы отклоняем...»
«Рассказы использовать не можем, хоть они произвели благоприятное впечатление...» И так далее.

Таких рецензий у меня накопилось больше сотни.

Нравится — возвращаем!

Шло время. Я познакомился с рядовыми журнальными чиновниками. С некоторыми даже подружился. Письма из редакций становились все менее официальными. Теперь я получал дружеские записки. В этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны — товарищеская доверительная информация. Оперативность. Никаких иллюзий. Но при этом — более легкая и удобная для журнала форма отказа. Вместо ответственных казенных документов — фамильный звонок по телефону:

— Здорово, старик! Должен тебя огорчить — не пойдет! Ты же знаешь, как у нас это делается!.. Ты ведь умный человек... Может, у тебя есть что-нибудь про завод? Про завод, говорю... А вот материться не обязательно! Я же по-товарищески спросил... В общем, звони...

Я не обижался. Результат один и тот же.

Вот несколько образцов дружеских посланий. Из журнала «Юность»:

Сергей, привет!

Все было именно так, как я предполагал. Конечно же рассказы не прошли. Конечно же не по литературным меркам. Всякая лагерная тема наглухо закрыта, даже если речь идет об уголовниках. Ничего трагического, мрачного... «Жизнь прекрасна и удивительна!» — как восклицал товарищ Маяковский накануне самоубийства.

Некоторые сцены я часто пересказываю друзьям. Лучше бы они прочли это на страницах «Юности», но...

Привет от Юры. Твой

9.2.70 г.

Виталий

Из журнала «Звезда»:

Дорогой Сергей!

С грустью возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом, но запрещенную выше. Впрочем, отложенное удовольствие — не потерянное удовольствие. Верю, что рано или поздно твоя встреча с читателями «Звезды» состоится. Жму руку.

23 марта 1970 года.

А. Титов

Из журнала «Нева»:

Дорогой Сережа!

Твои рассказы всем понравились, но при дальнейшем ходе событий выяснилось, что опубликовать их мы не имеем возможности.

Рукопись возвращаем. Ждем твоих новых работ. Звони. Твой

9.4.70 г.

Арик Лерман

Друзья, работающие в журналах, искренне хотели мне помочь. Только возможностей у них было маловато. Поэтому я не обижаюсь.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В Ленинграде есть особая комиссия по работе с молодыми авторами. Однажды меня пригласили на заседание этой комиссии. Члены комиссии задали вопрос:

— Чем можно вам помочь?

— Ничем,— сказал я.

— Ну а все-таки? Что нужно сделать в первую очередь? Тогда я им ответил, по-ленински грассируя:

— В пегвую очегедь?.. В первую очередь нужно захватить мосты. Затем оцепить вокзалы. Блокировать почту и телеграф... Члены комиссии вздрогнули и переглянулись...

Литературный гарлем

Шли годы. Я уже не ограничивался службой в многотиражке. Сотрудничал как журналист в «Авроре», «Звезде» и «Неве». Напечатал три очерка и полтора десятка коротких рецензий. Заказы я получал в основном мелкие, но и этим дорожил чрезвычайно.

А началось все так....

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Позвонил мне заведующий отделом критики Дудко:

«Товарищ Довлатов! Сережа! Что вы не звоните?! Почему не заходите?! Срочно пишите для нас рецензию! С вашей остротой. С вашей наблюдательностью. С присущим вам чувством юмора...»

Захожу на следующий день в редакцию. Дудко мрачно спрашивает:

«Что вам, собственно, нужно?»

«Да вот, рецензию собираюсь написать. Хотелось бы посоветоваться насчет темы.»

«Вы что, критик?»

«Нет. Не совсем...»

«Почему же вы думаете, что рецензию может написать любой?»

Я удивился, попрощался и вышел.

Через три дня опять звонит:

«Сережа, дорогой! Что же вы не появляетесь?! Мечтаем получить от вас рецензию...»

И так далее.

Захожу в редакцию. Мрачный вопрос:

«Что вам угодно?»

Это повторялось раз семь. Наконец, я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Чиркову. Спрашиваю, что все это значит?

«Когда ты заходишь? — интересуется Чирков. — Во сколько?»

«Куда?»

«К Дудко.»

«Ну, как правило, часов в одиннадцать.»

«Ясно. А он тебе звонит когда? В какие часы?»

«Как правило, часа в два. А что?»

«А то. Ты являешься, когда Дудко с похмелья — мрачный. А звонит он тебе позже. То есть уже «подлечившись». Попробуй зайди часа в два.»

Я зашел в два.

«А! — закричал Дудко. — Как я рад! Сто лет не виделись!

Надеюсь, принесли рецензию?! С вашим талантом!.. С вашим чувством юмора!..»

И так далее.

С тех пор я напечатал в этом журнале десяток рецензий. Однако раньше двух я там не появляюсь...

В общем, меня изредка публиковали. Хоть и не по специальности. На этот счет имеется такая запись:

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Лерман и я — оба попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лерман на букву... «Ш» (библиография к Шолохову). Я — на букву «О» (библиография к Окуджаве).

Какое убожество...

Разумеется, я получал не только грустные известия. Мою работу в частном порядке хвалили уважаемые люди. Рассказы нравились Гору, Пановой, Бакинскому, Меттеру. Я получал от них дружеские записки. Постепенно этого мне стало явно недостаточно.

Как заработать 1000 (тысячу) рублей

В журнале «Нева» служил мой близкий приятель — Лерман. Давно мне советовал:

— Напиши о заводе. Ты же работал в многотиражке.

И вот я сел. Разложил свои газетные вырезки. Перечитал их. Решил на время забыть о чести. И быстро написал рассказ «По заданию» — два авторских листа тошнотворной елейной халтуры.

Там действовали наивный журналист и передовой рабочий. Журналист задавал idiotские вопросы по схеме. Передовик эту заведомую схему — разрушал. Деталей, откровенно говоря, не помню. Перечитывать это дело — стыжусь.

В «Неве» мой рассказ прочитали и отвергли.

Лерман объяснил:

«Слишком хорошо для нас».

«Хуже не бывает», — говорю.

«Бывает. Редко, но бывает. Хочешь убедиться — раскрой журнал «Нева»...

Я был озадачен. Я решил продать душу сатане, а что вышло? Вышло, что я душу сатане — подарил.

Что может быть позорнее?..

Я отослал свое произведение в «Юность». Через две недели получил ответ — «берем».

Еще через три месяца вышел номер журнала. В текст я даже не заглянул. А вот фотография мне понравилась — этакий неаполитанский солист.

В полученной мною анонимной записке этот контраст был любовно опозитизирован:

Портрет хорош, годится для кино...
Но текст — беспрецедентное говно!

Ах вот как?! Так знайте же, что эта халтура принесла мне огромные деньги. А именно — тысячу рублей.

Четыреста заплатила «Юность». Затем пришла бумага из Киева. Режиссер Пивоваров хочет снять короткометражный фильм. Двести рублей за право экранизации.

Затем договор из Москвы. Радиоспектакль силами артистов МХАТа. Двести рублей.

Далее письмо из Ташкента. Телекомпозиция. Очередные двести рублей. И еще в письме такая милая деталь:

«...Журналист в рассказе не имеет фамилии. Речь ведется от первого лица. Мы сочли закономерным дать герою — Вашу фамилию. Роль Довлатова поручена артисту Владлену Генину...»

Спрашивается, кто из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой? Где Шолохов, Катаев, Федин? Я и Достоевского-то не припомню... Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня должным образом...

Тысячу рублей получил я за эту галиматью.

Тысяча рублей в неделю. Разделить на пять. Двести рублей в сутки. Разделить на восемь. (При стандартном рабочем дне.) Выходит — двадцать пять. Двадцать пять рублей в час! Столько, я думаю, и полковники КГБ не зарабатывают. А нормальные люди — тем более...

Кругом одни евреи

Перехожу к одному из самых гнусных эпизодов моей литературной юности. Это мероприятие состоялось в январе 68-го года. Пригласительные билеты выглядели так:

Вторник, 30 января 1968 г.

Ленинградское отделение Союза писателей РСФСР
приглашает Вас на
ВСТРЕЧУ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Выступают поэты и прозаики:
ТАТЬЯНА ГАЛУШКО
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
ЕЛЕНА КУМΠΑИ
ВЛАДИМИР МАРАМЗИН
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

Молодые артисты, художники, композиторы.
Начало в 19 часов. Встреча состоится в Доме писателя
им. Маяковского (ул. Воинова, 18).

Кроме того, собирались выступить Бродский и Уф-лянд. Их фамилий не указали.

Что же произошло дальше?

Разумеется, мы не подсчитывали, какая часть выступающих — евреи. Кто бы стал этим заниматься?!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мы беседовали с классиком отечественной литературы — Пановой.

«Конечно,— говорю,— я против антисемитизма. Но ключевые позиции в Русском государстве должны занимать русские люди».

«Дорогой мой,— сказала Вера Федоровна,— это и есть антисемитизм. То, что вы сказали,— это и есть антисемитизм. Ибо ключевые позиции в Русском государстве должны занимать НОРМАЛЬНЫЕ люди...»

Народу собралось очень много. Сидели на подоконниках. Выступления прошли с большим успехом. Бродский читал под неумолкающий восторженный рев аудитории.

Через неделю он позвонил мне:

— Нужно встретиться.

— Что случилось?

— Это не телефонный разговор.

Если уж Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит, дело серьезное.

Мы встретились на углу Жуковского и Литейного. Иосиф достал несколько листков папиросной бумаги:

— Прочти.

Я начал читать. Через минуту спросил:

— Как удалось это раздобыть?

— У нас есть свой человек в Большом доме. Одна девица копию сняла.

Вот что я прочел:

*Отдел культуры и пропаганды ЦК КПСС
тов. Мелентьеву
Отдел культуры Ленинградского ОК КПСС
тов. Александрову
Ленинградский ОК ВЛКСМ
тов. Тупикину*

Дорогие товарищи!

Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОК ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение в среде молодых литераторов, которым покровительствуют руководители ЛОСП РСФСР, но до сих пор никаких решительных мер не было принято.

Например, 30 января с. г. в Ленинградском Доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг.

Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма.

К указанному письму прикладываем свое заявление на 4-х страницах.

Заявление

Мы хотим выразить не только свое частное мнение по поводу так называемого «Вечера творческой молодежи Ленинграда», состоявшегося в Доме писателя во вторник 30 января с. г. Мы выражаем мнение большинства членов литературной секции патриотического клуба «Россия» при Ленинградском обкоме ВЛКСМ...

Что же мы увидели и услышали?

Прежде всего огромную толпу молодежи, которую не в состоянии были сдерживать две технические работницы Дома писателя. Таким образом, на вечере оказалось около трехсот граждан еврейского происхождения. Это могло быть, конечно, и чистой случайностью, но то,

что произошло в дальнейшем, говорит о совершенно противоположном.

За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателя были наспех выставлены работы художника Якова Виньковецкого, совершенно исключают реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудобоваримой мазне в духе Поллака, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Я. Гордин говорил всем братьям по духу, как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств «консолидации различных искусств».

Этот разговор, дерзкий и политически тенденциозный, возник уже после прочтения заурядных в художественном отношении, но совершенно оскорбительных для русского народа и враждебных Советскому государству в идейном отношении стихотворных и прозаических произведений В. Марамзина, А. Городницкого, В. Попова, Т. Галушко, Е. Кумпан, С. Довлатова, В. Уфлянда, И. Бродского.

Чтобы не быть голословными, прокомментируем выступления ораторов перед тремя сотнями братьев по духу.

Владимир Марамзин со злобой и насмешливым укором противопоставил народу наше государство, которое якобы представляет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, марамзинской, ухитряющейся все-таки показывать государству фигу даже пальцами ног.

А. Городницкий сделал «открытие», что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем да суеверной экзотики, ничего не было.

Не раз уже читала со сцены Дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушко. Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию, за которой близка ее подлинная родина, и единственный живой человек спасает ее на нашей советской земле — это давно почивший еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам.

В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил и Валерий Попов. Обычно он представлялся как остроумный юмористический рассказчик, а тут на митинге неудобно было, видно, ему покидать ставшую

родной политической ниву сионизма. В коротеньком рассказике В. Попов сконцентрировал внимание на чрезвычайно суженном мире русской девушки, которая хочет только одного — самца, да покрасивее, но непременно наталкивается на дураков, спортсменов, пьяниц, и в этом ее социальная трагедия.

Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более идейно закален на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений, ибо, когда летят бомбы, некогда рассуждать о том, какого они цвета: синие, зеленые или белые.

То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это — акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник — бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Затем у них возникает по смыслу такой разговор: «Ты к евреям как относишься?» — задает анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает: «Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали — еврей, но оказался пьющим человеком!..»

А Лев Уфлянд¹ еще больше подливает желчи, плюет на русский народ. Он заставляет нашего рабочего человека ползать под прилавками пивных, наделяет его самыми примитивными мыслями, а бедные русские женщины бродят по темным переулкам и разыскивают среди грязи мужей.

И в такой «дикой» стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть, даже и не имевшими человеческого обличия, вещает «поэтесса» Елена Кумпан. Она поднимается от этой «страшной» жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом.

Заключил выступление известный по газетным фельетонам, выселавшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он, как синагогальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы —

¹ Сам ты — лев. Уфлянда зовут Владимир. (Примеч. автора.)

русские люди, которых он иносказательно называет «собаками».

Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.

Подводя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о полном единодушии присутствующих.

Мы убеждены, что паллиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями. Поэтому мы требуем:

1. Ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга.

2. Полного пересмотра состава руководства Комиссии по работе с молодежью ЛОСП РСФСР.

3. Пересмотра состава редколлегии альманаха «Молодой Ленинград», который не выражает интересы подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в выпуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними «молодых литераторов».

Руководитель литературной секции

Ленинградского клуба «Россия»

при обкоме ВЛКСМ

(В. Щербаков)

Члены литсекции

(В. Смирнов)

(Н. Утехин)

4.2.68

Стоит ли комментировать этот зловеющий, пошлый и безграмотный документ? Надо ли говорить, что это — смесь вранья и демагогии? Однако, заметьте, приемы тридцать восьмого года жизнестойки. Письмо вызвало чуткую реакцию наверху. Требования «подлинных советских ленинградцев» были частично удовлетворены. Руководители Дома Маяковского получили взыскания. Директора попросту сняли. «Молодой Ленинград» возглавил Кочурин — человек невзрачный, загадочный и опасный.

Единственное, чего не добились авторы, — так это привлечения молодых литераторов к уголовной ответственности. А впрочем, поживем — увидим...

Примечание

Читая это заявление, я, разумеется, негодовал. Однако при этом слегка гордился. Ведь эти бандиты меня, так сказать, похвалили. Отметили, что называется, литературные способности.

Вот как устроен человек! Боюсь, не я один...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Один наш знакомый горделиво восклицал:
«Меня на работе ценят даже антисемиты!»
Моя жена в ответ говорила:
«Гитлера антисемиты ценили еще больше...»

Печально я гляжу...

Язвительное пророчество Анатолия Наймана сбывалось. Я становился «прогрессивным молодым автором». То есть меня не печатали. Все, что я писал, было одобрено на уровне рядовых журнальных сотрудников. Затем невидимые инстанции тормозили мои рукописи. Кто управляет литературой, я так и не разобрался...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Вера Панова рассказывала.

Однажды ей довелось быть на приеме в Кремле. Выступал Никита Хрущев. Он как следует выпил и поэтому говорил долго. В частности, он сказал:

«У дочери товарища Полянского была недавно свадьба. Молодым преподнесли абстрактную картину. Она мне решительно не понравилась...»

Через три минуты он сказал:

«В доме товарища Полянского была, как известно, свадьба. И вдруг начали танцевать... как его? Шейк! Это было что-то жуткое...»

И наконец, он сказал:

«Как я уже говорил, в доме товарища Полянского играли свадьбу. Молодой поэт читал стихи. Они показались мне слишком заумными...»

Тут Панова не выдержала. Встала и говорит Хрущеву:

«Все ясно, дорогой Никита Сергеевич! Эта свадьба явилась могучим источником познания жизни для вас...»

Естественно, что я подружился с такими же многострадальными голодными авторами. Это были самолюбивые, измученные люди. Официальный неуспех компенсировался болезненным тщеславием. Годы жалкого

существования отражались на психике. Высокий процент душевных заболеваний свидетельствует об этом. Да и не желали в мире призраков соответствовать норме.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то раз Найман и Губин поссорились. Заспорили — кто из них более одинок.

Конечкий и Базунов чуть не подрались. Заспорили — кто из них опаснее болен.

Шигашов и Горбовский вообще прекратили здороваться. Заспорили — кто из них менее нормальный.

«До чего же ты стал нормальный!» — укорял приятеля Шигашов.

«Я-то ненормальный,— защищался Горбовский,— абсолютно ненормальный. У меня есть справка из психоневрологического диспансера... А вот ты — не знаю. Не знаю...»

Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом, выбивала из будничной житейской колеи. Можно быть рядовым инженером. Рядовых изгоев не существует. Сама их чужеродность — залог величия.

Те, кому удавалось печататься, жестоко расплачивались за это. Их душевный аппарат тоже подвергался болезненному разрушению. Многоступенчатые комплексы складывались в громоздкую безобразную постройку. Цена компромисса была непомерно высокой...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то раз Битов ударил Андрея Вознесенского. Битова подвергли товарищескому суду. Плохи были его дела.

«Выслушайте меня,— сказал Битов,— и поймите! Я расскажу вам, как это произошло! Стоит мне рассказать, и вы убедитесь, что я действовал правильно. И тогда вы сразу же простите меня. Дайте мне высказаться. Вот как это было. Захожу я в ресторан. Стоит Андрей Вознесенский. А теперь скажите, мог ли я не дать ему по физиономии?!»

Ну и конечно же здесь царил вечный спутник русского литератора — алкоголь. Пили много, без разбору, до самозабвения и галлюцинаций.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды после жуткого запоя Вольф и Копелян уехали на дачу. Так сказать, на лоно природы.

Наконец вышли из электрички. Копелян, указывая пальцем, дико закричал:

«Смотри! Смотри! Живая птица!..»

Увы, я оказался чрезвычайно к этому делу предрасположен. Алкоголь на время примирял меня с действительностью.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды меня приняли за Достоевского. Это было так. Я выпил лишнего. Сел в автобус. Отправился по делам.

Рядом оказалась девушка, и я заговорил с ней. Просто чтобы не уснуть.

Автобус шел мимо ресторана «Приморский», когда-то он назывался — «Чванова». И я, слегка качнувшись, произнес:

— Обратите внимание, любимый ресторан Достоевского!

Девушка отодвинулась и говорит:

— Оно и видно, молодой человек!..

Пьяный Холоденко шумел:

— Ну и жук этот Фолкнер! Украл, паскуда, мой сюжет!..

Относился я к товарищам сложно, любил их, жалел. Издевался, конечно, над многими. То и дело заводил приличную компанию, но всякий раз бежал, цепенея от скуки. Конечно, это снобизм, но говорить я мог только о литературе. Даже разговоры о женщинах казались мне всегда невыносимо скучными.

По отношению к друзьям владели мной любовь, сарказм и жалость. Но в первую очередь — любовь.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Горбовский, многодетный отец, рассказывал:

— Иду вечером домой. Смотрю, в грязи играют дети. Присмотрелся — мои...

Инга Петкевич как-то раз говорит мне:

— Когда мы были едва знакомы, я подозревала, что ты — агент госбезопасности.

— Но почему? — спросил я.

— Да как тебе сказать... Явишься, займешь пятерку — своевременно отдашь. Странно, думаю, не иначе как подослали...

Поэт Охупкин надумал жениться. Затем невесту выгнал. Мотивы:

— Она, понимаешь, медленно ходит. А главное — ежедневно жрет...

Позвольте расписаться

Молодой писатель Рид Грачев страдал шизофренией. То и дело лечился в психиатрических больницах. Когда болезнь оставляла его, это был умный, глубокий

и талантливый человек. Он выпустил единственную книжку — «Где твой дом». В ней шесть рассказов, трогательных и сильных.

Когда он снова заболел, я навещал его в Удельной. Разговаривать с ним было тяжело.

Потом он выздоровел.

Журналист по образованию, Рид давно бросил газетное дело. Денег не было. Друзья решили ему помочь. Литературовед Тамара Юрьевна Хмельницкая позвонила двадцати шести знакомым. Все согласилось давать ежемесячно по три рубля. Требовался человек, обладающий досугом, который бы непосредственно всем этим занимался.

Я тогда был секретарем Пановой, хорошо зарабатывал и навещал ее через день. Тамара Юрьевна предложила мне собирать эти деньги и отвозить Риду. Я, конечно, согласился.

У меня был список из двадцати шести фамилий. Я принялся за дело. Первое время чувствовал себя неловко. Но большинство участников мероприятия легко и охотно выкладывали свою долю.

Алексей Иванович Пантелеев сказал:

— Деньги у меня есть. Чтобы не беспокоить вас каждый месяц, я дам тридцать шесть рублей сразу. Понадобится больше — звоните.

— Спасибо,— говорю.

— Это вам спасибо...

Метод показался разумным. Звоню богачу Даниилу Гранину. Предлагаю ему такой же вариант. Еду на Петроградскую. Незнакомая дама выносит три рубля. Эти не предлагает.

Мы стояли в прихожей. Я сильно покраснел. Взгляд говорил, казалось:

— Смотри не пропей!

А мой, казалось, отвечал:

— Не извольте сумлеваться, ваше благородие...

У литератора Брянского я просидел часа два. Все темы были исчерпаны. Денег он все не предлагал.

— Знаете,— говорю,— мне пора.

Наступила пауза.

— Я трешку дам,— сказал он,— конечно, дам. Только, по-моему, Рид Грачев не сумасшедший.

— Как не сумасшедший?

— А так. Не сумасшедший, и все. Поумнее нас с вами.

- Но его же лечили! Есть заключение врача...
- Я думаю, он притворяется.
- Ладно,— говорю,— мы собираем деньги не потому, что Рид больной. А потому, что он наш товарищ. И находится в крайне стесненных обстоятельствах.
- Я тоже нахожусь в стесненных обстоятельствах. Я продал ульи.
- Что?!
- Я имел семь ульев на даче. И вынужден был три улья продать. А дача — вы бы поглядели! Одно название...
- Что ж, тогда я пойду.
- Нет, я дам. Конечно, дам. Просто Рид не сумасшедший. Знаете, кто действительно сумасшедший? Лерман из журнала «Нева». Я дал в «Неву» замечательный исповедальный роман «Одержимость», а Лерман мне пишет, что это «гипертрофированная служебная характеристика». Вы знаете Лермана?
- Знаю,— говорю,— это самый талантливый критик в Ленинграде...
- С писателем Рафаловичем встреча была короткой.
- Вот деньги,— сказал он,— где расписаться?
- Нигде. Это же неофициальное мероприятие.
- Ясно. И все-таки для порядка?
- Вы не беспокойтесь,— говорю,— я деньги передам.
- Как вам не стыдно! Я вам абсолютно доверяю. Но я привык расписываться. Иначе как-то несолидно...
- Ну, хорошо. Распишитесь вот тут.
- Это же ваша записная книжка.
- Да, я собираю автографы.
- А что-нибудь порядка ведомости?
- Порядка ведомости — нету.
- Рафалович со вздохом произнес:
- Ладно. Берите так...
- Короче, уклонился я от этого поручения. Мои обязанности взяла на себя Тамара Юрьевна Хмельницкая. Помочь Риду не удалось. Он совершенно невменяем...

Мерзавец Кондрашев

Есть один документ, характеризующий наши литературно-издательские порядки. (Копия снята в Ленинградском обкоме.) Предыстория документа такова.

Вышла нашумевшая книга — «Мастера русского стихотворного перевода». Ей была предпослана статья Эткинда. Коротко одна из его мыслей заключалась в следующем. Большие художники не имели возможности печатать оригинальные стихи. Чтобы заработать на хлеб, они становились переводчиками. Уровень переводов возрос за счет качества литературы в целом.

Теперь читаем:

*Заведующему Отделом культуры
Ленинградского обкома КПЭС
тов. Александрову Г. П.*

Клеветническое утверждение Е. Эткинда о характере развития нашей литературы в советский период во вступительной статье к книге «Мастера русского стихотворного перевода» не может не вызвать у меня возмущения.

Хотя с января 1968 года редакция «Библиотеки поэта» не подведомственна мне в смысле прохождения рукописей, но я, как руководитель отделения издательства, как коммунист, не имею права оправдывать себя юридическим невмешательством. Есть сторона политико-моральная, обязывающая каждого члена партии любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии.

Строгие административные меры, которые будут предприняты руководством издательства к людям, непосредственно допустившим антисоветский выпад Эткинда, — это естественно, но главный вывод из случившегося, главное состоит в том, чтобы повысить в издательстве воспитательную работу в соответствии с решением апрельского Пленума ЦК КПСС, исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды, чуждые социалистической идеологии нашего общества.

*Директор Ленинградского отделения
издательства «Советский писатель»
Г. Ф. Кондрашев*

11.10.68

Чего можно ждать от издательств, если «ключевые позиции» в них занимают такие люди?..

В тени чужого юбилея

Летом 68-го года меня отыскал по телефону незнакомый человек. Назвался режиссером Аристарховым. Сказал, что у него есть заманчивое предложение.

Мы встретились. Режиссер производил впечатление человека, изнуренного многодневным запоем. (Что с готовностью и подтвердил.) Вид его говорил о тяжком финансовом бессилии.

Аристархов предложил мне написать сценарий документального фильма о Бунине. Приближался юбилей нобелевского лауреата.

Я позвонил моему бедствующему товарищу филологу Арьеву. Вдвоем мы написали заявку на шестнадцати страницах.

Мы любовались своим произведением. В нем были четко сформулированы идейные предпосылки. Все-таки Бунин — эмигрант. Бежал от коммунистов, скончался в эмиграции. При этом — классик русской литературы. Один из четырех русских нобелевских лауреатов.

Мы выдвинули термин «духовная репатриация» Бунина и очень этим гордились. Упомянув о приближающемся столетии Бунина, мы взывали к чувству национальной гордости. Мы украсили заявку готовыми фрагментами будущего сценария. Наконец, выразили скромную готовность посетить Францию, чтобы тщательнее исследовать архивы Бунина.

Аристархов восхищался нашим кинематографическим чутьем. Ведь опыта мы не имели.

— Саму заявку можно экранизировать, — говорил Аристархов, — я ее не только чувствую, я ее вижу!

Его левый карман был надорван. Полуботинки требовали ремонта. Шнурки отсутствовали.

То и дело он начинал бредить:

— Экипаж с поднятым верхом... Галки фиолетовыми пятнами отражаются в куполе собора... Стон колодезного журавля... Веранда... Брошенный мольберт...

Далее он цитировал стихи Бунина:

— Что ж, камин затоплю, буду пить...

И Аристархов действительно запил. Бунин отодвинулся на второй план.

— У нас, — говорил режиссер, — есть техническая лаборатория. И там стоит электрофон, который записывает шепот на расстоянии четырехсот метров. Спрашивается, чем же тогда располагает КГБ?..

Аристархов пил месяца два. Мы раздобыли адрес студии. Узнали фамилию редактора. Послали ему заявку, минуя Аристархова. Ответ пришел месяца через три.

*Экспериментальная творческая киностудия
Москва, Воровского, 33.*

Уважаемые товарищи Арьев и Довлатов!

Могу сообщить вам, что заявка на фильм о Бунине произвела яркое впечатление. Чувствуется знание темы, владение материалом, литературная и кинематографическая подготовленность авторов.

Но, увы, экспериментальная творческая киностудия лишена возможности производить документальные фильмы.

Хочу открыть вам маленький секрет — ваша заявка используется в качестве учебного пособия для начинающих авторов.

С уважением и наилучшими пожеланиями
член сценарно-редакционной коллегии ЭТК
24 сентября 1968 г. (Л. Гуревич)

Письмо было довольно загадочным. Мы долго исследовали противоречивый текст. Арьев произнес с каким-то непонятым удовлетворением:

— Нам отказали. Причины не имеют значения.
Через неделю я получил открытку из Москвы:

Наивный Сережа!

Гуревичу не верьте. Вот истинные причины отказа. Бунин нахально родился в 1870 году. Почти одновременно с товарищем Лениным. Юбилей вождя мирового пролетариата конечно же затмил юбилей белоэмигранта.

Короче, ваш изысканный Бунин провалился. Мой неотесанный Шолохов оплачен и запускается в производство.

Целую. Ваш Евгений Рейн.

Восток есть Восток

Мне позвонил драматург Александр Володин:

— Сергей, хотите заработать?

— Очень,— сказал я.

— Жду вас на «Ленфильме». Приехали двое из Тбилиси. Члены ЦК комсомола Грузии. Окончили в Москве

сценарные курсы. Имеют предписание — снять дипломную художественную короткометражку на «Ленфильме».

— А я-то при чем?

— Сценарий ужасный. Надо его переписать. Тут уже составляют договор. Вы будете третьим соавтором. Заработаете рублей четыреста.

— Ого!

Я приехал на «Ленфильм». Грузины производили сильное впечатление. Это вам не Аристархов! Замшевые куртки, джинсы, ковбойские сапожки... Один представился:

— Джон.

Второй сказал:

— Гриша.

Сценарием они были вполне довольны. Попытку «Ленфильма» навязать им соавтора восприняли мужественно. Это взятка, решили они, которую необходимо дать студии. То есть все правильно. В грузинских традициях.

Я быстро прочитал сценарий. Действительно, жалкое произведение. Дорожная кутерьма с пощечинами. Уцененный Чаплин.

— Картина будет немая, — сказал Джон, — в манере тридцатых годов.

Гриша украдкой заглянул в какие-то бумаги, страшно напрягся и произнес:

— В рамках обусловленного молчания...

Мы уединились, чтобы все обсудить. Джон и Гриша вели себя миролюбиво. Я был неотвратимым злом, той данью, которую гений вынужден платить современному обществу.

С нами заключили договор. Я взял экземпляр сценария, чтобы дома его переписать.

На прощание грузины сказали:

— Мы по своим убеждениям джасис-сс-с...

— Кто? — не понял я.

— Джасис-сс-с...

Я растерялся: «Джазисты, что ли?..»

— Кто? — еще раз спрашиваю.

— Джойсисты, последователи Джойса, — объяснил сообразительный Володин.

Вот уж не подумал бы, читая сценарий. Начинался он так:

«Большой вагон. Сидит Гурам. Билета нет...»

Неделю я переписывал сценарий. В моей редакции он назывался:

«Ослик должен быть худым».

Первые кадры были такие. С нарастающим шумом мчится поезд. Неожиданно замедляет ход. Тормозит. Из окна высовывается машинист. Терпеливо ждет. В чем дело? Камера приближается. Через рельсы переползает майский жук...

Володин текст одобрил:

— Неплохо,— сказал он,— даже здорово!

Я встретился с грузинами. Они внимательно читали текст, передавая друг другу страницы.

Наконец Джон сказал:

— Хороший сценарий. Не хуже того, что был. Я посвящаю его тебе, Гриша!

— А я — тебе, Джон!

Мы отвезли сценарий на «Ленфильм». Через несколько дней позвонил Володин:

— Сергей, я вас жутко подвел. Непредвиденная история. Грузины оказались самозванцами, мошенниками. То есть они действительно члены ЦК комсомола. Но все остальное — липа. Они не заканчивали сценарных курсов. У них фальшивые справки, дипломы, предписания. А «Ленфильм» без особых предписаний короткометражек не снимает. Но деньги вы получите.

Я спросил:

— Грузины арестованы?

— Грузины пьют коньяк в буфете...

Денег я не получил. Зашел к руководителю Второго творческого объединения Дмитрию Молдавскому. Начал ему объяснять, как и что. Молдавский рассеянно улыбался. Вдруг я заметил, что он меня рисует. И довольно похоже. Я понял, что разговаривать с ним бесполезно, и ушел.

Володин говорил потом:

— Знаете, я все понимаю. То, что эти жулики в ЦК,— понимаю. То, что бездарные,— понимаю. То, что у них фальшивые бумаги,— понимаю. То, что «Ленфильм» вам не заплатил,— понимаю. Я одного понять не в силах. Одно мне кажется совершенно непонятным! То, что эти мошенники осмелились не угостить вас коньяком!..

А я вдруг подумал — надо уезжать из Ленинграда...

Вертикальный город

Таллинн называют искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллинна естественно быть чуточку искусственным...

Эстонскую культуру называют внешней. Что ж, и на том спасибо. А ругают внешнюю культуру, я думаю, именно потому, что ее так заметно не хватает гостям эстонской столицы.

В Эстонии — нарядные дети. В Эстонии нет бездомных собак. В Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шерри-бренди из крошечных рюмок...

Почему я отправился именно в Таллинн? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?..

Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина.

Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности.

Мы выехали около часу дня. Двадцать шесть рублей в кармане, журналистское удостоверение, авторучка. В портфеле — смена белья.

Знакомых у меня в Таллинне не было. Было два телефона, кем-то небрежно продиктованных...

Мы приехали вечером. Телефонный звонок. Первая удача — есть где остановиться.

Наутро я уже сидел в кабинете заместителя редактора «Молодежи Эстонии».

Начал печататься как внештатный автор. Затем работал ответственным секретарем в портовой многотиражке. Еще через месяц пригласили в отдел информации «Советской Эстонии».

Материальное и гражданское положение несколько стабилизировалось. Я зарабатывал около трехсот рублей в месяц. Обучился выпивать по-западному: лимон, маслины, жалкие наперстки...

Гонорарная касса работала ежедневно. Напечатался — и в тот же день получай.

Но и тут я опоздал. (Злополучный шапочный разбор.) Эстонские привилегии шли на убыль. Началось с мелочей. Пропала ветчина из магазинов. Затем ввели четыре гонорарных дня. В баре Дома печати запретили торговать коньяком. Кроме этих частностей были также другие, идеологические перемены. Однако не будем забегать вперед...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Это было в Таллинне. Захожу в магазин. Хочу купить застёжку-«молнию», спрашиваю:

«Молнии есть?»

«Нет».

«А где ближайший магазин, в котором они продаются?»

Продавец ответил:

«В Хельсинки...»

У меня появились друзья среди таллиннской интеллигенции. Журналисты, филологи, молодые ученые. Я давал им свои рассказы. Город маленький, все друг друга знают, слухи распространяются быстро. Мне сообщили, что в издательстве ждут, когда я представлю рукопись. Я отобрал шестнадцать самых безобидных рассказов и пошел в издательство.

Редактор Эльвира Кураева встретила меня чрезвычайно приветливо.

Через несколько дней звонит — очень понравилось. Даем на рецензию в Тартуский университет.

— А можно самому Лотману?

— Вообще-то можно. Юрий Михайлович с удовольствием напишет рецензию. Только я не советую. Его фамилия привлечет нежелательный интерес. Пошлем доценту Беззубову. Это очень знающий человек, специалист по творчеству Леонида Андреева. Вы любите Андреева?

— Нет. Он пышный и с надрывом. Мне вся эта компания не очень-то: Горький, Андреев, Скиталец...

— Неважно. Беззубов — человек широкого диапазона.

— Да я не возражаю...

Беззубов написал положительную рецензию. Приводить ее целиком не имеет смысла. Вот последний абзац:

«С. Довлатов является зрелым писателем. Его рассказы обладают несомненными литературными достоинствами».

Через три недели со мной был подписан договор — № 36/ЕИ-74.

О моей книжке заговорили. Руководитель издательства Аксель Тамм объявил, что это лучшая книжка у них за последние годы. В своих интервью корреспондентам газет директор «Ээсти раамат» обязательно называл мою фамилию.

Чем был вызван такой успех? Ведь цену своим рассказам я знаю. Не такие уж они замечательные.

Дело в литературной ситуации. Среди эстонских писа-

телей есть очень талантливые. Например — Ветемаа, Унт, Каплинский, Ардер. На эстонском языке издается все, что они пишут. Оно и понятно, язык локальный, тиражи маленькие. Кто там услышит в Москве?

Молодой эстонский поэт выпустил книгу с фаллосом на обложке. Такой обобщенный, но узнаваемый контур. Не перепутаешь... Я не хочу сказать, что это высокое творческое достижение. Просто факт, свидетельствующий о мягком цензурном режиме.

Разумеется, есть и в эстонской литературе категорические табу — национальный вопрос, к примеру. И тем не менее...

С русским языком дело обстоит несколько иначе. У русских авторов возможностей значительно меньше. Хотя слабая тень эстонских привилегий ложится и на них.

Помимо этого, русская литературная секция в Таллине очень малочисленна. Уже три года здесь не принимали в Союз новых членов. Поэтому мной так и заинтересовались.

Гранки пришли буквально через месяц. Затем — вторая корректура. То есть по срокам нечто фантастическое!..

Позднее я узнал, что рукопись все же тормозили. У кого-то она вызвала законное недоумение. Автор почему-то ленинградец. (Я работал в Эстонии с ленинградской пропиской.) Да и тексты оказались не столь уж безобидными. В общем, тормозили...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Аксель Тамм передал мне один разговор.

Цензор говорит:

«Довлатов критикует армию».

«Где, покажите».

«Это, конечно, мелочи, детали, но все же...»

«Покажите хоть одну конкретную фразу».

«Да вот. «На ремне у дневального болтался штык».

«Ну и что?»

«Как-то неприятно — болтался штык... Как-то легкомысленно...»

Аксель Тамм не выдержал и крикнул цензору:

«Штык — не член! Он не может стоять! Он болтается...»

Как-то вызвал меня главный редактор:

— Слушайте, кто ваши друзья в Ленинграде?

— Трудно сказать. В основном начинающие писатели, художники... А что?

— Да ничего. Я тоже бог знает с кем дружу... В каких-нибудь манифестациях участвовали?

— Божи упаси.

— Бумаги подписывали?

— Какие бумаги?

— Вы меня понимаете. Разные.

— Разные — никогда.

— Странно.

— А что такое?

— Отношение к вам странное.

— Объясните же наконец...

— Ладно. Не переживайте. Все будет хорошо...

Я ожидал верстку. Жизнь представлялась в розовом свете...

Тут самое время отвлечься. Поделиться ярким эстетическим впечатлением.

Черная музыка

В Таллинне гастролировал Оскар Питерсон, знаменитый джазовый импровизатор. Мне довелось побывать на его концерте.

Накануне я пошел к своему редактору:

— Хочу дать информацию в субботний номер. Нечто вроде маленькой рецензии.

Редактор Генрих Францевич Туронок по своему обыкновению напугался:

— Слушайте, зачем все это? Он — американец, надо согласовывать. Мы не в курсе его политических убеждений. Может быть, он троцкист?

— При чем тут убеждения? Человек играет на рояле.

— Все равно, он — американец.

— Во-первых, он — канадец.

— Что значит — канадец?

— Есть такое государство — Канада. Мало того, он — негр. Угнетенное национальное меньшинство. И наконец, его знает весь мир. Как же можно не откликнуться?

Туронок задумался.

— Ладно, пишите. Строк пятьдесят нонпарелью...

Питерсон играл гениально. Я впервые почувствовал, как обесценивается музыка в грамзаписи.

В субботнем номере появилась моя заметка. Воспроизвожу ее не из гордости. Дело в том, что это — единственный советский отклик на гастроли Питерсона.

В его манере — ничего от эстрадного шоу: классический смокинг, уверенность, такт. Белый платок на крышке черного рояля. Пианист то и дело вытирает лоб. Вдохновенный труд, нелегкая работа...

Концерт необычный, без ведущего. Это естественно. Музыкальная тема для импровизатора — лишь повод, формула, знак. Первое лицо здесь не композитор, создавший тему, а исполнитель, утверждающий метод ее разработки.

Исполнитель — неудачное слово. Питерсон менее всего исполнитель. Он — творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство. Искусство легкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок...

Подлинный джаз — искусство самовыражения. Самовыражения одновременно личности и нации. Стил Питерсона много шире традиционной негритянской гармонии. Чего только не услышишь в его богатейшем многоголосии?! От грохота тамтама до певучей флейты Моцарта. От нежного голубиного воркования до рева хозяина джунглей.

О джазе писать трудно. Можно говорить о том, что Питерсон употребляет диатонические и хроматические секвенции. Использует политональные наложения. Добивается гармонических отношений тоники и субдоминанты. То есть затронуть пласты высшей джазовой математики...

Зачем?

Вот он подходит к роялю. Садится, трогает клавиши. Что это? Капли ударили по стеклу, рассыпались бусы, зазвенели тронутые ветром листья?.. Затем все тревожнее далекое эхо. И наконец — обвал, лавина. А потом снова — одинокая, дрожащая, мучительная нота в тишине...

Питерсон играет в составе джазового трио. Барабаны Джейка Хенна — четкий пульс всего организма. Его искусство — суховатая музыкальная графика, на фоне которой — ярче живопись пианиста. Контрабас Нильса Педерсена — намеренно шершавый, замшевый фон, оттеняющий блеск импровизаций виртуоза.

Что сказать в заключение? Я аплодировал громче всех. У меня даже остановились новые часы!..

Захватив номер «Советский Эстонии», я отправился в гостиницу. Питерсон встретил меня дружелюбно. Ему перевели «с листа» мою заметку.

Питерсон торжественно жал мне руку, восклицая: — Это рекорд! Настоящий рекорд! Впервые обо мне написали таким мелким шрифтом!..

Обсуждение в ЦК

Наконец пришла из типографии верстка. Художник нарисовал макет обложки — условный городской пейзаж в серо-коричневых тонах.

Мне позвонил Аксель Тамм. Я заметил, он чем-то встревожен.

— В чем дело? — спрашиваю.

— ЦК Эстонии затребовал верстку. В среду — обсуждение.

Я нервничал, ждал, волновался.

Обсуждение было закрытым. Меня, естественно, не пригласили. То есть это, конечно, не очень естественно. В общем, не пригласили.

Целый день я пил коньяк. Выкурил две пачки «Беломора».

Наконец звонит Эльвира Кураева:

— Поздравляю! Все отлично! Будем издавать!

Позже я узнал, как все это было. Сообщение делал инструктор ЦК Ян Труль. Мне кажется, он талантливо построил свою речь. Вот ее приблизительное изложение:

«Довлатов пишет о городских низах. Его персонажи — ущербные люди, богема. Их не печатают, обижают. Они много пьют. Допускают излишества помимо брака. Чувствуется, рассказы автобиографические. Довлатов и его герои — одно. Можно, конечно, эту вещь запретить. Но лучше — издать. Выход книги будет естественным и логичным продолжением судьбы героев. Выход книги будет частью ее сюжета. Позитивным, жизнеутверждающим финалом. Поэтому я за то, чтобы книгу издать...»

Я ждал сигнального экземпляра. Медленно тянулись дни, полные надежд.

Еще раз позволю себе отвлечься.

Прекрасная Эллен

Однажды сижу я в редакции. Заходит красивая блондинка. Модель с рекламного плаката финской бани.

— Здравствуйте. Меня зовут Эллен.

— Очень приятно.

— Давно хотела с вами познакомиться. Вы любите стихи Цветаевой?

— Кажется, люблю.

— А Заболоцкого?

— Тоже...

Мы беседовали около часа. Я так и не понял, зачем она явилась. На следующий день опять приходит:

— Вам не кажется, что разум есть осмысленная форма проявления чувства?

— Кажется...

Беседуем.

И так — всю неделю.

Я говорю приятелю:

— Миша, что все это значит?

— И ты еще спрашиваешь! Надо брать! Чувиха — в полной боевой готовности. Уж я-то в этих делах разбираюсь...

Мне даже как-то неловко стало. Чего это мы все разговариваем? Так ведь и обидеть женщину недолго...

На следующий день я осторожно предложил:

— Может быть, отправимся куда-нибудь? Выпьем, помолчим...

— О, нет, я замужем.

— А если по-товарищески?

— Не стоит. Это лишнее.

На следующий день опять является. Передумала, наверное.

— Ну как? — говорю. — Тут рядом мастерская одного художника-супрематиста... (Супрематист мне ключ оставил.)

— Ни в коем случае! За кого вы меня принимаете?!

Это продолжалось три недели. Наконец я разозлился:

— Скажите откровенно. Ради чего вы сюда ходите? Что вам нужно от меня?

— Понимаете, у вас язык хороший.

— Что?

— Язык. Литературный русский язык. В Таллинне, конечно, много русских. Только разговаривают они грубо,

примитивно. А вы говорите ярко, образно... Я переводами занимаюсь, мне необходим литературный язык... В общем, я беру уроки. Разве это плохо? Кое-что я даже записываю.

Эллен перелистала блокнот.

— Вот, например: «В чем разница между трупом и покойником? В одном случае — это мертвое тело. В другом — мертвая личность».

— Веселые,— говорю,— мыслишки.

— Зато какая чеканная форма! Можно, я снова приду?..

Прекрасная Эллен! Вы оказали мне большую честь! Ваши переводы — ужасны, но, я думаю, они станут лучше. Мы вместе постараемся...

Загадочный Котельников

Нас познакомили в одной литературной компании. Затем мы несколько раз беседовали в коридоре партийной газеты. Бывший суворовец, кочегар, что-то пишет... Фамилия — Котельников.

Свои рассказы он так и не принес, хотя мы об этом улавливались.

Теперь мне кажется, что я его сразу невзлюбил. Что-то подозрительное в нем обнаружил. А впрочем, это ерунда. Мы были в хороших отношениях. Единственное меня чуточку настораживало: литератор и пролетарий, жил он весьма комфортабельно. Приобретал где-то шикарную одежду. Интересовался мебелью... Нельзя, будучи деклассированным поэтом, заниматься какими-то финскими обоями. А может быть, я просто сноб...

Зачем я рассказываю о Котельникове? Это выяснится чуть позже.

Все рушится

Однажды Котельников попросил на время мои рассказы.

— У меня есть дядя,— сказал он,— главный редактор эстонского кинокомитета. Пусть ознакомится.

— Пусть.

Я дал ему «Зону». И забыл о ней.

И вот пронесся слух — у Котельникова обыск.

Вообще наступила тревожная пора. Несколько молодых преподавателей ТПИ уволили с работы. Кому-то инкриминировали «самиздат», кому-то — чистую пропаганду. В городе шли обыски. Лекторы по распространению грозно хмурили брови.

Чем это было вызвано? Мне рассказывали такую версию.

Группа эстонцев направила петицию в ООН. «Мы требуем демократии и самоопределения... Хотим положить конец насильственной русификации... Действуем в рамках советских законов...»

Через три дня этот меморандум передавали западные радиостанции.

Еще через неделю из Москвы поступила директива — усилить воспитательную работу. А это значит — кого-то уволить. Разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Ну и так далее.

У Котельникова был обыск. Не знаю, в чем он провинился. Дальнейших санкций избежал. Не был привлечен даже в качестве свидетеля.

Среди прочих бумаг у него изъяли мои рассказы. Я отнесся к этому спокойно. Разберутся — вернут. Не из-за меня же весь этот шум. Там должны быть горы настоящего «самиздата».

То есть я был встревожен, как и другие, не больше. Ждал верстку.

Вдруг звонит Эльвира Кураева:

— Книжка запрещена. Подробности не знаю. Больше говорить не могу. Все пропало...

Примерно час я находился в шоке. Потом начал сопоставлять какие-то факты. Решил, что между звонком Эльвиры и обыском у Котельникова есть прямая связь.

Мои рассказы попали в КГБ. Там с ними ознакомились. Восторга, естественно, не испытали. Позвонили в издательство — гоните, мол, этого типа...

Видно, я из тех, на ком решили отыграться.

Звоню Котельникову:

— Кто тобой занимается?

— Майор Никитин.

Я пошел в КГБ. Захожу. Маленькая приемная, стул, две табуретки. Постучал в окошко. Выглянула женщина.

— К майору Никитину.

— Ждите.

Минут десять прошло. Заходит тип в очках. Среднего роста, крепкий, на инженера похож.

— Товарищ майор?

— Капитан Зверев.

— А где майор Никитин?

— В командировке. Изложите ваши обстоятельства. Я изложил.

— Должен навести справки,— говорит капитан.

— Когда мне рукопись вернут?

— Наберитесь терпения. Идет следствие. В ходе его станет ясно, какие бумаги мы приобщим к делу. Позвоните в среду.

— Когда Никитин вернется?

— Довольно скоро.

— А почему мою книжку запретили?

— Вот этого я сказать не могу. Мы к литературе отношения не имеем.

Ладно, думаю, подожду.

Зашел в издательство. Эльвира страшно перепугалась. Увела меня на пожарную лестницу. Я говорю:

— Объясните мне, что происходит?

— Не могу. И более того, не знаю. Просто намекнули, что книга запрещена.

— Намекнули или дали соответствующее указание?

— Это одно и то же.

— Я пойду к Акселю Тамму.

— Не советую. Что вы ему скажете? Я же сообщила вам о запрете неофициально.

— Что-нибудь скажу. Мол, ходят слухи...

— Это несерьезно. Ждите, когда он сам вас известит.

Уже в издательстве мне показалось, что люди здороваются смущенно. На работе — то же самое.

День проходит, второй, третий. Звоню капитану.

— Пока,— говорит,— никаких известий.

— Пусть мне рукопись вернут.

— Я передам. Звоните в пятницу...

Эльвира молчит. На работе какая-то странная обстановка. Или мне все это кажется...

Пятница наступила. Решил не звонить, а пойти в КГБ. Чтобы им было труднее отделаться.

Захожу в приемную. Спускается новый, в очках.

— Могу я видеть капитана Зверева?

— Болен.

— А майор Никитин?

— В командировке. Изложите свои обстоятельства мне...

Я начал понимать их стратегию. Каждый раз выходит новый человек. Каждый раз я объясняю, в чем дело. То есть отношения не развиваются. И дальше приемной мне хода не будет...

Я как дурак изложил свои обстоятельства.

— Буду узнавать.

— Когда мне рукопись вернуть?

— Если рукопись будет приобщена к делу, вас известят.

— А если не будет приобщена?

— Тогда мы передадим ее вашим коллегам.

— В секцию прозы?

— Я же говорю — коллегам, журналистам.

— Они-то при чем?

— Они — ваши товарищи, пинующие люди. Разберутся, как и что...

Товарищи, думаю. Брянский волк мне товарищ...

Я спросил:

— Вы мою рукопись читали?

Просто так спросил, без надежды.

— Читал, — отвечает.

— Ну и как?

— По содержанию, я думаю, нормально... Так себе...

Ну а по форме...

Я смущенно и горделиво улыбнулся.

— По форме, — заключил он, — ниже всякой критики...

Попрощались мы вежливо, я бы сказал — дружелюбно.

В понедельник на работе какая-то странная атмосфера. Здравуются с испугом. Парторг говорит:

— В три часа будьте у редактора.

— Что такое?

— В три часа узнаете.

Подходит ко мне дружок из отдела быта, шепчет:

— Пиши заявление.

— Какое еще заявление?

— По собственному желанию.

— С чего это?

— Иначе тебя уволят за действия, не совместимые с престижем республиканской газеты.

— Не понимаю.

— Скоро поймешь.

Дикая ситуация. Все что-то знают. Один я не знаю...

Написал как дурак заявление. Захожу в кабинет редактора. Люди уже собрались. Что-то вроде президиума образовалось. Курят. Сурово поглядывают. Сели.

— Товарищи,— начал редактор...

Гром небесный

— Товарищи,— начал редактор,— мы собрались, чтобы обсудить... Разобраться в истоках морального падения... Товарищ Довлатов безответственно передал свою рукопись «Зона» человеку, общественное лицо которого... Человеку, которым занимаются соответствующие органы... Нет уверенности, друзья мои, в том... А что, если этой книгой размахивают наши враги?.. Идет борьба двух миров, двух систем... Мы знали Довлатова как способного журналиста... Но это был человек двойной, так сказать... Два лица, товарищи... Причем два совершенно разных лица... Но это второе лицо искажено гримасой отвращения ко всему, что составляет... И вот мы хотим, образно говоря, понять... Товарищи ознакомились с рукописью... Прошу высказываться...

Господи, что тут началось! Я даже улыбался сначала. Заместитель редактора К. Малышев:

— Довлатов скатился в болото... Льет воду на мельницу буржуазии... Опорочил все самое дорогое...

Костя, думаю, ты ли это? Не ты ли мне за стакан портвейна выписывал фиктивные командировки? Сколько было выпито!

Второй заместитель редактора Б. Нейфах:

— У Довлатова все беспросветно, мрачно... Нравственные калеки, а не герои... Где он все это берет?.. Как Довлатов оказался в лагере?.. И что такое лагерь? Символ нашего общества?.. Лавры Солженицына не дают ему покоя...

Ответственный секретарь редакций И. Популовский:

— Довлатов опередил... У Солженицына не так мрачно... Я читал «Ивана Денисовича», там есть положительные эмоции... А Довлатов все перечеркнул...

Заведующий военно-патриотическим отделом И. Гаспль:

— Один вопрос — ты любишь свою родину?

— Как всякий нормальный человек.

Гаспль перебивает:

— Тогда объясни, что произошло? Ведь это же политическая диверсия!..

Я начал говорить. До сих пор мучаюсь. Как я унижился до проповеди в этом зверинце?! Боже мой, что я пытался объяснить! А главное — кому?!

— Трагические основы красоты... «Остров Сахалин» Чехова... «Записки из Мертвого дома»... Босяки... Максим Горький... «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей...»

Нейфах (перебивает):

— Кто это написал? Какой-нибудь московский диссидент?

— Это стихи Некрасова!

Нейфах:

— Не думаю...

Секретарь партийной организации Л. Кокк. Встает, дожидается полной тишины:

— Товарищи! Свойственно ли человеку испражняться? Да, свойственно. Но разве только из этого состоит наша жизнь?.. Существует ли у нас гомосексуализм? Да, в какой-то мере пока существует. Значит ли это, что гомосексуализм — единственный путь?.. Довлатов изображает самое гнусное, самое отталкивающее... Все его герои — уголовники, наркоманы, антисемиты...

Б. Нейфах:

— Антисемитизма мы ему не простим!

И. Гаспль:

— Но есть и проявления сионизма.

К. Малышев:

— В принципе это одно и то же...

Л. Кокк:

— Я много бывал за границей. Честно скажу, живут неплохо... Был я у одного миллионера. Хорошая квартира, дача... Но все это куплено ценой моральной деградации... Вот говорят — свобода! Свобода на Западе есть. Для тех, кто прославляет империализм... Теперь возьмем одежду. Конечно, синтетика дешевая... Помню, брал я мантиль в Стокгольме...

Редактор Г. Туронк:

— Вы несколько отвлеклись.

Л. Кокк:

— Я заканчиваю. Возьмем наркотики. Они, конечно, дают забвение, но временное... А про сексуальную революцию я и говорить не хочу...

Г. Туронок:

— Мне кажется, Довлатов ненавидит простых людей!..

И это он — мне! Тысячу раз отмечалось, что я единственный говорю спасибо машинисткам. Единственный убираю за собой...

И. Популовский:

— А ведь язык у него хороший, образный. Мог бы создать художественные произведения...

Г. Туронок:

— Пусть Довлатов выскажется.

Тут я слегка мобилизовался:

— То, что здесь происходит, отвратительно. Вы обсуждаете неопубликованную рукопись. Это грубое нарушение авторских прав. Прошу не задавать вопросов. Ответить не считаю целесообразным...

Заведующий сельхозотделом протягивает мне валидол. Век ему этого не забуду.

Г. Туронок, смягчаясь:

— Довлатову надо подумать. У него будет время. Мне известно, что он написал заявление... (Значит, моего дружка — подослали.) Мы не будем возражать.

Можно было, конечно, порвать заявление об уходе. Только зачем все это?! Победить в такой ситуации невозможно...

И я сказал:

— Увольняясь, я делаю себе маленький подарок. Это — легкая компенсация за то, что я пережил в издательстве... Здесь нечем дышать!.. Вы будете стыдиться этого беззакония...

Коридоры власти

Я пошел в ЦК к знакомому инструктору Трулю. Было ясно, что он в курсе событий.

— Что же это такое? — спрашиваю.

Инструктор предупреждающе кивнул в сторону телефона:

— Выйдем.

Работник ЦК Эстонии и бывший журналист партийной газеты совещались в уборной.

— Есть один реальный путь, — сказал инструктор, — ты устраиваешься на завод чернорабочим. Потом становишься бригадиром. Потом...

— Директором завода?

— Нет, рабкором. Молодежная газета печатает тебя в качестве рабкора. Через два года ты пишешь о заводе книгу. Ее издадут. Тебя принимают в Союз. И так далее...

— Подожди, Ваня. Для чего же мне идти на завод? У меня, слава Богу, есть профессия, которую я люблю.

— Тогда не знаю...

— Ты мне лучше объясни, что это за люди! Я же с ними два года работал. Хоть бы одно слово правды! Там были деятели, которые читали мои вещи. Читали и хвалили, а теперь молчат...

— Удивляться тут нечему. Ты же и выбрал эту среду. А теперь удивляешься...

— А твоя среда лучше?

— Не сказал бы. Бардак, конечно, повсюду. В том числе и на заводе. Однако не такой... Послушай моего совета. Завод — это далеко не худший вариант...

Я позвонил в КГБ. Разыскал Никитина. Видно, ему уже не стоило прятаться.

Я все изложил.

— Позвольте, — говорит Никитин, — что вам, собственно, угодно? Мы передали рукопись вашим товарищам. Обращайтесь к ним. Литература вне нашей компетенции...

Я хотел выявить конкретное лицо, распорядившееся моей судьбой. Обнаружить реальный первоисточник моей неудачи. Поговорить, наконец, с человеком, обладающим безоговорочной исполнительной властью. Но это лицо оставалось во мраке. Вместо него действовали марионетки, призраки, тени...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Марамзин говорил:

— Если дать рукописи Брежневу, он прочитает и скажет: «Мне-то лично нравится. А вот что подумают наверху?!»

Я спросил Акселя Тамма:

— От кого лично вы получили инструкцию?

— От своего прямого начальника.

— Могу я с ним поговорить?

— Бесполезно. Он скажет — идите к Акселю Тамму.

Ловко придумано. Убийца видит свою жертву. Поэтому ему доступно чувство сострадания. В критическую секунду он может прозреть. Со мной поступили иначе.

Убийца и в глаза меня не видел. И я его не видел. Даже не знал его имени. То есть палач был избавлен от укоров совести. И от страха мщения. От всего того, что называется мерзким словом «эксцессы».

Одно дело треснуть врага по голове алебардой. Или пронзить штыком. Совсем другое — нажать, предположим, кнопку в Азии и уничтожить Британские острова...

В общем, круг замкнулся. Комитет просигналил Туронку. Туронку, одержимый рвением холоя, устроил весь этот спектакль. Издательство умыло руки. Что им готовый типографский набор?! Подумаешь, убытки... Государство не обеднеет. У него можно красть до бесконечности...

Я пошел к Григорию Михайловичу Скульскому. Бывший космополит, ветеран эстонской литературы мог дать полезный совет.

Григорий Михайлович сказал:

— Вам надо покаяться.

— В чем?

— Это неважно. Главное — в чем-то покаяться. Что-то признать. Не такой уж вы ангел.

— Я совсем не ангел.

— Вот и покайтесь. У каждого есть, в чем покаяться.

— Я не чувствую себя виноватым.

— Вы курите?

— Курю, а что?

— Этого достаточно. Курение есть вредная, легкомысленная привычка. Согласны? Вот и напишите:

«Раскаиваясь в своем легкомыслии, я прошу...»

А дальше — про книжку. Покайтесь в туманной, загадочной форме. Напишите Кэбину...

— А вам приходилось каяться?

— Еще бы. Сколько угодно. Это мое обычное состояние.

— В чем?

— В том, что я готовил покушение на Уборевича. К счастью, в этот момент Уборевича арестовали. За покушение на Блюхера, если не ошибаюсь. А Блюхера — за покушение на Якира. А Якира...

Таллиннская эпопея завершалась. Я уезжал в красивом ореоле политических гонений. Какие-то люди украдкой жали мне руки:

— Ты не один, старик!

Ходили слухи, что я героически нес крамольный транспарант от Мустамая до здания ЦК. А выступал — не то за легализацию бриджа, не то за освобождение штангиста Мейуса, который из ревности придушил свою жену...

Я убедился, что все бесполезно. Купил билет до Ленинграда. Перед отъездом написал Кэбину.

*Первому секретарю ЦК КП Эстонии
тов. Кэбину И. Г.
от корреспондента «Советской Эстонии»
С. Довлатова*

Уважаемый Иван Густавович!

Решаюсь обратиться к Вам в связи с личным делом, исключительно важным для меня. Вот его суть.

С 1965 года я занимаюсь журналистикой. С 1968-го — член Союза. С лета 1973 года — корреспондент «Советской Эстонии».

В сентябре 1973 года я представил в издательство «Ээсти раамат» сборник под общим названием «Городские рассказы». Книга была положительно отрецензирована, со мной заключили договор. К началу 1975 года она прошла все инстанции, была набрана и одобрена в ЦК КПЭ. Одновременно готовилось издание небольшой детской повести.

Трудно выразить, как много значит для начинающего автора первая книга. Ведь я ждал ее более десяти лет.

И вот оба сборника (один из них совершенно готовый к печати) запрещены. Что же произошло?

Дело в том, что месяца три назад я передал часть моих рукописей некоему В. Котельникову, с которым не был достаточно хорошо знаком. В. Котельников намеревался показать их своему родственнику, главному редактору Кинокомитета тов. Бельчикову, суждения которого могли быть мне полезны.

Затем мне стало известно, что подборка моих рассказов «Зона» объемом в 110 машинописных страниц изъята у Котельникова сотрудниками КГБ, а сам Котельников причастен к делу, по которому ведется следствие. Повторяю, ничего предосудительного о Котельникове мне известно не было. Рукопись передавалась с деловой и творческой целью.

«Зона» — это подборка рассказов, написанных 9—12 лет назад. Они представляют собой записки надзира-

теля исправительно-трудовой колонии особого режима. Они построены на автобиографическом материале. Считаю возможным добавить, что за время службы я неоднократно поощрялся грамотами и знаками воинского отличия.

Рассказы эти — первые опыты начинающего автора, подавленного и несколько бравирующего экзотичностью пережитого материала. Я собирался продолжить работу над ними. В окончательный вариант моей первой книги эти рассказы не входят.

Я надеюсь и предполагаю, что «Зона» при всем ее несовершенстве не могла быть и не стала орудием антисоветской пропаганды, и уж во всяком случае я категорически не имел такого намерения.

Раскаиваясь в своем легкомыслии, я думаю все-таки, что наказание — запрет на мою книгу — превосходит мою непредумышленную вину.

Всю свою сознательную жизнь я мечтаю о профессиональной литературной деятельности. С первой книгой, после 10 лет ожидания, связаны все мои надежды. Закрывая мне надолго дорогу к творчеству, литературные инстанции приводят меня к грани человеческого отчаяния. Именно это, поверьте, глубокое чувство заставляет меня претендовать на Ваше время и Вашу снисходительность.

С уважением

3 марта 1975 года.

С. Довлатов

Через два месяца в Ленинград пришел ответ:

№ 7/32

ЦК КП Эстонии не может рекомендовать Вашу книгу к изданию по причинам, изложенным Вам в устной беседе в секторе ЦК.

Зам. зав. отделом
пропаганды и агитации
ЦК КП Эстонии
(Х. Маннермаа)

25 апреля 1975 г.

Что еще за устная беседа в секторе ЦК? Был частный разговор с Трулем. И не в секторе ЦК, а в галюне. Я написал в издательство:

*Директору издательства «Ээсти раамат»
от автора Довлатова С. Д.
Копия — в отдел пропаганды ЦК КПЭ
тов. Трулю Я. Я.*

Уважаемый товарищ директор!

В июне 1974 года издательство заключило со мной договор на книгу рассказов. До этого рукопись была положительно отрецензирована доцентом ТГУ В. Беззубовым. Редактор Э. Кураева проделала значительную работу. Книгу сдали в набор. Появились гранки, затем верстка. Шел нормальный издательский цикл. Внезапно я узнал, что книга таинственным образом приостановлена. Никаких официальных сведений ни в одной из инстанций я получить не смог. Причины запрета доходили до меня в виде частных, нелепых и фантастических слухов.

За книгу, мистическим способом уничтоженную, я получил 100% авторского вознаграждения. И это единственный акт, доступный моему пониманию.

Повторяю, официальная версия запрета мне не известна.

Настоятельно прошу Вас разобраться в этом деле.

С уважением С. Довлатов.

1 окт. 1975 г.

Ответ:

*Государственный комитет совета министров ЭССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Копия — в отдел пропаганды ЦК КПЭ*

Издание Вашей книги было остановлено по известным Вам причинам. В настоящее время вернуться к вопросу ее издания не представляется возможным также потому, что республиканское издательство по существующему положению издает на русском языке лишь произведения местных авторов.

Директор (Р. Сийрак)

Я снова написал. В последний раз:

*Директору издательства «Ээсти раамат»
тов. Сийраку
Копия — в отдел пропаганды ЦК КПЭ*

Уважаемый товарищ Сийрак!

Вы, очевидно, принимаете меня за идиота. Чем еще

объяснить характер Вашего письма? Я спрашиваю о причинах; по которым не издают мою книгу, Вы отвечаете: «...По известным Вам причинам». И дальше: издательство публикует только местных авторов. Это после того, как со мной заключили договор, выплатили мне гонорар и книга прошла весь издательский цикл. Не скрою, Ваша отписка показалась мне издевательской.

Еще раз объясняю: литература — дело моей жизни. Вы ставите меня в положение, при котором нечего терять.

Простите за резкость.

С уважением С. Довлатов.

12 ноября 1975 г.

Ответа не последовало.

Возвращение

Три года я не был в Ленинграде. И вот приехал. Встретился с друзьями. Узнал последние новости.

Хейфиц сидит. Виньковецкий уехал. Марамзин уезжает на днях.

Поговорили на эту тему. Один мой приятель сказал:

— Чем ты недоволен, если разобраться? Тебя не печатают?! А Христа печатали?!. Не печатают, зато ты жив... Онв тебя не печатают! Подумаешь!.. Да ты бы их в автобус не пустил! А тебя всего лишь не печатают...

Перспективы были самые туманные. Раньше мы хоть в Союз писателей имели доступ. Читали свои произведения. Теперь и этого не было.

Вообще я заметил, что упадок гораздо стремительнее прогресса. Мало того, прогресс имеет границы. Упадок же — беспределен...

Когда-то мы обсуждали рукописи с низовыми чиновниками. Журналы вели с авторами демагогическую переписку. Сейчас все изменилось. Рукописи тормозились на первом же этапе.

Я отнес рассказы в «Аврору» и в «Звезду». Ирма Кудрова («Звезда») ответила мне по телефону:

— Понравилось. Но вы же знаете, как это бывает. То, что нравится мне, едва ли понравится Холопову.

В «Авроре» произошла совсем уж дикая история. Лена Клепикова рассказы одобрила. Передала их новому заведующему отделом — Козлову. К этому времени у него скопилось рукописей — целая гора. Физически сильный

Козлов отнес все это на помойку. Разве можно такую гору прочесть?! Да еще малограмотному человеку...

Я получил из «Авроры» экземпляр одного из своих рассказов. И записку на бланке:

«АВРОРА»

*Общественно-политический и литературно-художественный
ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ, Союза писателей
РСФСР и Ленинградской писательской организации*

Дорогой Сережа!

Вот нашла экземпляр, сохранившийся после разбоя, учиненного Козловым. И это все. Остальное, как вы знаете, пропало.

Будьте здоровы.

Лена

10 марта 1975 года.

С Козловым я в дальнейшем познакомился. Напыщенный и глупый человек. Напоминает игрушечного Хемингуэя...

Я перелистал ленинградские журналы. Тяжелое чувство охватило меня. Не просто дрянь, а какая-то безликая вязкая серость. Даже названия почти одинаковые: «Чайки летят к горизонту», «Отвечаю за все», «Продолжение следует», «Звезда на ладони», «Будущее начинается сегодня»...

Будет ли этому конец?!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Лениздат выпустил книжку. Под фотоиллюстрацией значилось: «Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа и гвоздь, которым Боснюк ранил немецкого офицера...»

Широко жил товарищ Боснюк...

Знаменитый писатель Раевский опубликовал новеллу из дореволюционной жизни. В ней была такая фраза:

«Светлые локоны горничной выбивались из-под ее кружевного фартука...»

Костер

Я искал работу. Сунулся в многотиражку ЛОМО. После республиканской газеты это было унижительно. К счастью, работа оказалась временной.

Тут мне позвонил Воскобойников. Он заведовал прозой в «Костре». Литсотрудник Галина уходила в декретный отпуск. Воскобойников предлагал ее заменить:

— Галины не будет месяцев шесть. А к тому времени она снова забеременеет...

Я был уверен, что меня не возьмут. Все-таки орган ЦК комсомола. А я как-никак скатился в болото. Опорочил все самое дорогое...

Недели три решался этот вопрос. Затем меня известили, что я должен в среду приступить к работе.

Это было для меня приятной неожиданностью. Уверен, что мою кандидатуру согласовывали в обкоме. Так положено. А значит, обком не возражал. Видно, есть такая метода — не унижать до предела. Не вынуждать к опрометчивым поступкам.

Я спросил Воскобойникова:

— Кого мне опасаться в редакции?

Валерий ответил быстро и коротко:

— Всех!

Об этом человеке стоит рассказать подробнее. Начиная Воскобойников с группой очень талантливой молодежи. С Поповым, Ефимовым, Битовым, Марамзиным. Неглупый и даровитый, он быстро разобрался в ситуации. Понял, что угодить литературным хозяевам несложно. Лавры изгоя его не прельщали. Воскобойников начал печататься.

Его литературные данные составляли оптимальный вариант. Ведь полная бездарность — нерентабельна. Талант — настораживает. Гениальность — вызывает ужас. Наиболее ходкая валюта — умеренные литературные способности.

Воскобойников умерил свой талант. Издал подряд шестнадцать книг. Первые были еще ничего. Но с каждым разом молодой писатель упрощал свои задачи. Последние его книги — сугубо утилитарны. Это — биографии вождей, румяные политические сказки. Производил их Воскобойников умело, быстро, доброкачественно. Получше, чем многие другие.

Он растерял товарищей своей молодости. Беспредельная уступчивость и жажда комфорта превратили его в законченного функционера.

Оставив живую творческую среду, Воскобойников не примкнул и к разветвленной шайке литературных мешочников. Наглухо застрял между этажами.

Женственная пугливость делала его игрушкой любого

злодейского начинания. За каждым новым падением следовало искреннее раскаяние. И в конечном счете — полное безысходное одиночество.

К Воскобойникову относились скептически. Причем как литературные вельможи, так и художественная богема. Его угодливая робость вызывала презрение начальства. Высокий материальный статус законно раздражал бедняков.

К чести Воскобойникова добавлю — он едва ли заблуждался на собственный счет. Он знал, что делает. Наглядно мучился и принимал какие-то решения. Вся жизнь его свидетельствует — нет большей трагедии для мужчины, чем полное отсутствие характера.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Писателю Воскобойникову дали мастерскую. Там не было уборной. Находилась мастерская рядом с вокзалом. Так что Воскобойников пользовался железнодорожным сортиром. Но было одно затруднение. После двенадцати ночи вокзал охраняли милиционеры. В здание пропускали лишь граждан с билетами. Тогда Воскобойников приобрел месячную карточку до ближайшей станции. Если не ошибаюсь, до Боровой. Стоила карточка рубля два. Полторы копейки за мероприятие.

Воскобойников стал единственным жителем Ленинграда, который мочился не бесплатно.

Характерная для него история...

Однажды Воскобойникова подвели американские туристы. Может, не явились в гости. Что-то в этом роде.

Воскобойников слегка обиделся, но пошутил:

«Я напишу письмо Джимми Картеру. Что это, мол, за безобразия?! Даже не позвонили!..»

А Бродский Воскобойникову говорит:

«Ты напиши до востребования. А то Джимми Картер ежедневно бегает на почту и все убивается: снова от Воскобойникова ни звука!..»

Честно говоря, ко мне Воскобойников относился неплохо. Вот и теперь сам предложил работу. Хотя вполне мог подыскать более несомненную кандидатуру. В детской прозе я не разбираюсь. Диплома у меня нет. Влиятельных покровителей — тем более. И все-таки он настоял. Меня взяли.

Мне было непонятно, зачем я им понадобился?

Лосев (это было до его отъезда на Запад) пояснил мне:

— Вы человек с какими-то моральными проблесками. А это — большой дефицит. Если взять негодяя, он посте-

пенно вытеснит литсотрудника Галину. А может быть, и самого Воскобойникова. Короче, ваше преимущество — безвредность.

— Это,— говорю,— мы еще посмотрим...

Клубок змей

Я убедился в том, что редакционные принципы неизменны. Система везде одна и та же. Есть люди, которые умеют писать. И есть люди, призванные командовать. Пишущие мало зарабатывают. Чаше улыбаются. Больше пьют. Платят алименты. Начальство же состоит в основном из разросшихся корректоров, машинисток, деятелей профсоюзов.

Чувствуя свое творческое бессилие, эти люди всю жизнь шли надежной административной тропой. Отсутствие профессиональных данных компенсировалось совершенной благонадежностью.

Пишущие не очень дорожат своей работой. Командующие судорожно за нее цепляются. Командиров можно лишить их привилегий. Пишущим нечего терять.

Заместителем редактора «Костра» был старый пионервожатый Юркан. За восемь месяцев я так и не понял, что составляет круг его обязанностей. Неизменно выпивший, он часами бродил по коридору. Порой его начинала мучить совесть. Юркан заходил в одну из комнат, где толпилось побольше народу. Брал трубку:

— Алло! Это метеостанция? Фролова, пожалуйста! Обедает? Простите... Алло! Секция юных натуралистов? Валерия Модестовна у себя? Ах, в отпуске? Извините... Алло! Комбинат бытового обслуживания? Можно попросить Климовицкого? Болен? Жаль... Передайте ему, что звонил Юркан. Важное дело... Алло!..

Секретарша однажды шепнула мне:

— Обрати внимание. Юркан набирает пять цифр. Не шесть, а пять. И говорит разную чепуху в пустую трубку. Симулирует производственное рвение...

Редактировал «Костер» детский писатель Сахарнов. Я прочитал его книги. Они мне понравились. Неприсяжные морские истории.

Он выпускал шесть-семь книжек за год. Недаром считают, что ресурсы океана безграничны.

Дельфины нравились Сахарнову больше, чем люди. Он этого даже не скрывал. И я его понимаю.

Трудолюбивый и дисциплинированный, он занимался собственной литературой. Журнал был для него символом, пакетом акций, золотым обеспечением.

При этом Сахарнов умел быть обаятельным. Обаяние же, как известно, уравновешивает любые пороки. Короче, он мне нравился. Тем более что критерии у меня пониженные...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Михаил Светлов говорил:
«Порядочный человек — это тот, кто делает радости без удовольствия...»

У редактора был денщик, мальчик на побегушках — Орлов. Когда-то редактор возвысил его до штатного места. И вот теперь Орлов демонстрировал рабскую преданность.

В конце дня он ловил Сахарнову такси. Причем стаскивал джемпер и мчался на улицу в рубашке. Особенно зимой. То есть совершал на глазах у босса рискованный подвиг.

Все, что я знал о нем, было таинственно. И уголовно наказуемо. Сначала он хотел всучить мне автограф Льва Толстого, подделанный дрожащей неискусной рукой. Затем — утраченный секрет изготовления тульских пряников.

Потом объявил в журнале тиражом 600 000 конкурсных нумизматов. В редакцию хлынул денежный поток. Школьники высылали свои коллекции. Орлов их беспардонно присваивал.

Вслед за деньгами явился милицейский наряд. Друга малышей едва не посадили года на три. Выручил его Сахарнов...

Отделом спорта заведовал Верховский, добродушный, бессловесный человек. Он неизменно пребывал в глубоком самозабвении. По темпераменту был равен мертвому кавказцу. Любая житейская мелочь побуждала Верховского к тяжким безрезультатным раздумьям.

Однажды я мимоходом спросил его:

— Штопор есть?

Верховский задумался. Несколько раз пересек мой кабинет. Потом сказал:

— Сейчас я иду обедать. Буду после трех. И мы вернемся к этому разговору. Тема интересная...

Прошел час. Мукузани было выпито. Художник Зуев

без усилий выдавил пробку корявым мизинцем. Наконец появился Верховский. Уныло взглянул на меня и сказал:
— Штопора у меня, к сожалению, нет. Есть пидочка для ногтей...

Самой шумной в редакции была Пожидаева. Этаким пятидесятилетний сорванец. Вечно уязвленная, голосистая, заплаканная, она повсюду различала козни и наветы. Начав типографским корректором, она переросла в заведующую. Трагическая жизнь интеллигента, не соответствующего занимаемой должности, превратила ее в оживленную мегеру...

Наибольшую антипатию вызывала у меня Кокорина, ответственный секретарь журнала. Она тоже по злосчастному совпадению начинала корректором. Поиски ошибок стали для нее единственным импульсом. Не из атомов состояло все кругом! Все кругом состояло из непростительных ошибок. Ошибок — мелких, крупных, пунктуационных, стилистических, гражданских, нравственных военных, административных... В мире ошибок Кокорина чувствовала себя телевизионной башней, уцелевшей после землетрясения.

Ходили слухи о ее преклонной девственности. Возможно, эта тягостная биологическая аномалия необратимо исказила ее психику?

Любое проявление жизни травмировало Кокорину. Она ненавидела юмор, пирожные, свадьбы, Европу, косметику, шашки, такси, разговоры, мультипликационные фильмы... Ее раздражали меченосцы в аквариуме...

Помню, она возмущенно крикнула мне:

— Вы улыбались на редакционном совещании!..

На почетном месте в ее шкафу хранилась биография Сталина.

В редакции с Кокориной без повода не заговаривали даже мерзавцы. Просить у нее одолжения считалось абсурдом. Все равно что одолжить у скорпиона жало...

Я работал в «Костре». То есть из жертвы литературного режима превратился в функционера этого режима.

Функционер — очень емкое слово. Занимая официальную должность, ты становишься человеком функции. Вырваться за диктуемые ею пределы невозможно без губительного скандала. Функция подавляет тебя. В угоду функции твои представления незаметно искажаются. И ты уже не принадлежишь себе.

Раньше я, будучи гонимым автором, имел все основания ненавидеть литературных чиновников. Теперь меня самого ненавидели.

Я вел двойную жизнь. В «Костре» исправно душил живое слово. Затем надевал кепку и шел в Детгиз, «Аврору», «Советский писатель». Там исправно душили меня.

Я был одновременно хищником и жертвой.

Первое время действовал более или менее честно. Вынимал из кучи макулатуры талантливые рукописи, передавал начальству. Начальство мне их безразлично возвращало. Постепенно я уподобился моим коллегам из «Невы». На первой же стадии внушал молодому автору:

— Старик, это безнадежно! Не пойдет...

— Но ведь печатаете же бог знает что!..

Да, мы печатали бог знает что! Не мог же я увольняться из-за каждого бездарного рассказа, появившегося в «Костре»!..

Короче говоря, моя редакторская деятельность подвигами не ознаменовалась.

К этому времени журнал безнадежно утратил свои преимущества. Традиции Маршака и Чуковского были преданы забвению. Горны и барабаны заглушили щебетание птиц.

Все больше уделялось места публицистике. Этими материалами заведовал Герман Балувев, хороший журналист из тех, что «продаются лишь однажды». По существу, он был добрым и порядочным человеком. (Как большинство российских алкоголиков.) Но в жестко обозначенных границах своего понимания действительности. Он был слеп ко всему, что лежало за горизонтом его разумения. Кроме того, номенклатурные должности заметно развратили его. Приобщили к малодоступным житейским благам. В этом отношении характерна история с Лосевым.

Американский дядюшка

Лосев заведовал массовым отделом. Проработал в «Костре» четырнадцать лет. Пережил трех редакторов.

Относились к нему в редакции с большим почтением. Его корректный тихий голос почти всегда бывал решающим.

Мало этого, кукольные пьесы Лосева шли в двадцати театрах. Что приносило до шестисот рублей ежемесячно.

Четырехкомнатная квартира, финская мебель, замша, поездки на юг — Лосев достиг всех стандартов отечественного благополучия.

Втайне он писал лирические стихи, которые нравились Бродскому.

Неожиданно Лосев подал документы в ОВИР. В «Костре» началась легкая паника. Все-таки орган ЦК комсомола. А тут — дезертир в редакции.

Разумно действовал один Сахарнов. Он хотел, чтобы вся эта история прошла без лишнего шума. Остальные жаждали крови, требовали собрания, бурных дискуссий. В том числе и Балуюев.

Помню, мы выпивали с ним около здания Штаба. И Балуюев спросил:

— Знаешь, почему уезжает твой друг?

— Видно, хочет жить по-человечески.

— Вот именно. У него в Америке богатый дядя.

Я сказал:

— Да брось ты, Герман! Зачем ему американский дядюшка? У Лосева отец — известный драматург. И сам он зарабатывает неплохо. Так что причина не в этом...

— А я тебе говорю, — не унимался Балуюев, — что дядя существует. Причем миллионер, и даже нефтяной король.

Мне надоело спорить:

— А может, ты и прав...

Еще больше поразило меня другое. В редакции повторялась одна и та же фраза:

«Ведь он хорошо зарабатывал...»

Людам в голову не приходило, что можно руководствоваться какими-то соображениями помимо денежных.

Да и не могло им такое в голову прийти. Ведь тогда каждому следовало бы признать:

«Человек бежит от нас!»

Чем хуже, тем лучше

Летом 76-го года я опять послал книгу в издательство. На этот раз — в «Советский писатель». Впервые я обратился сюда пять лет назад.

Меня тогда познакомили с издательским редактором Фридой Кацас. Фрида предложила мне зайти. Рукопись потом лежала у нее четыре месяца. Я появлялся каждые две-три недели. Фрида опускала полные слез глаза:

— Это так своеобразно...

Однако книга моя так и не была зарегистрирована.

Я не обижался. Знал, что прав у Фриды Германовны никаких.

— Допустим, я отдам вашу книгу на рецензию. А вдруг ее зарежут? Когда еще вы напишете вторую? — уныло шептала она.

— Я уже написал вторую книгу.

— Ее тоже зарежут. Нужно будет ждать третью.

— Я уже написал третью книгу.

— Ее тоже зарежут.

— У меня есть четвертая.

— Ее тоже...

— Пятая...

— И ее...

— Шестая...

К этому времени у меня было шесть готовых сборников.

Фрида хотела мне помочь. Но что она могла — бесправная, запуганная, робкая?!

Теперь я решил действовать четко и официально. Никаких товарищеских переговоров. Регистрирую книгу. Жду рецензии. Потом... Что, собственно, будет потом, я не знал.

Я был уверен, что рукопись мне возвратят. Зачем же спрашивается, шел я в издательство? Неискушенному человеку это трудно объяснить. Казалось бы, все понимаешь. И все-таки надеешься...

Книгу зарегистрировали. Я положил ее на стол Чепурову. Главный редактор увидел название и сразу же заметно поскущел. Он ждал чего-нибудь такого: «Герои рядом» или как минимум — «Душа в строю». А тут — загадочные и неясные — «Пять углов». Может быть, речь идет о пятиконечной звезде? Значит, глумление над символом?

Я ждал три месяца. Потом зашел в издательство.

— Это так своеобразно, — начала была Фрида.

Я вежливо прервал ее:

— Когда будет готова рецензия?

— Я еще не отдавала...

— Почему?
— Хочу найти такого рецензента...
— Не ждите. Отдайте любому. Мне все равно.
— Но ведь книгу зарежут!
— Пускай. Тогда я буду действовать иначе. (Как?)
Мне надоело! Есть у вас какой-нибудь список постоянных рецензентов?

— Есть. Вот он.
— Кто там первый?
— Авраменко.
— Отдайте ему.
— Авраменко поэт. Кроме того, он недавно умер.
— А кто последний?
— Урбан.
— Жив?
— Конечно. Господь с вами...
— Дайте Урбану.
— Действительно. Как я не сообразила?! Урбан — знающий и принципиальный человек. Он поймет, насколько это своеобразно...

Я ждал еще три месяца. Затем написал в издательство:

Уважаемые товарищи!

В июле 1975 года я зарегистрировал у вас книгу «Пять углов» (роман в двух частях). Прошло шесть месяцев. Ни рецензии, ни устного отзыва я так и не получил. За это время я написал третью часть романа — «Судейский протокол». Приступаю к написанию четвертой. Как видите, темпы моей работы опережают издательские настолько, что выразить это можно лишь арифметическим парадоксом!

С уважением С. Довлатов

Смысл и цели этого письма казались мне туманными. Особенно неясным выглядел финал.

Кстати, чаще всего именно такие письма оказываются действенными. Поскольку вызывают у начальства тревогу.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

На одном ленинградском заводе произошел такой случай. Старый рабочий написал директору письмо. Взял лист наждачной бумаги и на оборотной стороне вывел:

«Когда мне, наконец, предоставят отдельное жилье?»

Удивленный директор вызвал рабочего:

«Что это за фокус с наждаком?»

Рабочий ответил:

«Обыкновенный лист ты бы использовал в сортире. А так еще подумаешь малость...»

И рабочему, представьте себе, дали комнату. А директор впоследствии не расстался с этим письмом. В Смольном его демонстрировал на партийной конференции...

Через шесть дней мне позвонили. Рецензия была готова. Так я еще раз убедился, что доля абсурда совершенно необходима в ответственных предприятиях.

До этого мне стало известно, что Урбан готовит положительную рецензию. Общие знакомые говорили, что роман ему понравился.

И вот рецензия готова. Фрида позвонила:

— Заходите.

Я пошел в издательство.

— Рецензия довольно своеобразная, — прошептала Фрида.

Я быстро прочел:

«Сергей Довлатов писать умеет. Речь у него живая и стремительная, характеристики острые и запоминающиеся. Он чувствует психологические ситуации и умеет рисовать их. Диалоги часто включают не только экспрессивную нагрузку, но и серьезные мысли. Вообще по всему тексту рассеяно немало интересных психологических наблюдений, сформулированных остроумно, ярко, можно сказать — в состоянии душевного подъема, открывающих глубину в человеческом сердце, в отношениях между людьми...»

Комплименты насторожили меня. Я, как обычно, деловито заглянул в конец:

«...Издавать роман в подобном виде вряд ли представляется целесообразным...»

Остальное можно и не читать.

Что ж. Примерно этого я и ожидал. И все-таки расстроился. Меня расстроило явное нарушение правил. Когда тебя убивают враги, это естественно. (Мы бы их в автобус не пустили.) Но ведь Урбан действительно талантливый человек.

Знаю я наших умных и талантливых критиков. Одиннадцать месяцев в году занимаются проблемами чередования согласных у Рабиндраната Тагора. Потом им дают

на рецензию современного автора. Да еще и не вполне официального. И тогда наши критики закатывают рукава. Мобилизуют весь свой талант, весь ум, всю объективность. Всю свою неудовлетворенную требовательность. И с этой вершины голодными ястребами кидаются на добычу.

Им скомандовали — можно!

Им разрешили показать весь свой ум, весь талант, всю меру безопасной объективности.

Урбан написал справедливую рецензию. Написал ее так, будто моя книга уже вышла. И лежит на прилавке. И вокруг лежат еще более замечательные сочинения, на которые я должен равняться. То есть Урбан написал рецензию как страстный борец за вечные истины.

Сунулся бы к малограмотному Раевскому! Ему бы показали «вечные истины»! Ему бы показали «объективность»!..

Умный критик прекрасно знает, что можно. Еще лучше знает, чего нельзя...

Я потом его встретил. На вид — рано сформировавшийся гадкий подросток.

Он заговорил с тревожным юмором:

— Хотите, наверное, меня побить?

— Нет, — солгал я, — за что? Вы написали объективную рецензию.

Урбан страшно оживился:

— Знаете, интересная рукопись побуждает к высоким требованиям. А бездарная — наоборот...

Ясно, думаю. Бездарная рукопись побуждает к низким требованиям. В силу этих требований ее надо одобрить, издать. Интересная — побуждает к высоким требованиям. С высоты этих требований ее надлежит уничтожить...

С издательскими хлопотами я решил покончить навсегда. Есть бумага, перо, десяток читателей. И десяток писателей. Жалкая кучка народа перед разведенным мостом...

Потомки Джордано Бруно

Заканчивалась моя работа в «Костре». Литсотрудник Галина возвращалась из декретного отпуска. Опубликовать что-то стоящее я уже не рассчитывал. Подчинился естественному ходу жизни. Являлся к двум и шел обе-

дать. Потом отвечал на запросы уязвленных авторов. Когда-то я сочинял им длинные откровенные письма. Теперь ограничивался двумя строчками:

«Уважаемый товарищ! Ваша рукопись не отвечает требованиям «Костра».

На досуге я пытался уяснить: кто же имеет реальные шансы опубликоваться? Выявил семь категорий:

1. Знаменитый автор, видный литературный чиновник, само имя которого является пропуском. (Шансы — сто процентов.)

2. Рядовой официальный профессионал, личный друг Сахарнова. (Шансы — семь из десяти.)

3. Чиновник параллельного ведомства, с которым необходимо жить дружно. (Пять из десяти.)

4. Неизвестный автор, чудом создавший произведение одновременно талантливое и конъюнктурное. (Четыре из десяти.)

5. Неизвестный автор, создавший бездарное конъюнктурное произведение. (Три из десяти.)

6. Просто талантливый автор. (Шансы близки к нулю. Случай почти уникальный. Чреват обкомовскими санкциями.)

7. Бездарный автор, при этом еще и далекий от конъюнктуры. (Этот вариант я не рассматриваю. Шансы здесь измеряются отрицательными величинами.)

Наконец-то я понял, что удерживает Сахарнова в «Костре». Что привлекло сюда Воскобойникова. Казалось бы, зачем им это нужно? Лишние хлопоты, переживания, административные заботы. Из-за каких-то двухсот пятидесяти рублей. Пиши себе книги...

Не так все просто. Журнал — это своего рода достоинство, валюта, обменный фонд. Мы печатаем Козлова из «Авроры». Козлов печатает нас.... Или хвалит на бюро обкома... Или не ругает... Мы даем заработать Трофимкину («Искорка»). Трофимкин, в свою очередь... И так далее...

Вызывает меня Сахарнов:

— Вы эту рукопись читали?

— Читал.

— Ну и как?

— По-моему, дрянь.

— Знаете, кто автор?

— Не помню. Какой-то Володичев. Или Владимиров.

— Фамилия автора — Рамзес.

— Что значит — Рамзес?! Не пугайте меня!

— Есть в правлении такой Рамзес. Володя Рамзес. Владимиров — его псевдоним... И этот Рамзес, между прочим, ведаёт заграничными командировками. Так что будем печатать.

— Но это совершенно безграмотная рукопись!

— Перепишите. Мы вам аккордно заплатим. У нас есть специальный фонд — «Литобработка мемуаров деятелей революции».

— Так он еще и старый большевик?

— Володе Рамзесу лет сорок. Но он, повторяю, ведаёт заграничными командировками...

В результате я стал на авторов как-то иначе поглядывать. Приезжал к нам один из Мурманска — Яковлев. Привез рассказ. Так себе, ничего особенного. На тему — «Собака — друг человека». Я молчал, молчал, а потом говорю:

— Интересно, в Мурманске есть копченая рыба?

Автор засуетился, портфель расстегнул. Достает копченого леща... Напечатали... Собака — друг человека... Какие тут могут быть возражения?..

Опубликовал Нину Катерли. Принесла мне батарейки для транзистора. Графоман Иван Сабилло устроил мою дочку в плавательный бассейн... В общем, дело пошло. Неизвестно, чем бы все это кончилось. Так, не дай Господь, и в люди пробиться можно...

Тут, к счастью, Галина позвонила, истекал ее декретный отпуск.

Прощай, «Костер»! Прощай, гибнущий журнал с инквизиторским названием! Потомок Джордано Бруно легко расстается с тобой...

Круг замкнулся.

И выбрался я на свет Божий. И пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке...

Круг замкнулся.

Двадцать третье апреля семьдесят шестого года. Раннее утро. Спят волнистые попугайчики Федя и Клава. С вечера их клетку накрыли тяжелым платком. Вот они и думают, что продолжается ночь. Хорошо им живется в неволе...

Вот и закончена книга, плохая, хорошая... Дерево не может быть плохим или хорошим. Расти, моя корявая сосенка! Да не бывать тебе корабельною мачтой! Словом, а не делом отвечаю я тем, кто замучил меня. Словом, а не делом!

Я даже хочу принести благодарность этим таинственным силам. Ведь мне оказана большая честь — пострадать за свою единственную любовь!

А кончу я последней записью из «Соло на ундервуде»:

Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной!

Ленинград, 1976 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

НЕВИДИМАЯ ГАЗЕТА

Предисловие

Пятый год я разгуливаю вверх ногами. С того дня, как мы перелетели через океан. (Если верить, что Земля действительно круглая.)

Мы — это наше безумное семейство, где каждый вечно прав. В конце 79-го года мы дружно эмигрировали. Хотя атмосфера взаимной правоты не очень-то располагает к совместным действиям.

У нас были разнообразные претензии к Советской власти. Мать страдала от бедности и хамства. Жена — единственная христианка в басурманской семье — ненавидела антисемитизм. Крамольные взгляды дочери были незначительной частью ее полного отрицания мира. Я жаловался, что меня не печатают.

Последний год в Союзе был довольно оживленным. Я не работал. Жена уволилась еще раньше, нагрубив чиновнику-антисемиту с подозрительной фамилией — Миркин.

Возле нашего подъезда бродили загадочные личности. Дочка бросила школу. Мы боялись выпустить ее из дома.

Потом меня неожиданно забрали и отвезли в Каляевский спецприемник. Я обвинялся в тунеядстве, притондержательстве и распространении нелегальной литературы. В качестве нелегальной литературы фигурировали мои собственные произведения.

Как говорил Зощенко, тюрьма не место для интеллигентного человека. Худшее, что я испытал там, необходимость оправдаться публично. (Хотя некоторые про-

дельвали это с шумным, торжествующим воодушевлением...)

Мне вспоминается такая сцена. Заболел мой сокамерник, обвинявшийся в краже цистерны бензина. Вызвали фельдшера, который спросил:

— Что у тебя болит?

— Живот и голова.

Фельдшер вынул таблетку, разломил ее на две части и строго произнес:

— Это — от головы. А это — от живота. Да смотри, не перепутай...

Выпустили меня на девятые сутки. Я так и не понял, что случилось. Забрали без повода и выпустили без объяснений.

Может, подействовали сообщения в западных газетах. Да и по радио упоминали мою фамилию. Не знаю...

Говорят, литовские математики неофициально проделали опыт. Собрали около тысячи фактов загадочного поведения властей. Заложили данные в кибернетическую машину. Попросили ее дать оценку случившемуся. Машина вывела заключение: намеренный алогизм... А затем, по слухам, добавила короткое всеобъемлющее ругательство...

Все это кажется мне сейчас таким далеким. Время, умноженное на пространство, творит чудеса.

Пятый год я разгуливаю вверх ногами. И все не могу к этому привыкнуть.

Ведь мы поменяли не общественный строй. Не географию и климат. Не экономику, культуру или язык. И тем более — не собственную природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего.

Я выбрал здешние печали и, кажется, не ошибся. Теперь у меня есть все, что надо. У меня есть даже американское прошлое.

Я так давно живу в Америке, что могу уже рассказывать о своих здешних печалях. Например, о том, как мы делали газету. Недаром говорят, что Америка — страна зубных врачей и журналистов.

Оказалось, быть русским журналистом в Америке — нелегкое дело. Зубным врачам из Гомеля приходится легче.

Однако мы забежали вперед.

Дом

Мы поселились в одной из русских колоний Нью-Йорка. В одном из шести громадных домов, занятых почти исключительно российскими беженцами.

У нас свои магазины, прачечные, химчистки, фотоателье, экскурсионные бюро. Свои таксисты, миллионеры, религиозные деятели, алкоголики, гангстеры и проститутки.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Напротив моего дома висит объявление:

«Переводы с английского на русский и обратно. Спросить Риту или Яшу. Также продается итальянский столик на колесах...»

Кроме нас в этом районе попадают американские евреи, индусы, гаитяне, чернокожие. Не говоря, разумеется, о коренных жителях.

Коренных жителей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят по-английски. Мы считаем, что это — бестактность.

К неграм мы относимся с боязливым пренебрежением. Мы убеждены, что все они насильники и бандиты. Даже косоглазая Фира боится изнасилования. (Я думаю, зря.) Она говорит:

— Зимой и летом надеваю байковые рейтузы...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В Союзе к чернокожим относятся любовно и бережно. Вспоминаю, как по телевидению демонстрировался боксерский матч. Негр, черный, как вакса, дрался с белокурым поляком. Московский комментатор деликатно пояснил:

«Чернокожего боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах...»

Как-то мы с Фирой разговорились возле лифта. Фира пожаловалась на свое одиночество. Давала, говорит, объявление в газету — никакого эффекта. Все приличные мужчины женаты. А годы идут...

Мне захотелось чем-то ее утешить.

— Ты, — говорю, — еще встретишь хорошего человека. Не отчаивайся. У меня с женой тоже были всякие неприятности. Мы даже чуть не развелись. А потом все наладилось.

— Я твою жену хорошо понимаю,— откликнулась Фира,— каждая русская баба в Америке держится за свое говно. В любом случае — чужое еще хуже. Вот попадется какой-нибудь шварц...

Кстати, негры в этом районе — люди интеллигентные. Я думаю, они нас сами побаиваются.

Однажды Хася Лазаревна с четвертого этажа забыла кошелек в аптеке. И черный парень, который там работал, бежал за Хасей метров двести. Будучи настигнутой, Хася так обрадовалась, что поцеловала его в щеку.

Негр вскрикнул от ужаса. Моя жена, наблюдавшая эту сцену, потом рассказывала:

— Он, знаешь, так перепугался! Впервые я увидела совершенно белого негра...

В общем, район у нас спокойный. Не то что Брайтон или даже Фар Раковой. Многие из русских эмигрантов научились зарабатывать приличные деньги. Наиболее удачливые купили собственные дома.

А неудачники поняли главный экономический закон. Хорошо здесь живет миллионерам и нищим. (Правда, миллионером в русской колонии считают любого терапевта, не говоря о дантистах.) Много и тяжело работают представители среднего класса. Выше какого-то уровня подняться нелегко. И ниже определенной черты скатиться трудно.

Самые мудрые из эмигрантов либо по-настоящему разбогатели, либо вконец обнищали. А мы с женой все еще где-то посередине. Сыты, одеты, бывали в Европе. Меню в ресторане читаем слева направо.

А ведь первую кровать я отыскал на мусорной свалке. Тогда, четыре года назад, мы оказались в совершенно пустой квартире. Хорошее было время...

Мы строим планы

Перед отъездом все мои друзья твердили:

— Главное, вырваться на свободу. Бежать из коммунистического ада. Остальное не имеет значения.

Я задавал им каверзные вопросы:

— Что же ты будешь делать в этой фантастической Америке? Кому там нужен русский журналист?

Друзья начинали возмущаться:

— Наш долг — рассказать всему миру правду о коммунизме!

Я говорил:

— Святое дело... И всё же, как будет с пропитанием?

В ответ раздавалось:

— Если надо, пойду таскать мешки... Тарелки мыть... Батрачить...

Самые дальновидные неуверенно произносили:

— Я слышал, в Америке можно жить на государственное пособие...

Лишь немногие действовали разумно, то есть — постигали английский, учились водить машину. Остальные в лучшем случае запасались дефицитными товарами.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мой друг Шулькевич вывез из Ленинграда семь ратиновых отрезков на пальто. Впоследствии на Западе сшил, говорят, из них чехол для микроавтобуса...

И все же большинство моих друзей, главным образом, рассуждало на философско-политические темы. Был такой популярный мотив в рассуждениях:

— Мы уезжаем ради своих детей. Чтобы они росли на свободе. Забыли про ужасы тоталитаризма...

Я соглашался, что это веский довод. Хотя сам уезжал и не ради детей. Мне хотелось заниматься литературой.

Знакомый журналист Дроздов говорил мне:

— Лично я, старик, устроен неплохо! Но дети! Я хочу, чтобы Димка, Ромка и Наташка выросли свободными людьми. Ты меня понимаешь, старик?

Я вяло бормотал:

— Что мы знаем о своих детях? Как можно предвидеть, где они будут счастливы?!

Дроздов готовился к отъезду. Научил своих бойких детишек трем американским ругательствам. Затем произошло несчастье.

Жена Лариса уличила Дроздова в мимолетной супружеской измене. Лариса избивала мужа комнатной телевизионной антенной, а главное — решила не ехать. Детей по закону оставили с матерью. Заметно повеселевший Дроздов уехал без семьи.

Теперь он говорил:

— Каждый из нас вправе распоряжаться лишь собственной жизнью. Решать что-либо за своих детей мы не вправе.

О Дроздове мы еще вспомним, и не раз...

Подготовиться к эмиграции невозможно. Невозможно подготовиться к собственному рождению. Невозможно подготовиться к загробной жизни. Можно только смириться.

Поэтому мы ограничивались разговорами.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мой знакомый Щепкин работал синхронным переводчиком в Ленинградском Доме кино. И довелось ему переводить американский фильм. События развивались в Нью-Йорке и Париже. Действие переносилось туда и обратно.

Причем в картине был использован довольно заурядный трюк. Вернее, две банальные эмблемы. Если показывали Францию, то неизменно возникала Эйфелева башня. А если показывали Соединенные Штаты, то Бруклинский мост. Каждый раз Щепкин педантично выговаривал:

«Париж... Нью-Йорк... Париж... Нью-Йорк...»

Наконец, он понял, что это глупо, и замолчал.

И тогда раздался недовольный голос:

«Але! Какая станция?»

Щепкин немного растерялся и говорит:

«Нью-Йорк».

Тот же голос:

«Стоп! Я выхожу...»

Тележка с хлебным квасом

Как я уже говорил, наш район — Форест Хиллс — считается довольно изысканным. Правда, мы живем в худшей его части, на границе с Короной.

Под нашими окнами — 108-я улица. Выйдешь из дома, слева — железнодорожная линия, мост, правее — торговый центр. Чуть дальше к северо-востоку — Мидоу-озеро. Южнее — шумный Квинс-бульвар.

Русский Форест Хиллс простирается от железнодорожной ветки до шестидесятих улиц. Я все жду, когда здесь появится тележка с хлебным квасом. Не думаю, что это разорит хозяев фирмы «Пепси-кола».

По утрам вокруг нашего дома бегают физкультурники. Мне нравятся их разноцветные костюмы. Все они — местные жители. Русские эмигранты такими глупостями не занимаются. Мы по утрам садимся завтракать. Мы единственные в Америке завтракаем как положено. Едим, например, котлеты с макаронами.

Детей мы наказываем за одно-единственное преступление. Если они чего-то не доели...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Наша шестилетняя соседка Лиля говорит:
«Пока жива мама, я должна научиться готовить...»

Начиналась моя жизнь в Америке крайне безмятежно. Месяцев шесть я, как и подобает российскому литератору, валялся на диване.

Какие-то деньги нам выдавали благотворительные организации. Какую-то мебель и ворох одежды притащили американские соседи. Кроме того, помогали старые друзья, уехавшие раньше нас. Они давали нам ценные практические указания.

Потом моя жена довольно быстро нашла работу. Устроилась машинисткой в русскую газету «Слово и дело». Это была старейшая и в ту пору единственная русская газета на Западе. Редактировал ее бывший страховой агент, выпускник Таганрогского коммерческого училища — Боголюбов. (Настоящую его фамилию — Штемпель — мы узнали позже.)

Моя жена зарабатывала около ста пятидесяти долларов в неделю. Тогда нам казалось, что это большие деньги. Домой она возвращалась поздно. Мои накопившиеся за день философские соображения выслушивала без особого интереса.

Во многих русских семьях происходила такая же история. Интеллигентные мужья лежали на продавленных диванах. Интеллигентные жены кроили дамские сумочки на галантерейных фабриках.

Почему-то жены легче находили работу. Может, у наших жен сильнее развито чувство ответственности? А нас просто сдерживает бремя интеллекта?.. Не знаю...

Я валялся на диване и мечтал получить работу. Причем какую угодно. Только непонятно, какую именно. Кому я, русский журналист и литератор, мог предложить свои услуги? Тем более что английского я не знал. (Как, впрочем, не знаю и теперь.)

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то мы с женой случайно оказались в зоомагазине. У двери висела клетка с попугаем. Я почему-то решил, что это какаду. У попугая была семитская физиономия, зеленые крылья, желтый гребень и оранжевый хвост. Неожиданно он что-то выкрикнул противным хриплым голосом.

«Обрати внимание, — сказала моя жена, — даже какаду говорит по-английски лучше нас...»

Шесть месяцев я пролежал на диване. Порой заходили друзья и ложились на соседний диван. У нас было три дивана, и все разноцветные.

Излюбленным нашим занятием было — ругать американцев.

Американцы наивные, черствые, бессердечные. Дружить с американцами невозможно. Водку пьют микроскопическими дозами. Все равно что из крышек от зубной пасты...

Мировые проблемы американцев не волнуют. Главный их девиз — «Смотри на вещи просто!» И никакой вселенской скорби!..

С женой разводятся — идут к юристу. (Нет чтобы душу излить товарищам по работе.) Сны рассказывают психоаналитикам. (Как будто им трудно другу позвонить среди ночи.) И так далее.

В стране беспорядок. Бензин дорожает. От чернокожих нет спасенья. А главное — демократия под угрозой. Не сегодня, так завтра пошатнется и рухнет. Но мы ее спасем! Расскажем всему миру правду о тоталитаризме. Научим президента Картера руководить страной. Дадим ему ряд полезных указаний.

Транзисторы у чернокожих подростков — конфисковать! Кубу в срочном порядке — оккупировать! По Герерану водородной бомбой — хлоп! И тому подобное...

Я в таких случаях больше молчал. Америка мне нравилась. После Каляевского спецприемника мне нравились решительно все. И нравится до сих пор.

Единственное, чего я здесь категорически не принимаю, — спички. (Как это ни удивительно, даже спички бывают плохие и хорошие. Так что же говорить о нас самих?!) Остальное нам с женой более или менее подходит.

Мне нравилась Америка. Просто ей было как-то не до меня...

Ищу работу

Как-то раз моя жена сказала:

— Зайди к Боголюбову. Он хитрый, мелкий, но довольно симпатичный. Все-таки закончил царскую гимназию. Может, возьмет тебя на работу литсотрудником или хотя бы корректором. Чем ты рискуешь?

И я решил — пойду. Когда меня накануне отъезда

забрали, в газете появилась соответствующая информация. И вообще, я был чуть ли не диссидентом.

Жена меня предупредила:

— Гостей у нас встречают по-разному. В зависимости от политической репутации. Самых знаменитых диссидентов приглашают в итальянский ресторан. С менее известными Боголюбов просто разговаривает в кабинете. Угощает их растворимым кофе. Еще более скромных гостей принимает заместитель редактора — Троицкий. Остальных вообще не принимают.

Я забеспокоился:

— Кого это вообще не принимают?

— Ну, тех, кто просит денег. Или выдает себя за кого-то другого.

— Например, за кого?

— За родственника Солженицына или Николая Второго... Но больше всего их раздражают люди с претензиями. Те, кто недоволен газетой. Считается, что они потворствуют мировому коммунизму... И вообще, будь готов к тому, что это — довольно гнусная лавочка.

Моя жена всегда преувеличивает. Шесть месяцев я регулярно читал газету «Слово и дело». В ней попадались очень любопытные материалы. Правда, слог редакционных заметок был довольно убогим. Таким языком объяснялись лакеи в произведениях Гоголя и Достоевского. С примесью нынешней фельетонной риторики. Например, без конца мне встречался такой оборот: «...С энергией, достойной лучшего применения...» А также: «Комментарии излишни!»

При этом Боголюбов тщательно избегал в статьях местоимения «я». Использовал, например, такую формулировку: «Пишущий эти строки».

Но все это были досадные мелочи. А так — газета производила далеко не безнадежное впечатление.

И я пошел.

Редакция «Слова и дела» занимала пять комнат. Одну большую и четыре поменьше. В большой сидели творческие работники. Она была разделена фанерными перегородками. В остальных помещались: главный редактор, его заместитель, бухгалтер с администратором и техническая часть. К технической части относились наборщики, метранпажи и рекламные агенты...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Рекламное объявление в газете «Слово и дело»:

«Дипломированный гинеколог Лейбович. За умеренную плату клиент может иметь все самое лучшее! Аборт, гарантированное установление внематочной беременности, эффективные противозачаточные таблетки!..»

Встретили меня по низкому разряду. То есть разве что не выпроводили. Пригласили в кабинет заместителя редактора. А потом уже туда заглянул и сам Боголюбов. Видимо, редакция избрала для меня какой-то промежуточный уровень гостеприимства. Кофе не предложили.

Мало того, заместитель редактора спросил:

— Надеюсь, вы завтракали?

Вопрос показался мне бестактным. Точнее, обескуражила сама формулировка, интонация надежды. Но я кивнул.

Могу поклясться, что заместитель редактора ожил. Это был высокий, плотный и румяный человек лет сорока. Его манеры отличались той степенью заурядной безупречности, которая рождает протест. Он напоминал прогрессивного горьковского чиновника эпохи Хрущева. В голосе его звенели чеканные требовательные нотки:

— Устроилась?.. Прекрасно!.. Квартиру сняли?.. Замечательно!.. Мамаша на пенсии?.. Великолепно!.. Ваша жена работает у нас?.. Припоминаю... А вам советую поступить на курсы медсестер...

Очевидно, я вздрогнул, потому что заместитель добавил:

— Вернее, медбратьев... Короче — медицинских работников среднего звена. Что поможет вам создать материальную базу. В Америке это главное! Хотя должен предупредить, что работа в госпитале — не из легких. Кому-то она вообще противопоказана. Некоторые теряют сознание при виде крови. Многим неприятен кал. А вам?

Он взглянул на меня требовательно и строго. Я начал что-то вяло бормотать.

— Да так, — говорю, — знаете ли, не особенно...

— А литературу не бросайте, — распорядился Троицкий, — пишите. Кое-что мы, я думаю, сможем опубликовать в нашей газете.

И потом, уже без всякой логики, заместитель редактора добавил:

— Предупреждаю, гонорары у нас более чем скромные. Но требования — исключительно высокие...

В этот момент заглянул Боголюбов и ласково произнес:

— А, здравствуйте, голубчик, здравствуйте... Таким я вас себе и представлял!..

Затем он вопросительно посмотрел на Троицкого.

— Это господин Довлатов,— подсказал тот,— из Ленинграда. Мы писали о его аресте.

— Помню, помню,— скорбно выговорил редактор,— помню. Отлично помню... Еще один безымянный узник ГУЛАГа... (Он так и сказал про меня — безымянный!) Еще одно жертвоприношение коммунистическому Молоху... Еще один свидетель кровавой агонии большевизма...

Потом с еще большим трагизмом редактор добавил:

— И все же не падайте духом! Религиозное возрождение ширится! Волна протестов нарастает! Советская идеология мертва! Тоталитаризм обречен!..

Казалось бы, редактор говорил нормальные вещи. Однако слушать его почему-то не хотелось...

Редактору было за восемьдесят. Маленький, толстый, подвижный, он напоминал безмерно истаскавшегося гимназиста.

Пережив знаменитых сверстников, Боголюбов автоматически возвысился. Около четырехсот некрологов было подписано его фамилией. Он стал чуть ли не единственным живым бытописателем довоенной эпохи. В его мемуарах снисходительно упоминались — Набоков, Бунин, Рахманинов, Шагал. Они представляли заурядными, симпатичными, чуточку назойливыми людьми. Например, Боголюбов писал:

«...Глубокой ночью мне позвонил Иван Бунин...»

Или:

«...На перроне меня остановил изрядно запыхавшийся Шагал...»

Или:

«...В эту бильярдную меня затащил Набоков...»

Или:

«...Боясь обидеть Рахманинова, я все-таки зашел на его концерт...»

Выходило, что знаменитости настойчиво преследовали Боголюбова. Хотя почему-то в своих мемуарах его не упоминали.

Лет тридцать назад Боголюбов выпустил сборник рас-

сказов. Я их прочел. Мне запомнилось такое выражение:

«Ричарду улыбалась дочь хозяина фермы, на которой он провел трое суток...»

В разговоре Боголюбов часто использовал такой оборот:

«Я хочу сказать только одно...» За этим следовало: «Во-первых... Кроме того... И наконец...»

Боголюбов оборвал свою речь неожиданно. Как будто выключил заезженную пластинку. И тотчас же заговорил опять, но уже без всякой патетики:

— Знаю, знаю ваши стесненные обстоятельства... От всей души желал бы помочь... К сожалению, в очень незначительных пределах... Художественный фонд на грани истощения... В отчетном году пожертвования резко сократились... Тем не менее я готов выписать чек... А вы уж соблаговолите дать расписку... Искренне скорблю о мизерных размерах вспомоществования... Как говорится, чем богаты, тем и рады...

Я набрался мужества и остановил его:

— Деньги не проблема. У нас все хорошо.

Впервые редактор посмотрел на меня с интересом. Затем, едва не прослезившись, обронил:

— Ценю!

И вышел.

Троицкий, в свою очередь, разглядывал меня не без уважения. Как будто я совершил на его глазах воистину диссидентский подвиг.

О работе мы так и не заговорили. Я попрощался и с облегчением вышел на Бродвей.

Остров

Три города прошли через мою жизнь. Первым был Ленинград.

Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония.

Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько ущемленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином.

Такие города есть в любой приличной стране. (В Италии — Милан. Во Франции — Лион. В Соединенных Штатах — Бостон.)

Ленинград называют столицей русской провинции. Я думаю, это наименее советский город России...

Следующим был Таллинн. Некоторые считают его излишне миниатюрным, кондитерским, приторным. Я-то знаю, что пирожные эти — с начинкой.

Таллинн — город вертикальный, интровертный. Разглядываешь готические башни, а думаешь — о себе.

Это наименее советский город Прибалтики. Штрафная пересылка между Востоком и Западом...

Жизнь моя долгие годы катилась с Востока на Запад. Третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк.

Нью-Йорк — хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляюще безмятежен и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп. Готов облагодетельствовать тебя, но способен и разорить без минуты колебания.

Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она кошмарна настолько, что достигает известной гармонии.

Его эстетика созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы школьной геометрии. Издевается над земным притяжением. Освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов.

Нью-Йорк реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета. Он создан для жизни, труда, развлечений и гибели.

Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое и будущее тянутся в одной упряжке.

Случись революция — нечего будет штурмовать.

Здесь нет ощущения места. Есть чувство корабля, набитого миллионами пассажиров. Этот город столь разнообразен, что понимаешь — здесь есть угол и для тебя.

Думаю, что Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город.

Отсюда можно бежать только на Луну...

Мы принимаем решение

В нашем доме поселилось четверо бывших советских журналистов. Первым занял студию Лева Дроздов. Затем с его помощью нашел квартиру Эрик Баскин. Мы с женой поступили некрасиво. А именно — пообещали взятку суперу Мигуэлю. Через месяц наши проблемы были решены. За нами перебрался из Бронкса Виля Мокер. И тоже не без содействия Мигуэля.

Взятки у нас явление распространенное. Раньше, говорят, этого не было. Затем появились мы, советские беженцы. И навели свои порядки.

Постепенно в голосе нашего супера зазвучали интонации московского домоуправа:

— Крыша протекает?.. Окно не закрывается?.. Стена, говорите, треснула?.. Зайду, когда будет время... Вас много, а я — один...

В этот момент надо сунуть ему чудодейственную зеленую бумажку. Лицо Мигуэля сразу добреет. Через пять минут он является с инструментами.

Соседи говорят — это все появилось недавно. Выходит, это наша заслуга. Как выражается Мокер — «нежные ростки социализма...»

Мы собирались почти каждый вечер. Дроздов был настроен оптимистически. Он кричал:

— Мы на свободе! Мы дышим полной грудью! Говорим все, что думаем! Уверенно смотрим в будущее!..

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мокер называл Дроздова:
«Толпа из одного человека».

Лично мне будущее представлялось туманным. Баскину — тоже. Мокер явно что-то задумал, но, хитро улыбаясь, помалкивал.

Я говорил:

— Существуют различные курсы — программистов, ювелиров, бухгалтеров...

Тон у меня был неуверенный. Мне было далеко за тридцать. Дроздову и Мокеру — под сорок. Баскину — за пятьдесят. Нелегко в эти годы менять профессию.

Мы слышали, что западные люди к таким вещам относятся проще. Был человек коммерсантом, разорился, пошел водить такси. Или наоборот.

Но мы-то устроены по-другому. Ведь журналисти-

ка, литература — это наша судьба! Наше святое призвание! Какая уж тут бухгалтерия?! И тем более ювелирное дело. Не говоря о программировании...

К нашим сборищам часто присоединялась местная интеллигенция. В том числе: конференсье Беленький, музыковед Ирина Гольц, фарцовщик Акула, экономист Скафарь, загадочный религиозный деятель Лемкус. Всех нас объединяли поиски работы. Вернее — хотя бы какого-то заработка. Все мы по очереди делились новой информацией.

(Впоследствии откровенничали реже. Каждый был занят собственным трудоустройством. Но тогда в нас еще сохранялся идеализм.)

Конференсье Беленький с порога восклицал:

— Я слышал, есть место на питомнике лекарственных змей. Работа несложная. Главное — кормить их четыре раза в сутки. Кое-что убрать, там, вымыть, подмести... Платят — сто шестьдесят в неделю. И голодным, между прочим, не останешься.

— То есть? — гадливо настораживался Баскин.— Что это значит? Что ты хочешь этим сказать?

Беленький, в свою очередь, повышал голос:

— Думаешь, чем их тут кормят? Мышами? Ни хрена подобного! Это тебе не совдепия! Тут змеи питаются лучше, чем наши космонавты. Все предусмотрено: белки, жиры, углеводы...

На лице у Баскина выразалось крайнее отвращение:

— Неужели будешь есть из одного корыта со змеями? Стоило ради этого уезжать из Москвы?!

— Почему из одного корыта? Я могу захватить из дома посуду...

Сам Эрик Баскин тяготел к абстрактно-политической деятельности. Он все твердил:

— Мы должны рассказать людям правду о тоталитаризме!

— Расскажи,— иронизировал Беленький,— а мы слушаем.

Баскин в ответ только мрачно ругался. Действительно, языка он не знал. Как собирался проповедовать — было неясно...

Бывший фарцовщик Акула мечтал о собственном торговом предприятии. Он говорил:

— В Москве я жил как фрайер. Покупал у финского туриста зажигалку и делал на этом свой червонец. С элементарного гондона мог наварить три рубля. И я был

в порядке. А тут — все заграничное! И никакого дефицита. Разве что кроме наркотиков. А наркотики — это «вилы». Остается «телега», честный производственный бизнес. Меня бы, например, вполне устроила скромная рыбная лавка. Что требует начального капитала...

При слове «капитал» все замолкали.

Музыковед Ирина Гольц выдвигала романтические проекты:

— В Америке двадцать три процента миллионеров. Хоть одному из них требуется добродетельная жена с утонченными манерами и безупречным эстетическим вкусом?..

— Будешь выходить замуж, — говорил Скафарь, — усынови меня. А что особенного? Да, мне сорок лет, ну и что? Так и скажи будущему мужу: «Это — Шурик. Лично я молода, но имею взрослого сына!..»

Тут вмешивался Лемкус:

— Вы просто не знаете американской жизни. Тут есть проверенные и вполне законные способы обогащения. Что может быть проще? Вы идете по фешенебельной Мэдисон-авеню. Навстречу вам собака, элементарный доберман. Вы говорите: «Ах, какая миленькая собачка!» И быстрым движением щелкаете ее по носу. Доберман хватает вас за ногу. Вы теряете сознание. Констатируете нервный шок. Звоните хорошему адвокату. Подаете в суд на хозяина добермана. Требуете компенсации морального и физического ущерба. Хозяин-миллионер выписывает чек на двадцать тысяч...

Мы возражали:

— А если окажется, что собака принадлежит какому-нибудь бродяге? Мало ли на Бродвее черных инвалидов с доберманами?

— Я же говорю не о Бродвее. Я говорю о фешенебельной Мэдисон. Там живут одни миллионеры.

— Там живет художник Попазян, — говорил Скафарь, — он нищий.

— Разве у Попазяна есть собака?

— У Попазяна нет даже тараканов...

Экономист Скафарь хотел жениться на богатой вдове. Он был высок, худощав и любвеобилен. Кроме того, носил очки, что в российском захолустье считается признаком интеллигентности.

Мы интересовались:

— Что же ты скажешь невесте? Хай? А потом?

Скафарь реагировал тихо и задушевно:

— Подлинное чувство не требует слов. Я буду молча дарить ей цветы...

Вновь подавал голос загадочный религиозный деятель Лемкус. Когда-то он был евреем, выехал по израильским документам. Но в Риме его охмурили баптисты, посулив какие-то материальные льготы. Кажется, весьма незначительные. Чем он занимается в Америке, было неясно.

Иногда в газете «Слово и дело» появлялись корреспонденции Лемкуса. Например: «Как узреть Бога», «Свет истины», «Задумайтесь, малoverы!».

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

В очередной заметке Лемкуса говорилось:
«Как замечательно выразился Иисус Христос...» Далее следовала цитата из Нагорной проповеди...

Так Лемкус похвалил способного автора.

Лемкус творчески развивал свои же идеи:

— Собака, я думаю, это мелко. Есть более эффективные методы. Например, вы покупаете старую машину. Едете в Голливуд. Или в Хьюстон, где полно миллионеров. Целыми днями разъезжаете по улицам. Причем игнорируя светофоры. И естественно, попадая в аварии. Наконец, вас таранит роскошный лимузин. В лимузине сидит нефтяной король. Вы угрожаете ему судебной процедурой. Нефтяной король приходит в ужас. Его время стоит огромных денег. Десять тысяч — минута. Ему гораздо проще откупиться на месте. Выписать чек и ехать по своим делам...

— А Бог тебя за это не покарает? — ехидно спрашивал Мокер.

— Не думаю, — отвечал Лемкус, — маловероятно... Бог любит страждущих и неимущих.

— А жуликов? — не унимался Мокер.

— Взять у богатого — не грех, — реагировал Лемкус.

— Вот и Ленин так думал...

Шло время. Чьи-то жены работали. Дроздов питался у знакомых, студию ему оплачивала «НАЙАНА». Лемкуса подкармливали баптисты. Ирина Гольц обнаружила в Кливленде богатого родственника.

А мы все строили планы. Пока однажды Мокер не сказал:

— А я, представьте себе, знаю, что мы будем делать.

Дроздов заранее кивнул. Эрик Баскин недоверчиво прищурился. Я вдруг почувствовал странное беспокойство.

Помедлив несколько секунд, Мокер торжествующе выговорил:

— Мы будем издавать вторую русскую газету!

Сентиментальный марш

Подсознательно каждый из нас мечтал о русской газете. Ведь журналистика была нашей единственной профессией. Единственным любимым занятием. Просто мы не знали, как это делается в США.

Дома все было очень просто. Там был обком, который все знал. У любой газеты было помещение, штат и соответствующее оборудование. Все необходимое предоставлялось государством. Начиная с типографии и кончая шариковыми авторучками.

Дома был цензор. Было окошко, где вы регулярно получали зарплату. Было начальство, которое давало руководящие указания. Вам оставалось только писать. При этом заранее было известно — что именно.

А здесь?!

Английского мы не знали. (За исключением Вили Мокера, который объяснялся не без помощи жестов.) О здешней газетной технологии не имели представления. Кроме того, подозревали, что вся эта затея стоит немалых денег.

— И вообще. — поинтересовался Баскин, — кто нам даст разрешение? Мы ведь даже гражданства не имеем. Выходит, каждый поц может издавать газету? А что, если мы начнем подрывать устои капитализма?

Но Мокер, как выяснилось, располагал подробной информацией. И на вопросы отвечал без запинки:

— Специального разрешения не требуется. Мы просто регистрируем нашу корпорацию, и все. Затем снимаем недорогое помещение в Манхэттене. Заказываем русскую наборную машину. Дешевых типографий в Нью-Йорке сколько угодно. Технология в Штатах более современная, а значит — простая. Вместо цинковых клише используются фотостаты. Вместо свинцового набора — компьютерные машины...

Далее Мокер засыпал нас терминами: «айбиэм», «процессор», «селектрик-композер»...

Наше уважение к Мокеру росло. Он продолжал:

— Что же касается устоев, то их веками подрывают десятки экстремистских газет. Кого это волнует? Если газета легальная, то все остальное не имеет значения. Тем более что мы намерены придерживаться консервативной линии.

— Мы должны рассказать американцам правду о тоталитаризме, — ввернул Эрик Баскин.

— Мне все равно, какой линии придерживаться, — объявил Дроздов.

— А деньги? — спросил я.

Мокер не смутился:

— Деньги — это тоже не фокус. Америка буквально набита деньгами. Миллионы американцев не знают, как их потратить. Мы — находка для этих людей...

Мокер рассуждал уверенно и компетентно. Значит, он не терял времени. Мы все питали к нему чувство зависти и доверия. Недаром он первый стал курить сигары. А главное, раньше других перестал носить одежду из кожзаменителя...

Понизив голос, он сказал:

— Я хочу продолжить разговор без свидетелей. Останутся (томительная пауза): Баскин, Дроздов и Серега.

Когда обиженные соседи вышли, Мокер тоном заговорщика произнес:

— Есть у меня на примете крупный гангстер. Человек из мафии. Нуждается, как я понимаю, в инвестициях. Иначе говоря, в легализации тайных капиталов.

— Где ты его откопал? — спросили мы.

— Все очень просто. У меня есть незамужняя соседка. (Мокеры жили в левом крыле здания.) Высокая симпатичная баба...

Дроздов попытался развить эту тему:

— Полная такая, с круглым задом?

— Дальше, — нервно перебил его Баскин.

— У этой Синтии, — продолжал Мокер, — бывает итальянец. Мы часто сталкиваемся в лифте. Причем заходит он к ней исключительно днем. После чего Синтия немедленно опускает шторы. Какой мы из этого делаем вывод?

— Черт его знает, — сказал Эрик Баскин.

Дроздов игриво засмеялся, потирая руки:

— Обычное дело, старик, поддали — и в койку!

Мокер уничтожающе посмотрел на Дроздова и сказал:

— Из этого мы делаем вывод, что Риццо — хозяин ночного заведения. Поэтому он и занимается любовью только днем. А все ночные заведения контролируются мафией. Не говоря о том, что все итальянцы — прирожденные мафиози.

Баскин выразил сомнение:

— Все женатые мужики развлекаются днем. Для этого не обязательно быть гангстером.

Но Мокер перебил его:

— А если я с ним говорил, тогда что?.. Я долго не решался. Подыскивал наиболее емкую формулировку. И наконец вчера многозначительно спросил: «Уж не принадлежишь ли ты к известной организации?»

— А он?

— Он понял мой намек и кивнул. Тогда я попросил его о встрече. Мы договорились увидеться завтра после шести. В баре на углу Семнадцатой и Пятой.

Баскин тяжело вздохнул:

— Смущает меня, ребята, вся эта уголовщина...

- Встреча

Гангстер был одет довольно скромно. Его вельветовые брюки лоснились. Джемпер с надписью «Помни Валенсию!» обтягивал круглый живот. Лицом он напоминал грузинского рыночного торговца.

Он вежливо представился:

— Меня зовут Риццо. Риццо Фьезоли. Очень приятно.

В баре тихо наигрывал музыкальный автомат. Мы сели у окна. Бармен вышел из-за стойки, подал нам шесть коктейлей. Это был джин с лимоном и тоником. Я бы предпочел водку.

Нас было шестеро, включая Риццо. Я пришел не один. У жены был выходной, и ей захотелось посмотреть на мафиози.

Все, кроме Риццо, были недовольны, что пришла моя жена. Я сказал Мокеру, что уплачу за два коктейля.

— Кам-ан,— широко отмахнулся Мокер и тут же перевел,— еще бы!..

Мы чокнулись и выпили. Риццо, Баскин и моя жена пили через соломинку. Мокер, я и Дроздов предпочли обойтись без этих тонкостей.

После этого Мокер заговорил. Кое-что мы понимали. Кое-что он переводил нам. Вообще, чем хуже люди го-

ворят по-английски, тем доступнее мне их язык. Короче, состоялся примерно такой разговор:

— Могу я называть тебя просто Риццо?

— Еще бы, ведь мы друзья.

— Эти ребята — бывшие советские журналисты.

— О!.. Могу я заказать еще один коктейль?

— Сначала поговорим. Я буду откровенен. Надеюсь, здесь все свои?

Мокер обвел нас строгим испытующим взглядом. Мы постарались выразить абсолютную лояльность.

Мокер продолжал:

— В ближайшие дни мы начинаем издавать русскую газету. Дело, как ты сейчас убедишься, верное. В Америке четыре миллиона граждан русского происхождения. Аудитория и рынок — неисчерпаемы. Есть возможность получить солидную американскую рекламу. Через год вся эта затея принесет хорошие деньги. Что ты об этом думаешь?

— Я не читаю по-русски, — ответил гангстер, — я вообще читаю мало.

— Как и все мы, — сумрачно откликнулся Баскин.

Мокер попытался выровнять направление беседы:

— Я думаю, твоя организация располагает значительными средствами?

— Несомненно, — реагировал итальянец.

Затем добавил:

— Наш капитал — это мужество, стойкость, дисциплина, верность идеалам!

Мокер взволнованно приподнялся:

— Возможно, я не полностью разделяю твои убеждения. Но я готов отдать жизнь за твое право свободно их выражать!..

Эти слова прозвучали как цитата.

Мокер сел и продолжал:

— Не будем касаться твоей идейной программы. Мы любим честных борцов независимо от их убеждений. Я много слышал про твою организацию. Лично мне ее цели, и в особенности — средства, не очень-то близки. Но я привык отдавать должное стойкости и мужеству в любой конкретной форме... Мне известно, что законы организации суровы.

Риццо гордо кивнул:

— Да, организация мгновенно ликвидирует тех, кто ее предает. Вряд ли можно позавидовать тому; кто нарушит слово, данное организации...

— Прекрасно.— вставила моя жена.— Сережа обязательно что-то нарушит, и его ликвидируют. И останусь я молодой привлекательный вдовушкой.

Видно, на мою жену подействовал алкоголь. Но Мокер перевел ее слова. Наверное, хотел разрядить обстановку.

Лицо нахмурился и отчеканил:

— Должен вас разочаровать, мадам. Ликвидируем всю семью!

Затем извиняющимся тоном добавил:

— Жизнестойкой может быть лишь организация, спаянная дисциплиной...

Я заметил, что все избегают слова «мафия».

— Ближе к делу,— продолжал Мокер,— у организации есть средства. Она заинтересована в легальных капиталовложениях. Мы готовы предоставить ей такую возможность. Разумеется, вы получите соответствующие гарантии...

Музыкальный автомат затих.

— Извините меня,— сказал Риццо.

Он поднялся, достал из кармана мелочь. Опустил ее в щель.

Некоторое время раздавалось шипение. Потом зазвучали аккорды гитары и слащавый тенор вывел:

«О, Валенсия, моя родина! Солнце шепчет мне — улыбнись!.. О, Валенсия...»

Лицо вернулся, достал сигарету. Что-то в нем отвечало музыкальному ритму. Банально выражаясь, он приплясывал.

Мокер протянул ему зажигалку с изображением голы девицы.

Гангстер прикурил. Мы ждали.

— Ну, так что? — спросил Мокер.

Лицо приподнял брови:

— Вам нужны деньги?

Мокер уверенно кивнул.

— Я не уполномочен решать такие вопросы. Конечно, я поговорю с Рафаэлем. Он заведует партийной кассой. Откровенно говоря, не думаю, чтобы он согласился. Рафаэль немножко консервативен. Я убежден, что Рафаэль гораздо правее своего кумира Тоцкого. Наша фракция левых маоистов значительно дальше от центра. Мы переглянулись.

— Фракция маоистов? — переспросил Баскин.

Затем повернулся к Мокеру:

— Ты говорил, что он из мафии. На самом деле все гораздо хуже. На самом деле этот поц еще и большевик!

Итальянец живо пояснил:

— В юности я был марксистом либерального толка. Я даже голосовал против индивидуального террора. Но затем присоединился к радикалам. А недавно увлекся маоистской программой. Мне хочется примирить ленинизм с конфуцианством. Правая фракция считает меня ренегатом. Но я-то знаю, что истина придет с Востока.

— Пошли отсюда вон! — сказал Эрик Баскин.

Дроздов колебался:

— Вообще-то деньги не пахнут,— сказал он.

Баскин повысил голос:

— Какие могут быть деньги у этой шпаны?!

Мокер выглядел крайне подавленным. Моя жена откровенно веселилась.

Риццо выпил еще один коктейль и невозмутимо продолжал:

— Истина придет с Востока. Лично я восхищаюсь русскими. Они революционеры и добились справедливости. Затем революция перешла в бюрократическую фазу. Зародилась новая советская буржуазия... Лично я — революционер и враг буржуазии. Я читал Солженицына и Толстого. Толстой — буржуазный писатель. Его волнуют переживания изнеженных богачей. А вот Солженицын написал хорошую книгу. Солженицын показывает, как опасно вырождение революционного духа...

Баскин еле сдерживался:

— Что за дикая путаница в голове у этого старого хулигана!

Риццо не унимался. Он жестикулировал и восклицал:

— Революция должна победить на всей земле! Богачи начнут трудиться, а простые люди отдыхать и курить марихуану! И это будет справедливо... Русские — молодцы! Им нужна еще одна революция. И вождем ее будет Солженицын, а не Лев Толстой... Вот именно, Солженицын!

— Хватит! — крикнул Баскин.

— Хватит! — радостно повторил итальянец.

Видно, решил, что это значит — «браво!».

Мы расплатились и встали. Маоист долго жал нам руки, повторяя:

— Америка — плохая страна! Я живу здесь только ради денег! Мое сердце принадлежит Валенсии!.. Да здравствуют ортодоксы и радикалы!.. Долой Льва Толстого и буржуазию!

— Виват! — сказал Дроздов.

Мы вышли на Семнадцатую улицу. Риццо остался в баре. Видимо, хотел еще больше укрепить свой революционный дух.

Мокер смущенно посмеивался.

— Кретин, — сказал ему Баскин.

— Я ищу, — оправдывался Мокер, — я нащупываю ходы... Деньги будут... Америка — страна неограниченных возможностей...

Потом он вспомнил:

— С каждого по четыре доллара. С Довлатова — восемь. А за этого говенного Риццо, так уж и быть, плачу я...

— В сущности, неплохо посидели, — успокаивал Баскина Дроздов.

— Увидите, деньги будут, — заверял нас Мокер, — я клянусь!

Кто мы и откуда?

Наша эмиграция условно делится на три потока. Даже на четыре: политический, экономический, художественный и авантюрный.

Политические эмигранты чувствуют себя здесь неплохо. Особенно те, у кого хорошая специальность. Например: врачи, инженеры, знаменитые ученые, квалифицированные ремесленники. Ведь диссидентство — не профессия.

Эти люди добивались свободы и получили ее.

Хотя свобода — тоже не профессия. Поэтому желательно быть еще и квалифицированным специалистом.

Люди из экономического потока тоже не жалуются. Ведь они добивались материальных благ. Попросту говоря, хотели жить лучше. Забыть о бедности, веревочных макаронах, фанерных пиджаках и ядовитом алкоголе.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Говорят, если выпить советской мадеры и помочиться на шакала, то шакал окисляется...

Людам хотелось жить нормально, путешествовать, есть фрукты и смотреть цветной телевизор. Отдельная квартира с ванной — уже достижение.

Короче, они свое получили. Многие довольно быстро устроились на тяжелую, хорошо оплачиваемую работу. Сели, например, за баранку такси. Наиболее целеустремленные открыли собственные предприятия.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Разговаривают двое эмигрантов.
«Ну как ты, хорошо устроился?»
«Да нет, все еще работаю...»

«Авантюристы» — люди вечно недовольные. В Америку попали случайно. Кто-то с женой поругался и уехал. Кому-то захотелось послушать Гиллеспи. Или, допустим, плюнуть в Гудзон с небоскреба.

Это все доступно. Но приходится еще и работать. Что для многих явилось полной неожиданностью. Хорошо еще, что в Америке можно быть государственным паразитом. Так что большинство «авантюристов» на велфере.

Мы с друзьями относимся к художественному потоку. Мы — люди творческих наклонностей: писатели, художники, редакторы, искусствоведы, журналисты. Мы уехали в поисках творческой свободы. И многие из нас действовали сознательно. Хоть и не все. Если дать творческую свободу петуху, он все равно будет кукарекать.

Нам приходится трудно. Английского языка мы чаще всего не знаем. Профессию менять, естественно, не хотим. Велфер получать благородно стыдимся.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Старуха эмигрантка в рыбном магазине:
«Я догадывалась, что здесь говорят по-английски. Но кто же мог знать, что до такой степени?!»

Мы — неудачники. Хотя многие из нас когда-то были знаменитостями. Например, Эрик Баскин.

Он был известным спортивным журналистом. Редактором журнала «Хоккей — футбол». А футбол и хоккей заменяют советским людям религию и культуру. По части эмоционального воздействия у хоккея единственный соперник — алкоголь.

Когда Баскин приезжал с лекциями в Харьков и Че-

лябинск, останавливались тракторные заводы. Вечерняя смена уходила с предприятий.

Эмигрировал Баскин, поругавшись с влиятельным инструктором ЦК. Случилось это на идейной почве. Поскольку спорт у нас — явление идеологическое. А Эрик в одном из репортажей чересчур хвалил канадских хоккеистов. И его уволили после неприятного разговора в Центральном Комитете.

Прощаясь, инструктор сказал:

— У меня к вам просьба. Объясните коллегам, что вы уходите из редакции по состоянию здоровья. Надеюсь, вам понятно?

Баскин ответил:

— Товарищ инструктор! Вообразите такую ситуацию. Допустим, вам изменила жена. И после этого заразила вас гонореей. Вы подаете на развод. А жена обращается к вам с просьбой:

«Вася, объясни коллегам, что мы разводимся, поскольку ты — импотент».

Инструктор позеленел и указал Баскину на дверь...

Виля Мокер работал на Ленинградском телевидении. Вряд ли он был звездой, но прохожие его узнавали. Уехал Виля потому, что был евреем и страдал от антисемитизма. При слове «еврей» он лез драться. Он был уверен, что «еврей» — ругательство...

Дроздов трудился в отделе пропаганды «Смены». А пропагандировать, как известно, можно все. От светлого коммунистического будущего и фиолетовых гусиных желудков до произведений художника Налбандяна и зловонных резиновых бот.

Это породило в Дроздове легкую моральную неразборчивость.

Помню, редактор «Смены» говорил о нем:

— У этого даже задница почтительная...

Я не знаю, почему Дроздов уехал.

О политических мотивах здесь нечего и говорить. Ходили слухи, что Дроздов бежал от алиментов. Не знаю.

Но человек он был довольно умелый и работающий. А это — главное.

О себе я уже рассказывал в первой книге.

Спрашивается, кому мы были нужны в Америке?..

Деньги

Мокер продолжал энергично действовать. Звонил в различные организации. Начиная с Толстовского фон-

да и кончая Лигой защиты евреев. Мокеру назначали ежедневно по шесть деловых свиданий.

Все это обнадеживало нашего лидера. Видно, он был слегка дезориентирован американской любезностью. Куда ни позвонишь, везде отвечают:

— Заходите, например, шестого мая в одиннадцать тридцать...

В Союзе было по-другому. Там все знакомо, ясно и понятно. Если тебе открыто не хамят, значит, дело будет решено в положительном смысле. И даже когда хамят, еще не все потеряно. Поскольку некоторые чиновники хамят автоматически, рефлекторно. Такое хамство одинаково близко соловьиному пению и рычанию льва.

Здесь все иначе. Беседуют вежливо, улыбаются, наливают кофе. Любезно тебя выслушивают. Затем печально говорят:

— Сожалеем, но мы лишены удовольствия воспользоваться данными предложениями. Наша фирма чересчур скромна для осуществления вашего талантливой, блестящего проекта. Если что-то изменится, мы вам позвоним.

Иногда после этого даже записывают номер телефона...

Однако лидер не сдавался. Стояло влажное и душное нью-йоркское лето. В мягком асфальте поблескивали колечки от содовых банок. Они напоминали драгоценные перстни.

Небоскребы в Манхэттене были укутаны клубами горячего пара. Бесчисленные кондиционеры орошали прохожих теплым дождем. Режущие звуки тормозов и грохот джаза сливались в одну чудовищную какофонию.

Мокер ходил по улицам в костюме-тройке, дарованном ему синагогой. В руках он держал бесформенный советский портфель эпохи Коминтерна. Там хранилась удобная складная вешалка. В метро наш лидер, достав ее из портфеля, быстро раздевался. Пиджак и жилет терпеливо держал он на вытянутой руке. Галстук с изображением американского флага делал Мокера похожим на удушенника. Ослабить узел было невозможно. Завязать его Виля мог только перед зеркалом.

Покидая сабвей, Мокер вновь одевался. На переговоры шел в костюме. И, получив отказ, снова раздевался в метро...

Дроздов между тем нашел себе временную работу.

Устроился на базу перетаскивать свиные туши и рыбу. Закончилось все это довольно грустным инцидентом.

Дроздов украл килограмма четыре мороженого трескового филе. Сунул ледяной брикет под рубашку. Час ехал таким образом в сабвее. Филе начало таять. У Дроздова подозрительно закапало из брюк. Кроме того, от него запахло рыбой. Настолько, что два индуса, ворча, пересели. И к тому же наутро Дроздов заболел воспалением легких...

Баскин держался уверенно и спокойно. К нему, человеку знаменитому, проявляли интерес американские журналисты. Интервью с ним появились в нескольких крупных газетах. Его жена Диана поступила на курсы медсестер...

А я тем временем нашел себе литературного переводчика. Вернее, переводчицу. Звали ее Линн Фарбер. Родители Линн еще до войны бежали через Польшу из Шклова. Дочка родилась уже в Америке. По-русски говорила довольно хорошо, но с заметным акцентом.

Познакомил нас Иосиф Бродский. Вернее, рекомендовал ей заняться моими сочинениями. Линн позвонила, и я выслал ей тяжелую бандероль. Затем она надолго исчезла. Месяца через два позвонила снова и говорит:

— Скоро будет готов черновой вариант. Я пришлю вам копию.

— Зачем? — спрашиваю. — Я же не читаю по-английски.

— Вас не интересуется перевод? Вы сможете показать его знакомым.

(Как будто мои знакомые — Хемингуэй и Фолкнер.)

— Пошлите, — говорю, — лучше в какой-нибудь журнал...

Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Вряд ли перевод окажется хорошим. Ведь герои моих рассказов — эки, фарцовщики, спившаяся богема. Все они разговаривают на диком жаргоне. Большую часть всего этого даже моя жена не понимает. Так что же говорить о юной американке? Как, например, можно перевести такие выражения: «Игруля с Пердиловки...» Или: «Бздиловатый конь породы...» Или, допустим: «Все люди как люди, а ты — как хрен на блюде...» И так далее.

Я сказал переводчице:

— Мы должны обсудить некоторые финансовые проблемы. Платить я сейчас не могу.

— Я знаю. Бродский говорил мне.

— Если хотите, будем соавторами. В случае успеха гонорары делим пополам.

Предложение было нахальное. Какие уж там гонорары! Если даже Бродский вынужден заниматься преподавательской работой.

Линн согласилась. Кстати, это был единственный трезвый финансовый шаг, который я предпринял в Америке...

Мокер звонил нам каждый вечер. Голос его звучал все менее уверенно. Мы уже теряли надежду. Да и стоило ли надеяться? Работать по специальности в Америке? Писать и говорить, что думаешь,— на русском языке! Да еще и получать небольшую зарплату! Уж слишком фантастической казалась нам такая перспектива.

Выздоровевший Дроздов поступил на шоферские курсы. Чтобы в дальнейшем арендовать такси. Жена Вили Мокера работала сиделкой. Моя жена продолжала служить в конторе у Боголюбова. Диане Баскиной удалось получить небольшую стипендию.

Однажды мы пили чай у Баскина на кухне. Вдруг зазвонил телефон. Эрик снял трубку.

Из уличного шума выплыл торжествующий голос Мокера:

— Я раздобыл деньги! Звоню из автомата...

— Сенсация,— язвительно произнес Баскин,— Виля Мокер раздобыл десять центов.

— Болван! — закричал Мокер.— Я достал шестнадцать тысяч! Представь себе, шестнадцать тысяч! Мы победили!..

Было такое ощущение, что Мокер слегка помешался. Он так кричал, что мы все хорошо его слышали. Баскин, морщась, отодвинул трубку. Диана из кухни спросила:

— Чего он хочет?

А Мокер все не унимался:

— Мы просидели два часа в шикарном ресторане «Блимпи». Я почти не заглядывал в словарь. Я был в ударе. Даже официанты прислушивались к нашему разговору. Наконец, он сдался, протянул мне руку и воскликнул: «Файн! Я подумаю. Ты хороший малый, Вилли! Америка нуждается в тебе!..»

Мокер запнулся и деликатно прибавил:

«И в твоих друзьях...»

— Так где же деньги? — спросил Эрик Баскин.

— Теоретически — у нас в кармане. Он даст. Я чувствую, он даст!

— Кто — он?

— Ларри Швейцер!

— Кто такой Ларри Швейцер?

— Это большой человек! Фигура! Настоящий капиталист!.. Я все объясню. Не расходитесь. Пошлите Дроздова за водкой. Я беру машину. Но у меня всего шесть долларов и токен. Скиньтесь понемногу и ждите меня внизу..

Через полчаса я уже разливал водку. Диана приготовила фирменный салат. В салате были грибы, огурцы, черносливы, редиска, но преобладали макароны.

Мокер говорил торопливо, сбивчиво и невнятно. Вот что я усвоил из его рассказа.

Есть такой Ларри Швейцер. Мокер познакомился с ним в еврейском центре. Швейцер — адвокат и бизнесмен. Скупает разоренные кварталы в Бруклине. Делает косметический ремонт. И затем поселяет там русских эмигрантов. То есть возрождает город.

При этом мечтает сыграть какую-то общественную роль. А потом чуть ли не баллотироваться в конгресс.

Для этого ему нужна общественная репутация. Чтобы заслужить ее, Швейцер учредил «Комитет». Задача «Комитета» — оказание помощи российским беженцам. Параллельно Швейцер организовал курсы английского языка и музей неофициальной советской живописи. Мокер, кажется, сумел убедить Ларри Швейцера в необходимости еще одной русской газеты. Причем Швейцеру вовсе не обязательно тратить собственные деньги. Он может содействовать нам в получении долгосрочного займа. Речь идет о пятнадцати — двадцати тысячах.

Итак, газета нужна этому типу как выразительный штрих общественной репутации.

Швейцер и его родители — американцы. Но дед, естественно, из Кишинева. Так что эмигрантские проблемы Швейцеру более или менее доступны..

Мокер перевел дыхание. Мы боялись верить. Эрик Баскин сказал:

— По-моему, рано бить в литавры. Дождемся окончательного решения вопроса.

— Но выпьем-то мы уже сейчас? — забеспокоился Дроздов.

— Возражений, — говорю, — не имеется...

Накануне

Как это ни удивительно, деньги мы все же получили — шестнадцать. Я спросил у Мокера:

— А почему не двадцать? Или не пятнадцать?

Мокер ответил, что круглая сумма — это всегда подозрительно. А в шестнадцати тысячах ощущается строгий расчет.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мой приятель Валерий Грубин деньги на водку занимал своеобразно. Он говорил:

«Я уже должен вам тридцать рублей. Одолжите еще пятерку для ровного счета...»

Таинственный Ларри Швейцер захотел с нами познакомиться. Мы приехали в его служебный офис. Это были две небольшие комнаты, заваленные всяким хламом.

Баскин разочарованно поморщился. Но Мокер объяснил ему:

— Миллионеры здесь не любят выделяться. В «мерседесах» разъезжают только гангстеры и сутенеры. А настоящие богачи стараются выглядеть поскромнее.

Я говорю:

— Наверное, меня все принимают за богача. Поскольку мои единственные брюки лопнули на заднице...

Но тут появился Ларри Швейцер. Мокер стал представлять нас. Баскина и Дроздова он назвал знаменитыми журналистами, а меня — знаменитым писателем. Каждый раз Ларри дружелюбно восклицал: «О!..»

Это был подвижный рыжеватый человек лет сорока. На его кремовых брюках выделялась ровная складка. Коричневые туфли блестели. Зеленая бобочка облегалась не слишком тугую поясицу. В Ленинграде так одеваются продавцы комиссионных магазинов.

Ларри куда-то позвонил. Через минуту нам принесли бутерброды и кофе.

Виля Мокер торжественно взглянул на Баскина. Мол, что я говорю?! Солидная фирма...

Дроздов предложил:

— Может, сбегать за водкой?

— Этого еще не хватало! — прикрикнул Мокер.

Ларри достал блокнот, калькулятор и авторучку. Потом сказал:

— Я очень рад, что познакомился с вами. Америке нужны талантливые люди. Я говорил с друзьями... Я думаю, вы можете получить ссуду на издание еврейской газеты. Но это должна быть именно еврейская газета. Еврейская газета на русском языке для беженцев из Союза. Цель такой газеты — приблизить читателей к еврейскому Богу и сионистским традициям.

Я попытался возразить:

— Нельзя ли использовать более общую формулировку? Например, «газета третьей эмиграции»? Без ударения на еврействе. А еще лучше — вообще не указывать, кто мы такие. Издавать еженедельник для всех, кто читает по-русски. Уделяя, разумеется, при этом место и еврейскому вопросу. Так мы соберем наибольшее число подписчиков.

— Но ведь бегут из России главным образом евреи? — удивился Ларри.

— Не только. Уехало довольно много русских, грузин, прибалтийцев. Не говоря о смешанных браках. Кроме того, советские евреи не очень религиозны. Большая часть еврейской интеллигенции воспитана на русской культуре.

Пока я говорил все это, Мокер страшно нервничал. Он делал мне знаки. Затем с нежнейшей улыбкой выговорил по-русски:

— Заткнись, мудака, ты все испортишь, чучело гороховое, антисемит проклятый!..

Но меня поддержал Баскин:

— Я согласен. Еврейскую газету покупать не будут. В этом есть что-то местечковое. И вообще, я не люблю, когда мне ставят условия.

— Интересно, — возмутился Мокер, — с каких это пор? А в московских газетах тебе не ставили условий?

— Потому-то я и уехал, — возразил Баскин.

Дроздов безмолвствовал. Он пил кофе и ел бутерброды.

Мокер сказал:

— Одну минутку, Ларри.

И затем, обращаясь к нам, с едва заметным бешенством:

— Вы просто идиоты! Человек готов нам помочь. Он хочет, чтобы газета была еврейской. Вам жалко? Укажем сбоку микроскопическими буквами: «Еврейская газета на русском языке», и все. Будем раз в год давать материалы по еврейской истории. Отмечать боль-

шие праздники... Что же тут плохого? В конце концов, большинство из нас действительно евреи... А главное, иначе денег не получим...

— Лично мне все равно,— отозвался Дроздов.

Баскин махнул рукой.

Мокер сказал:

— Извини, Ларри! Мои друзья уже рвутся в бой. Обсуждают конкретные творческие проблемы. Нам кажется, еврейская газета должна быть яркой, талантливой, увлекательной...

— Повело,— говорю,— кота на блядки!

— Что? — заинтересовался Ларри.

— Непереводаемая игра слов,— быстро пояснил Мокер...

— Значит,— сказал Ларри Швейцер,— в общих чертах мы договорились...

В джунглях капитала

На следующее утро мы получили деньги. Для начала — шесть с половиной тысяч. Тогда нам казалось, что это гигантская сумма. А впрочем, так оно и было.

Мы открыли счет в банке. Зарегистрировали нашу корпорацию. Отправились в Манхаттен снимать помещение.

В тот же день мы заняли две комнаты на углу Бродвея и Четырнадцатой. Строго напротив публичного дома «Веселые устрицы». Неподалеку в сквере шла бойкая торговля марихуаной. И все-таки мы были счастливы. Ведь это была наша редакция.

По такому случаю мы организовали вечеринку. Выпивали, сидя на полу. Порожние бутылки ставили в угол. Они появились в нашей редакции задолго до электрической лампы, телефона, календаря и наборной машины.

Допивали в полной темноте. Мокер разливал вино на слух...

Теперь я понимаю — это были лучшие дни моей жизни. Мы покупали оборудование на распродажах. Заказывали монтажные верстаки и компьютеры с русской программой. Вели переговоры с будущими авто-рами.

С кадрами проблем не ожидалось. Неустроенных интеллектуалов было вполне достаточно. Из одних док-

торов наук можно было сколотить приличную футбольную команду. Десятки журналистов предлагали нам свои услуги.

О нас заговорили. Причем не только с любовью. В русской колонии циркулировали тревожные слухи. Например, о том, что деньги мы получили в КГБ.

Я рассказал об этом Мокеру. Виля страшно обрадовался:

— Это прекрасно, что нас считают агентами КГБ. Пусть думают, что за нами стоит могущественная организация. Это повысит наш кредит.

Однако мы все же предприняли небольшое расследование. Выяснилось, что легенды о нас распространяет «Слово и дело». Боголюбов в разговоре с посетителями делал таинственные намеки. Появилась, мол, в Нью-Йорке группа авантюристов. Намерена вроде бы издавать коммунистический еженедельник. Довлатова недавно видели около советского посольства. И так далее. А слухи распространяются быстро.

Все это меня удивило. О конкуренции я просто не думал. Разумеется, мы знали, что в Америке существует конкуренция. Но это касалось производства автомобилей, ботинок, сигар. Мы же хотели выпускать демократическую независимую газету. То есть участвовать в культурной жизни. Просвещать наших многострадальных соотечественников. Пропагандировать серьезное искусство. Бороться за чистоту русского языка. И, как неизменно добавлял Эрик Баскин, рассказывать миру правду о тоталитаризме.

И вдруг такое отношение.

Позже мы убедимся, что Америка — не рай. И это будет нашим главным открытием. Мы убедимся, что свобода равно благосклонна к дурному и хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают гладиолусы и марихуана. Все это мы узнаем позже.

А тогда я был наивным младенцем. Я следовал принципу обратной логики. То, что плохо у нас, должно быть замечательно в Америке. Там — цензура и портвейн, здесь — свобода и коньяк.

Америка была для нас идеей рая. Поскольку рай — это, в сущности, то, чего мы лишены.

В Союзе меня не печатали. Значит, тут я превращусь в Арта Бухвальда.

Мы говорили, уезжая:

«Я выбрал свободу!»

При этом наши глаза взволнованно блеснули. Ибо свободу мы понимали как абсолютное и неоспоримое благо. Как нечто обратное тоталитарной зоне.

Подобное чувство характерно для эзков, которые глядят на мир сквозь тюремную решетку. А также для инвалидов, которых санитары нехотя подвозят к больничному окну.

Свобода представлялась нам раем. Головокружительным попури из доброкачественного мяса, запрещенной литературы, пластинок Колтрейна и сексуальной революции.

И вдруг, повторяю, такое странное отношение...

Мы решили обратиться к самому Боголюбову. Все же он был когда-то знаком с Набоковым, Джойсом, Пикассо. Должны же в нем были сохраниться остатки человечности?! И вообще, если советские редакторы — шакалы, то здесь они должны быть как минимум похожи на людей!

Боголюбов делегацию не принял. Рекламирывать наш еженедельник отказался. А когда вышел первый номер, уволил из своей редакции мою жену. Она казалась ему лазутчицей, шпионкой.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Недавно Боголюбов говорил мне:

«Скажите, как поживает ваша жена Леночка? Она всегда такая бледная. Мы все ей так сочувствуем. Как она?»

Я отвечал:

«Борис Исаевич! С тех пор как вы ее уволили, мы живем хорошо...»

Первый номер еженедельника «Зеркало» вышел 16 февраля. Он произвел небольшой фурор.

Шестьдесят лет «Слово и дело» властвовало над умами читателей. Шестьдесят лет прославляло монархию. Шестьдесят лет билось над загадкой Советской власти. Шестьдесят лет пользовалось языком Ломоносова, Державина и Марлинского. Шестьдесят лет ожидало мифического религиозного возрождения.

Эти люди не знали главного. Они не знали, что старая Россия давно погибла. Что коммунизм есть результат длительного биологического отбора. Что Советская власть — не форма правления, а образ жизни многомиллионного государства. Что религиозное возрождение затронуло пятьсот интеллигентов Москвы, Ленинграда и Киева.

Им казалось, что газета должна быть мрачной. Поскольку мрачность издаека напоминает величие духа.

И тут появились мы, усатые разбойники в джинсах. И заговорили с публикой на более или менее живом человеческом языке.

Мы позволяли себе шутить, иронизировать. И более того — смеяться. Смеяться над русофобами и анти-сеμίтами. Над лжепророками и псевдомучениками. Над велеречивой тупостью и змеиным ханжеством. Над воинствующими атеистами и религиозными кликушами.

А главное, заметьте, — над собой!

Мы заявили в полный голос:

«Еженедельник «Зеркало» — независимая свободная трибуна. Он выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам. Редакция несет ответственность лишь за уровень дискуссии...»

Из сотни авторов мы выбрали лучших. Всех тех, кого отказывалось печатать «Слово и дело». Остальные стали нашими злейшими врагами.

Месяца два прошло в атмосфере безграничного энтузиазма. Число подписчиков и рекламодателей увеличивалось с каждым днем. В интеллигентных компаниях только о нас и говорили.

Одновременно раздавались и негодующие выкрики:

— Шпана! Черносотенцы! Агенты госбезопасности! Прислужники мирового сионизма!

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Старый друг позвонил мне из Франции:

«Говорят, ты стал правоверным евреем? И даже сделал обрезание!»

Я ответил:

«Володя! Я не стал правоверным евреем. И вовсе не сделал обрезания. Я могу это доказать. Я не в состоянии протянуть тебе мое доказательство через океан. Но я готов предьявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу...»

Каждое утро мы распечатывали десятки писем. В основном это были чеки и дружеские пожелания. Но попадались и грубые отповеди. В одном письме меня называли (клянусь!) учеником Риббентропа, Жаботинского, Бубера и Арафата. В другом какой-то ненормальный интересовался, правда ли, что я, будучи охранником, физически мучил Солженицына. Хотя, когда Солженицына посадили, мне было три года. В охрану же

я попал через двадцать лет. Когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию.

Короче, шум стоял невообразимый.

Повторяю, это были лучшие дни моей жизни.

Встретились, поговорили

Зимой я наконец познакомился с Линн Фарбер. Линн позвонила и говорит:

— Я отослала перевод в «Нью-Йоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан.

Я спросил:

— «Нью-Йоркер» — это газета? Или журнал?

Линн растерялась от моего невежества:

— «Нью-Йоркер» — один из самых популярных журналов Америки. Они заплатят вам несколько тысяч!

— Ого! — говорю.

Честно говоря, я даже не удивился. Слишком долго я всего этого ждал.

Мы решили встретиться на углу Бродвея и Сороковой.

Линн предупредила:

— В руках у меня будет коричневая сумочка.

Я ответил:

— А меня часто путают с небоскребом «Утюг»...

Я пришел ровно в шесть. По Бродвею двигалась шумная, нескончаемая толпа. Я убедился, что коричневая сумочка — не очень выразительная примета. Слава Богу, меня заранее предупредили, что Линн Фарбер — красивая. Типичная «Мадонна» Боттичелли...

В живописи я разбираюсь слабо. Точнее говоря, совсем не разбираюсь. (С музыкой дело обстоит не лучше.) Но имя Боттичелли — слышал. Ассоциаций не вызывает. Так мне казалось.

И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу. Настолько, что преградил ей дорогу.

Наверное, Боттичелли жил в моем подсознании. И когда понадобилось, выплыл.

Действительно — Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что тут особенного?! А в жизни это попадает так редко!

Надо ли говорить, что я сразу решил жениться? Забыв обо всем на свете. Что может быть разумнее — жениться на собственной переводчице?

Затем состоялся примерно такой диалог:

— Здравствуйте, я — Линн Фарбер.

— Очень приятно. Я тоже...

Видно, я здорово растерялся. Огромный гонорар, «Нью-Йоркер», юная блондинка... Неужели все это происходит со мной?!

Мы шли по Сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Выкрикнул что-то размашистое. То ли — «К цыганам!», то ли — «В пампасы!»... Я изображал неистового русского медведя. Я обратился к бармену:

— Водки, пожалуйста. Шесть двойных!

— Вы кого-то ждете? — поинтересовался бармен.

— Да.— ответила моя знакомая,— скоро явится вся баскетбольная команда...

Линн Фарбер молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Другая бы непременно высказалась:

— Закусывай! А то уже хорош!

Кстати, в баре и закусывать-то нечем...

Молчит и улыбается.

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпаемая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги, скажем, у меня быстро кончаются, одиночество — никогда...

А девушка все молчала. Пока я о чем-то не спросил. Пока не сказал чего-то лишнего... Бывает, знаете, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр, и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунда, и окунешься в пустоту. Тут важно немедленно остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало имя — Дэннис. Дэннис Блэкли — муж или жених...

Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо. И совершенно детская улыбка. (Как это они друг друга находят?!) Ладно, подумал я, ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, когда блондинка исчезает с хорошим человеком...

Наши будни

Каждое утро мы дружно отправлялись в редакцию. Командные посты у нас распределились следующим образом. Мокер стал президентом корпорации, адми-

нистратором и главным редактором. Я заведовал литературным отделом. Баскин отвечал за спорт и публицистику. Дроздов был работником широкого профиля. Он выступал на любые темы, давал финансовые консультации, рекламировал медицинские препараты. Кроме того, убирал помещение и бегал за водкой. Да еще ухаживал за тремя женщинами: секретаршей, машинисткой и переводчицей.

Все мы трудились бесплатно. Мокера и Баскина кормили жены. Моей жене, как безработной, выдали пособие. Дроздов обедал у своих многочисленных подруг. А также гулял с чужой собакой и получал велфер.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то Дроздов похитил банку анчоусов в супермаркете. Баскин его отчитал. Дроздов оправдывался:
«Это моя личная борьба с инфляцией!..»

Доходов газета не приносила. Виля Мокер объяснял нам:

— Мы должны продержаться год. Это самое трудное время. Небольшие предприятия гибнут обычно в течение шести или семи месяцев..

Мокер учил:

— В газете есть три источника дохода. Подписка, розница и объявления. Подписка — это миф. Это деньги, которые мы, в сущности, занимаем у читателя. Розница дает гроши — тридцать пять центов с экземпляра. Чистые деньги приносят только рекламные объявления. На этом держатся все западные газеты. Но получить рекламу довольно трудно. Американцев русский еженедельник не интересуется. А наши деятели целиком зависят от Боголюбова. Он дает им скидку, лишь бы не рекламировались в «Зеркале». Боголюбов говорит им: «С кем вы имеете дело? С агентами Кремля?!..»

Мокер не фантазировал. К сожалению, так оно и было. Кроме всего прочего, редактор «Слова и дела» звонил нашим авторам. Угрожал, что перестанет рекламировать их книги. При этом клялся, что скоро увеличит гонорары.

Многие были вынуждены подчиниться. Боялись портить отношения с влиятельной ежедневной газетой. Боголюбов говорил о нас:

— Диссидентов мы тут не потерпим!

(Спрашивается, почему же их должен был терпеть Андропов в Москве?..)

И все-таки популярность нашей газеты росла. Мы побуждали читателей к спорам. Касались запрещенных тем. Например, позволяли себе критиковать Америку.

Поклонников у нас становилось все больше. Но и количество противников росло.

Помню, мы опубликовали в «Зеркале» рецензию на книгу Солженицына. И были в ней помимо дифирамбов мягкие критические замечания.

Боже, какой начался шум!

— Кто смел замахнуться на пророка?! Его особа священна! Его идеи вне критики!..

Десятилетия эти болваны молились Ленину. А теперь готовы крушить монументы, ими самими воздвигнутые.

Казалось бы, свобода мнений — великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений!.. С легкой оговоркой — для тех, чье мнение я разделяю.

А как быть с теми, чье мнение я не разделяю? Их-то куда? В тюрьму? На галеры?..

Люди уехали, чтобы реализовать свои законные права. Право на творчество. Право на материальный достаток. И в том числе — священное право быть неправым. Право на заблуждение!

Дома тех, кто был не прав, убивали. Ссылали в лагерь. Выгоняли с работы. Но сейчас-то мы в Америке. Кругом свобода, а мы за решеткой. За решеткой своей отвратительной нетерпимости..

Четыре телефона было в нашей редакции. И все они звонили беспрерывно. Иногда мы выслушивали комплименты. Гораздо чаще — обвинения и жалобы. Видимо, негативные эмоции — сильнее.

Со временем мне надоело оправдываться. Пускай думают, что именно я отравил госпожу Бовари..

Так прошло месяцев шесть. Мы побывали в Чикаго, Детройте, Бостоне, Филадельфии. Встречали нас очень хорошо. Наши поклонники образовали что-то вроде секты. Мы по-прежнему были главной темой разговоров в эмиграции. При этом еженедельно теряли долларов четырехста. Денег оставалось все меньше. Но мы все равно ликовали..

Лирическое отступление

В Америке нас поразило многое. Телефоны без проводов и съедобные дамские штанишки. Улыбающиеся полицейские и карикатуры на Рейгана... Чему-то радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем информацию, грязь в метро, нью-йоркский климат, чернокожих подростков с транзисторами...

И конечно же достается от нас тараканам. Тараканы занимают среди язв капитализма весьма достойное место.

Вообразите шкалу негативных эмоций. На этой шкале тараканы располагаются, я думаю, между преступностью и гнусными бумажными спичками. Чуть ниже безработицы и чуть выше марихуаны...

Кто скажет, что мы выросли неженками? Дома было всякое. Дома было хамство и лицемерие. КГБ и цензура. Коммунальные жилища и очереди за мылом.

А вот тараканов не было. Я их что-то не припомню. Хотя жить приходилось в самых разных условиях.

Однажды я снял комнату во Пскове. Ко мне через щели в полу заходили бездомные собаки. А тараканов, повторяю, не было.

Может, я их просто не замечал? Может, их заслоняли более крупные хищники? Вроде уцелевших сталинистов? Не знаю...

Короче, приехали мы, осмотрелись. И поднялся ужасный крик:

— Нет спасения от тараканов! Лезут, гады, изо всех щелей! Ну и Америка! А еще цивилизованная страна!

Начались бои с применением химического оружия. Заливаем комнаты всякой ядовитой дрянью.

Вроде бы и зверя нет страшнее таракана! Совсем разочаровал нас проклятый капитализм!

А между тем, кто видел здесь червивое яблоко? Хотя бы одну гнилую картофелину? Не говоря уже о старых большевиках...

И вообще, чем провинились тараканы? Может, таракан вас когда-нибудь укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же...

Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика маленького гоночного автомобиля.

Таракан не в пример комару — молчалив. Кто слышал, чтобы таракан повысил голос?

Таракан знает свое место и редко покидает кухню. Таракан не пахнет. Наоборот, борцы с тараканами оскорвляют жилища гнусным запахом химикатов.

Мне кажется, всего этого достаточно, чтобы примириться с тараканами. Полюбить — это слишком. Но примириться, я думаю, можно. Я, например, мирюсь. И надеюсь, что это — взаимно...

Боголюбов топает ногами

Редактор «Слова и дела» без конца шельмовал нас в частном порядке. Газета его хранила молчание. Напасть открыто значило бы — дать рекламу конкуренту. Да еще бесплатную.

Мы же то и дело выступали с критикой. И Боголюбов не выдержал. Он написал большую редакционную статью — «Доколе?». «Зеркало» в этой статье именовалось «грязным бульварным листком». А я — «бывшим вертухаем».

Речь в статье, естественно, шла о том, что мы продались КГБ.

В ответ я написал:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО редактору газеты «Слово и дело»

Уважаемый господин Боголюбов!

Я прочитал вашу статью «Доколе?». Мне кажется, она знаменует собой новый этап вашей публицистической деятельности. И потому заслуживает серьезного внимания.

Статья написана абсолютно чуждым вам языком. Она напориста и агрессивна. Более того, в ней попадаются словечки из уголовно-милицейского жаргона. (Например, «вертухай», как вы соизволили дружески меня поименовать.) И я бесхитростно радуюсь этому как сторонник живого, незакрепощенного литературного языка.

Я оставляю без внимания попытки унижить меня, моих друзей и наш еженедельник. Отказываюсь реагировать на грубые передержки, фантастические домыслы и цитируемые вами сплетни.

Я оставляю без последствий нанесенные мне оскорбления. Я к этому привык. К этому меня приучили в стра-

не, где хамство является нормой. Где за вежливым обращением чудится подвох. Где душевная мягкость воспринимается как слабоумие.

Кем я только не был в жизни! Стилягой и жидовской мордой. Агентом сионизма и фашиствующим молодчиком. Моральным разложением и политическим диверсантом. Мало того, я — сын армянки и еврея — был размашисто заклеен в печати как «эстонский националист» (!).

В результате я закалился и давно уже не требую церемонного отношения к себе. Что-то подобное я могу сказать и о нашей газете. Мы — не хризантема. Нас можно изредка вытаскивать с корнем, чтобы убедиться, правильно ли мы растем. Мне кажется, нам это даже полезно.

Короче, быть резким — ваше право старшего, или, если хотите, право мэтра. Таким образом, меня не унижает форма ваших словоизъявлений. Меня интересует не форма, а суть.

Что же так неожиданно вывело из равновесия умного, интеллигентного, пожилого господина? Что заставило его нарушить обет молчания? Что побудило его ругаться и топтать ногами, опускаясь до лагерной «фени»? Чем мы так досадили вам, господин Боголюбов?

Я могу ответить на этот вопрос: Мы досадили вам фактом нашего существования.

До семидесятого года в эмиграции царил относительный порядок. Отшумели прения и споры. Распределились должности и звания. Лавровые венки повисли на заслуженных шеях.

Затем накатила третья волна эмиграции.

Как и всякая человеческая общность, мы — разнородны. Среди нас есть грешники и праведники. Светила математики и герои «черного рынка». Скрипачи и наркоманы. Диссиденты и бывшие работники партаппарата. Бывшие заключенные и бывшие прокуроры. Евреи, православные, мусульмане и дзен-буддисты.

При этом в нас много общего. Наш тоталитарный опыт. Болезненная чувствительность к демагогии. Идиосинкразия к пропагандистской риторике.

И пороки у нас общие. Нравственная и политическая дезориентация. Жизнестойкость, переходящая в агрессию. То и дело проявляющаяся неразборчивость в средствах.

Мы не хуже и не лучше старых эмигрантов. Мы

решаем те же проблемы. Нам присущи те же слабости. Те же комплексы чужестранцев и неофитов.

Мы так же болеем душой за нашу ужасную родину. Ненавидим и проклинаем ее тиранов. Вспоминаем друзей, с которыми разлучены.

Мы не лучше и не хуже старых эмигрантов. Просто мы — другие.

Мы приехали в семидесятые годы. Нас радушно встретили. Помогли нам адаптироваться и выстоять. Приобщиться к ценностям замечательной страны. Нам удалось избежать того, что пережили старые эмигранты. И мы благодарны всем, кто способствовал этому.

Мы вывезли из России не только палехские шкапулки. Не только коралловые и янтарные бусы. Не только пиджаки из кожзаменителя. Мы вывезли свои дипломы и научные работы. Рукописи и партитуры. Картины и открытия.

Мы начали создавать газеты и журналы. Телевизионные студии и финские бани. Рестораны и симфонические оркестры.

Мы ненавидим бесплодное идеологическое столочерчение. Нас смешат инфантильные проекты реорганизации тоталитарного общества. Потешают иллюзии религиозного возрождения. Мы поняли одну чрезвычайно существенную вещь. Советские лидеры — не инопланетяне. Не космические пришельцы. А Советская власть — не татаро-монгольское иго. Она живет в каждом из нас. В наших привычках и склонностях. В наших пристрастиях и антипатиях. В нашем сознании и в нашей душе. Советская власть — это мы.

А значит, главное для нас — победить себя. Преодолеть в себе раба и циника, труса и невежду, ханжу и карьериста.

Вы пишете:

«Есть только один враг — коммунизм!»

Это неправда. Коммунизм не единственный враг. Есть у нас враги и помимо обветшалой коммунистической доктрины. Это — наша глупость и наше безбожие. Наше себялюбие и фарисейство. Нетерпимость и ложь. Своекорыстие и продажность...

Когда-то Иосифа Бродского спросили:

— Над чем вы работаете?

Поэт ответил:

— Над собой...

Вы обрушиваетесь на дерзкий, самостоятельный,

формирующийся еженедельник. Обвиняете его в смертных грехах.

Что произошло? Чем мы вас травмировали?

И вновь я отвечу — фактом нашего существования.

Была одна газета — «Слово и дело». Властительница дум. Законодательница мод и вкусов. Единственная трибуна. Единственный рупор общественного мнения.

В этой газете можно было прочесть любопытные вещи. Что Иосиф Бродский не знает русского языка. Что Россия твердо стоит на пути христианского возрождения. Что в борьбе против коммунистов любые средства хороши. Что Адриана Делианич выше Набокова.

И все кивали. Затем возник наш еженедельник. И началась паника в старейшей русской газете:

— Да как они смеют?! Да кто им позволил?! Да на что они рассчитывают?! (А мы-то, грешным делом, рассчитывали именно на вас.)

Вы утверждали, господин Боголюбов:

— Прогорите! Лопнете! Наделаете долгов!

Вы многого не учли. Не учли жизнестойкости третьей эмиграции. Меры нашего энтузиазма. Готовности к самопожертвованию.

Еженедельник существует. Монополия нарушена. Возникли новые точки зрения, новые оценки, новые кумиры.

И вы, господин Боголюбов, забили тревогу. Вы отказались поместить нашу рекламу. Запретили своим авторам печататься у нас. Стали обрабатывать наших партнеров и заказчиков.

Теперь вы хитроумно объявляете себя жертвой политической критики. А нас — советскими патриотами и функционерами КГБ.

Это — уловка. Мы не подвергали вашу газету идеологической критике. Для этого она слишком безлика. Мы критиковали профессиональные недостатки газеты. Ее неуклюжий и претенциозный язык. Консервативное оформление. Ее прекраснородушность и бесконфликтность. Тусклую атмосферу исторических публикаций.

Мы признаем заслуги вашей газеты. Мы также признаем ваши личные заслуги, господин Боголюбов. Однако мы сохраняем право критиковать недостатки газеты. И требовать от ее администрации честного делового поведения в рамках федеральных законов.

Вы озглавили статью — «Доколе?». По всей статье рассыпаны таинственные намеки. Упоминаются какие-то

загадочные инстанции. Какие-то неназванные зловещие силы. Какие-то непонятные органы и учреждения.

Дома бытовало всеобъемлющее ругательство — «империалист». Что не так — империалисты виноваты.

Здесь — «агенты КГБ». Всё плохое — дело рук госбезопасности. Происки товарища Андропова.

Пожар случился — КГБ тому виной. Издательство рукопись вернуло — под нажимом КГБ. Жена сбежала — не иначе как Андропов ее охмурил. Холода наступили — знаем, откуда ветер дует.

Слов нет, КГБ — зловещая организация. Но и мы порой бываем хороши. И если мы ленивы, глупы и бездарны — Андропов ни при чем. У него своих грехов хватает. А у нас — своих.

Так зачем же нагнетать мистику? Зачем объяснять свои глупости, хитрости и неудачи происками доблестных чекистов? Зачем в благодатной Америке корчить из себя узников Лубянки?!

Это неприлично и смешно.

КГБ здесь вне закона. Пособничество КГБ — судебное наказуемое деяние. Голословное обвинение в пособничестве КГБ — также является наказуемым деянием. А именно — клеветой.

Надеюсь, с этим покончено?

Вы пытались удушить наш еженедельник самыми разными методами. Вы лишили нас рекламы и запугали многих авторов. Вы использовали еще одно средство — заговор молчания. Вы чванливо игнорировали «Зеркало». Притворялись, что его не существует.

Сейчас этот заговор нарушен. Великий немой заговорил. Правда, он заговорил крикливым, истерическим голосом. С неясными витиеватыми формулировками:

«Так называемый еженедельник...». «Сомнительный бульварный листок...». А также — «...некий господин из бывших вертухаев...».

И все-таки заговор нарушен. Я считаю, что это маленькая победа демократии. И надеюсь, что разговор будет продолжен. Честный и доброжелательный разговор о наших эмигрантских проблемах.

Мы готовы к этому разговору! Готовы ли к нему вы?

К сожалению, наша жизнь пишется без черновиков. Ее нельзя редактировать, вычеркивая отдельные строки. Исправить печатки будет невозможно.

Уважающий вас *Сергей Довлатов*

Кухня

Увы, дела в редакции шли не лучшим образом. Боголюбов, конечно, отравлял нам существование. Но и сами мы делали разнообразные глупости.

Отсутствие денег порождало легкую нервозность. Мы начали ссориться.

Баскин, например, постепенно возненавидел Мокера. Он называл его «кипучим бездельником». А ведь Мокер казался поначалу самым энергичным. И деньги раздобыл фактически он.

Наверное, это была вершина его жизнедеятельности. Единственная могучая вспышка предприимчивости и упорства.

После этого Мокер не то чтобы стал лентяем. Но ему категорически претили будничные административные заботы. Он ненавидел счёта, бумаги, ведомости, прейскуранты. Реагировал на одно письмо из десяти. При этом забывал наклеивать марки. Его часами дожидались люди, которым Мокер назначил свидание. Короче, Виля был чересчур одухотворенной личностью для простой работы.

Зато целыми днями, куря сигару, говорил по телефону. Разговоры велись по-английски. Содержание их было нам малодоступно. Однако, беседуя, Мокер то и дело принимался хохотать. На этом основании Баскин считал все его разговоры праздными.

Мокер оправдывался:

— Я генерирую идеи...

Баскина раздражало слово «генерирую».

Мокер тоже не жаловал Баскина. Он называл его «товарищем Сталиным». Обвинял в тирании и деспотизме.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Баскин и Мокер сильно враждовали. Я пытался быть миротворцем. Я говорил Баскину:

«Эрик! Необходим компромисс. То есть система взаимных уступок ради общего дела».

Он перебивал меня:

«Я знаю, что такое компромисс. Мой компромисс таков. Мокер становится на колени и при всех обещает честно работать. Тогда я его, может быть, и прощу...»

Дрездов, наоборот, работал много и охотно. Он был готов писать на любые темы. В любых существующих жанрах. А главное — с любых позиций.

Случалось мне давать ему на рецензию книги. Дроздов уточнял:

— Похвалить или обругать?

Однажды Баскин заявил:

— Мы обязаны выступить на тему советско-афганского конфликта!

Дроздов заинтересованно приподнялся:

— На чьей стороне?..

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Лева Дроздов говорил:

«За что все так ненавидят евреев? По-моему, румыны и китайцы еще хуже...»

Ларри Швейцер в редакции появлялся не часто. Первые месяцы вел себя деликатнейшим образом. Казалось, газета его совершенно не интересует. Важно, что она есть. Фигурирует в соответствующих документах. Для чего ему газета, я так и не понял.

Затем он стал более придирчивым. Видимо, у него появились советники и консультанты.

Как-то раз мы давали израильский путевой очерк. Сопроводили его картой Иерусалима.

На следующее утро в редакции появился Швейцер:

— Что вы себе позволяете, ребята? Что это за гнусная антисемитская карта?! Там обозначены крестиками православные церкви.

Баскин сказал:

— Мы не виноваты.

— Кто же виноват? — повысил голос Швейцер.

— Крестоносцы, — ответил Баскин, — они построили в Иерусалиме десятки церквей.

Тогда Ларри Швейцер закричал:

— Пускай ваши засранные крестоносцы издадут собственный еженедельник! А мы будем издавать еврейскую газету. Без всяких православных крестов. Этого еще не хватало!

— Ну и мудака! — сказал Баскин.

— Что такое — «нуйм удак»? — внезапно заинтересовался Швейцер.

— Идеалист, романтик, — перевел Виля Мокер...

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Мой друг Изя Шапиро часто ездил в командировки по Америке. Оказываясь в незнакомом городе, Изя первым делом брал телефонную книгу. Его интересовало, много ли в городе

жителей по фамилии Шапиро. Если таковых было много, город Изе нравился. Если мало, Изю охватывала тревога. В одном текасском городке Изя, представляясь хозяину фирмы, сказал: «Я -- Изя Шапиро».

«Что это значит?» — удивился бизнесмен...

И все-таки дело шло. О нас писали крупнейшие американские газеты. Две статьи вышли под одинаковыми заголовками — «Русские идут».

К нам приходили радио- и тележурналисты. Нами интересовались славистские кафедры. Мы давали бесчисленные интервью.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Журналист спросил Вилю Мокера:

«На родине вы, очевидно, были диссидентом?»

Мокер ответил:

«Достаточно того, что я был евреем...»

Короче, резонанс мы вызвали довольно бурный.

Наши люди

За год мы обросли целым кругом постоянных внештатных сотрудников. Это были разные, в основном талантливые и симпатичные люди. Платили мы им сущие гроши.

Среди наших авторов выделялся публицист Зарецкий. Когда-то он был известным советским писателем. Выпустил двадцать шесть толстых книг о деятелях науки. Достигнув творческой зрелости, начал писать о гениальном биологе Вавилове. И тут его пригласили в КГБ:

«— Разве товарищ публицист не знает, что Вавилов был арестован как шпион? Что он скончался в лагерном бараке? Ах, знает и все-таки собирается писать о нем книгу?! Разве мало у нас гениальных людей, которые умерли в собственных постелях?..

— Раз, два, и обчелся! — сказал Зарецкий».

Так началась его разногласия с властями. Через год Зарецкий эмигрировал.

Это был талантливый человек с дурным характером. При этом самоуверенный и грубый. Солидные годы и диссидентское прошлое возвышали Зарецкого над его молодыми коллегами.

С Мокером он просто не здоровался. Администратор для Зарецкого был низшим существом.

Разговаривая с Баскиным, он простодушно недоумевал:

— Так вы действительно увлекались хоккеем? Что же вы писали на эту странную тему? Если не ошибаюсь, там фигурируют гайки и клошки?

— Не гайки, а шайбы, — мрачно поправлял его Эрик. Зарецкий спрашивал Дроздова:

— Скажите, у вас есть хоть какие-нибудь моральные принципы? Самые минимальные? Предположим, вы могли бы донести на собственного отца? Ну а за тысячу рублей? А за двадцать тысяч могли бы?

Дроздов отвечал:

— Не знаю. Не думаю. Вряд ли...

Ко мне Зарецкий относился чуть получше. Хотя, разумеется, презирал меня, как и всех остальных. Его редкие комплименты звучали примерно так:

— Я пробежал вашу статью. В ней упомянуты Толстой и Достоевский. Оказывается, вы читаете книги.

Выносили его с трудом. Но у Зарецкого была своя аудитория. За это старику многое прощалось.

Кроме того, он был прямой и честный грубиян. Далеко не худший тип российского интеллигента...

Политические обзоры вел Гуревич. Это был скромный, добросовестный и компетентный человек. Правда, ему не хватало творческой смелости. Гуревич был слишком осторожен в прогнозах. Чуть ли не все его политические обзоры заканчивались словами:

«Будущее покажет».

Наконец я ему сказал:

— Будь чуточку нахальнее. Выскажи какую-нибудь спорную политическую гипотезу. Ошибайся, черт возьми, но будь смелее.

Гуревич сказал:

— Постараюсь.

Теперь его обзоры заканчивались словами:

«Поживем — увидим».

Отдел театра и кино вела у нас супружеская пара Лисовских. Толя и Рита. Толя был инфантильным, капризным, начитанным мальчиком с хорошим английским. Рита обладала волевым и напористым характером. Как ни странно, их брак получился удачным. Хотя Рита была старше мужа лет на двадцать. Я с юности знал ее по Ленинграду.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Как-то мы завтракали с Лисовскими в пиццерии. Рита вышла позвонить. Толя вдруг покраснел и спрашивает:

«Это правда, что вы ухаживали за моей женой?»

Я мягко ответил:

«Правда. Но это было за год до вашего рождения...»

Статьи они писали быстро и талантливо.

Отделом юмора заведовал Соколовский. Один из самых ярких людей в эмиграции. Писал он с необычайной легкостью и мастерством. Чаще всего это были стихотворные фельетоны. Или миниатюры примерно такого содержания:

Трещит на улице мороз,
Снежинки белые летают,
Замерзли уши, мерзнет нос...
Замерзло все. А деньги — тают!

Кроме журналистов в редакции постоянно находились самые загадочные личности. К нам тянулись все обездоленные, праздные, разочарованные, запутавшиеся люди. Тем более что рабочий день у нас, как правило, заканчивался выпивкой.

Заходил эстражник Беленький, который так и не смог получить работу. Зато успел пристраститься к марихуане.

Заезжал на своем радиофицированном такси бывший фарцовщик Акула. Рассказывал о ночных похождениях в Гарлеме и Бронксе. Например, он говорил:

— Америка любит сильных, мужественных и хладнокровных. Вот уже год я занимаюсь каратэ. Под сиденьем у меня хранится браунинг. В кармане — нож. Мои нервы превратились в стальные тросы. Как-то останавливают меня двое черных. Что-то говорят по-своему. Я понял только одно слово «деньги». А у меня было долларов пятьдесят...

— Ну и чем же все это кончилось? — спрашивали мы.

— Отдал им пятьдесят долларов и рад был, что ноги унес, — мрачно заканчивал Акула...

Появлялся у нас и религиозный деятель Лемкус. Говорил, что ведет на какой-то загадочной радиостанции передачи о любви и христианском смиреннии. Параллельно торгует земельными участками в Рочестере.

Баскин подозрительно спрашивал:

— Что такое Рочестер? Может, это название кладбища?

— Ничего подобного,— заверял его Лемкус,— это сказочное место. Вы можете купить там недорогое бангало.

Эрика раздражало слово «бангало»...

Заходил в редакцию и отставной диссидент Караваев. Это был прирожденный революционер, темпераментный, мужественный и самоотверженный. Недаром он двадцать лет провел в советских лагерях.

Караваев ненавидел Советскую власть и отважно противостоял ее давлению. На счету его было девять гололовок и тринадцать месяцев в ШИЗО.

На одном из судебных процессов Караваеву задали вопрос:

— Ваша национальность?

— Заключенный,— ответил Караваев.

Наконец, его выпустили по ходатайству Киссинджера. И Караваев оказался на свободе.

Первую неделю он непрерывно давал интервью западным газетам. Затем прочитал несколько лекций. Опубликовал в русской прессе десяток статей. Речь в этих статьях шла о преимуществах демократии над тоталитаризмом.

Через шесть недель Караваев исчерпал все свои мысли. Отныне ему было совершенно нечего делать.

Профессии он не имел. Языком овладеть не пытался. Литературных способностей не обнаружил. Становиться таксистом ему не хотелось.

Караваев был только героем. К сожалению, это не профессия.

Он ненавидел советский режим. Однако жизнь без него для Караваева лишилась смысла.

Он все больше пил. Неумоимо создавал какие-то партии, лиги, объединения. Писал нескончаемые манифесты и декларации. Призывал окружающих к борьбе за новую Россию. Как, впрочем, и за новую Америку.

Все его произведения начинались словами:

«В обстановке надвигающегося кризиса демократии считаю целесообразным заявить...»

Мы испытывали к нему глубокое сочувствие.

Дважды Караваев приносил мне свои рассказы. Почему-то из жизни дореволюционной аристократической Москвы. Я запомнил, например, такую фразу:

«Барон учтиво приподнял изящное соломенное канапе...»

(Автор, видимо, хотел сказать — канотье.)

Печатать эти рассказы, да еще в газете, было невозможно. Караваяв затаил на меня обиду...

Реже других заглядывал экономист Скафарь, который уже год подыскивал невесту. На это уходили все его силы. Пока что брачные конторы рекомендовали ему всякий залежалый товар.

Да и сам экономист едва ли был завидным женихом. Чужестранец в синтетическом пиджаке, без определенных занятий. Вряд ли на такого польстится мадмуазель Брук Шилдс...

Жили мы довольно весело, хотя тучи на горизонте уже сгущались...

Бремя демократии

В Союзе нам казалось, что мы убежденные демократы. Еще бы, ведь мы здоровались с уборщицами. Пили с электромонтерами. И, как положено, тихо ненавидели руководство.

Тоталитаризм нам претил. И мы ощущали себя демократами.

Наконец был сделан выбор. Мы эмигрировали на Запад. Приехали, осмотрелись. И стало ясно, что выбрать демократию недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию.

Профессией надо овладеть. То есть учиться. Осваивать знания.

С демократией такая же история. Потому что демократия — это великая сила, но и тяжелое бремя.

В редакции я многое понял. Ощутил, например, всю степень бессилия мистера Рейгана.

Давить — нельзя. Приказывать — нельзя. Самые незначительные вопросы решаются голосованием.

А главное, все без конца дают тебе советы. И ты обязан слушать. Иначе будешь заклеен как авторитарная личность...

В Союзе мы были очень похожи. Мы даже назывались одинаково — «идейно чуждыми». Нас сплачивали общие проблемы, тяготы и горести. Общее неприятие режима.

На этом фоне различия были едва заметны. Они не имели существенного значения. Не стукач, не ворюга — уже хорошо. Уже достижение.

Теперь мы все очень разные. Под нашими мятежными бородами обнаружили самые разные лица.

Есть среди нас либералы. Есть демократы. Есть сторонники монархии. Правоверные еврей. Славянофилы и западники. Есть, говорят, в Техасе даже один марксист. И у каждого — свое законное, личное, драгоценное мнение. Так что любой разговор немедленно перерастает в дискуссию.

Настоящему капиталисту легче. У него в руках механизмы финансового стимулирования. А наши-то сотрудники работали почти бесплатно. А если ты человеку не платишь, значит, хотя бы должен его любить...

В общем, мало того, что нас давили конкуренты. Мало того, что публику иногда шокировали наши выступления. Но и в самой редакции проблем хватало.

Дело шло с перебоями, рывками.

Бизнес не порок

Мы постигали азбучные истины. Азы капиталистического производства. Так, например, мы обнаружили, что бизнес — не порок.

Для меня это было настоящим откровением. Так уж мы воспитаны.

В Москве «деловыми людьми» называют себя жулики и аферисты. Понятия «маклер», «бизнесмен» ассоциируются с тюремной решеткой.

А уж в литературной, богемной среде презрение к деловитости — нескрываемое и однозначное.

Ведь мы же поэты, художники, люди искусства! Этакие беспечные, самозабвенные жаворонки! Идея трезвого расчета нам совершенно отвратительна. Слова «дебет», «кредит» — нам и выговорить-то противно. По-нашему, уж лучше красть, чем торговать.

Человек, укравший в цехе рулон полиэтилена, считается едва ли не героем. А грузин, законно торгующий на рынке лимонами, объект бесконечных презрительных шуток.

В Америке, мне кажется, бизнесмен — серьезная, уважаемая профессия. Требуется ума, проницательности, высоких моральных качеств. Настоящий бизнесмен умеет рисковать и проигрывать. В минуту неудачи сохраняет присутствие духа. А в случае удачи — тем более.

Я уверен, что деньги не могут быть самоцелью. Особенно здесь, в Америке.

Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? Двести, триста тысяч? А люди здесь ворочают миллиардами.

Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру. Цифра превратилась в геральдический знак.

Не к деньгам стремится умный бизнесмен. Он стремится к полному, гармоническому тождеству усилий и результата. Самым доступным показателем которого является цифра...

Короче, нам требовался бизнес-менеджер. Попросту говоря, хороший администратор. Деловой человек. Потому что Мокер занимался только общими вопросами.

Журналистского опыта было достаточно. С административными кадрами дела обстояли значительно хуже. Умный пойдет в солидную американскую фирму. Глупый вроде бы не требуется. А без хорошего менеджера работать невозможно.

Тем более что мы узнали столько нового! Во-первых, окончательно стало ясно, что наша газета — товар. Примириться с этой мыслью было трудно.

Вы только подумайте! Любимая, родная, замечательная газета! Плод бессонных ночей! Результат совместных героических усилий! Наше обожаемое чадо, боготворимое дитя! Нетленный крик души! И вдруг — товар! Наподобие колбасы или селедки...

Увы, все это так. Ты можешь написать Четырнадцатую симфонию, «Гернику», «Анну Каренину». Создать искусственную печень, лазер или водородную бомбу. Ты можешь быть гением и провидцем. Великим еретиком и героем труда. Это не имеет значения. Материальные плоды человеческих усилий неминуемо становятся объектом рыночной торговли.

В сфере духа Модильяни — гений. А художник Герасимов — пошляк и ничтожество. Но в сфере рынка Модильяни — хороший товар, а Герасимов — плохой. Модильяни рентабелен, а Герасимов — нет.

Законам рынка подчиняется все, что создано людьми. И законы эти — общие. Для Зарецкого и Микеланджело. Для гусиных желудков и еженедельника «Зеркало»...

Я все твердил:

- Без хорошего администратора дело не пойдет...
Баскин соглашался:
— Значит, надо выгнать этого бездельника Мокера...

Шальные деньги

В декабре журнал «Нью-Йоркер» опубликовал мой рассказ. И мне действительно заплатили около четырех тысяч долларов.

Линн Фарбер казалась взволнованной и счастливой. Я тоже, разумеется, был доволен. Но все-таки меньше, чем предполагал. Слишком долго, повторяю, я ждал этой минуты. Ну а деньги, естественно, пришлось очень кстати. Как всегда...

Все меня поздравляли. Говорили, что перевод выразительный и точный.

Затем мне позвонил редактор «Нью-Йоркера». Сказал, что и в дальнейшем хочет печатать мои рассказы. Интересовался, как я живу.

Я сказал:

— Извините, у меня плохой английский. Вряд ли мне удастся выразить свои переживания. Я чувствую себя идиотом. Надеюсь, вы меня понимаете?

Редактор ответил:

— Все это даже американцу понятно...

Деньги, полученные в «Нью-Йоркере», мы, к собственному удивлению, истратили разумно. Жена приобрела в рассрочку наборный компьютер за девять тысяч. Сделала первый взнос.

Заказы мы надеялись получать у русских издателей. Например, у Карла Проффера в «Ардисе». И он действительно сразу прислал моей жене выгодную работу.

Линн Фарбер взялась переводить следующий рассказ. В эти же дни ей позвонил литературный агент. Сказал, что готов заниматься моими делами. Поинтересовался, есть ли у меня законченная книга. Линн Фарбер ответила:

— Как минимум штук пять...

Агента звали Чарли. Я сразу же полюбил его. Во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел. И даже мягкую пищу брал руками.

Для меня это было важно. Поскольку в ресторанах я испытываю болезненный комплекс неполноценности.

Не умею есть как следует. Боюсь официантов. Короче, чувствую себя непрошеным гостем.

А с Чарли мне всегда было легко. Хотя он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это получается.

К тому же Чарли был «розовым», левым. А мы, российские беженцы, — правые все, как один. Правее нас, как говорится, только стенка.

Значит, я был правым, Чарли левым. Но мы великолепно ладили.

Я спрашивал его:

— Вот ты ненавидишь капитализм. Почему же ты богатый? Почему живешь на Семьдесят четвертой улице?

Чарли в ответ говорил:

— Во-первых, я, к сожалению, не очень богат. Хотя я действительно против капитализма. Но капитализм все еще существует. И пока он не умер, богатым живет-ся лучше...

В юности Чарли едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди...

Я твердил:

— Спасибо тебе, Чарли! Вряд ли ты на мне хорошо зарабатываешь. Значит, ты идеалист, хоть и американец.

Чарли отвечал мне:

— Не спеши благодарить. Сначала достигни уровня, при котором я начну обманывать тебя...

Я все думал — бывает же такое! Американец, говорящий на чужом языке, к тому же розовый, левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочное дело — человеческое общение...

Письмо оттуда

Это письмо дошло чудом. Вывезла его из Союза одна героическая француженка. Храни ее Бог, которого нет...

Из Союза она нелегально вывозит рукописи. Туда доставляет готовые книги. Иногда по двадцать, тридцать штук. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана.

А мы еще ругаем западную интеллигенцию...

Вот это письмо. Я пропускаю несколько абзацев личного характера. И дальше:

«...Теперь два слова о газете. Выглядит она симпатично — живая, яркая, талантливая. Есть в ней щегольство, конечно — юмор и так далее. В общем, много есть хорошего.

Я же хочу сказать о том, чего нет. И чего газете, по моему, решительно не хватает.

Ей не хватает твоего прошлого. Твоего и нашего прошлого. Нашего смеха и ужаса, терпения и безнадежности.

Твоя эмиграция — не частное дело. Иначе ты не писатель, а квартиросъемщик. И несущественно где — в Америке, в Японии, в Ростове..

Ты вырвался, чтобы рассказать о нас и о своем прошлом. Все остальное мелко. Все остальное лишь унижает достоинство писателя. Хотя растут, возможно, шансы на успех.

Ты ехал не за джинсами и не за подержанной автомашиной. Ты ехал — рассказать. Так помни же о нас...

Говорят, вы стали американцами, свободными, раскованными, динамичными. Почти такими же стремительными, как ваши автомобили. Почти такими же содержательными, как ваши холодильники. Говорят, вы решаете серьезные проблемы. Например, какой автомобиль потребляет меньше бензина?

Мы смеемся над этими разговорами. Смеемся и не верим. Все это так, игра, притворство. Да какие вы американцы?! Бродский, о котором мы только и говорим? Ты, которого вспоминают у пивных ларьков от Разъезжей до Чайковского и от Стремянной до Штаба? Смешнее этого трудно что-нибудь придумать.

Не бывать тебе американцем. И не уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы. Тебя окружает прошлое. То есть мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, солдаты и зэки.

Еще раз говорю — помни о нас. Нас много, и мы живы. Нас убивают, а мы живем и пишем стихи.

В этом кошмаре, в этом аду мы узнаем друг друга не по именам. Как — это наше дело!..»

Я много раздумывал над этим письмом.

Есть свойство, по которому можно раз и навсегда отличить благородного человека. Благородный человек воспринимает любое несчастье как расплату за собствен-

ные грехи. Он винит лишь себя, какое бы горе его ни постигло.

Если изменила любимая, благородный человек говорит:

— Я был невнимателен и груб. Подавлял ее индивидуальность. Не замечал ее проблем. Оскорблял ее чувства. Я сам толкнул ее на этот шаг.

Если друг оказался предателем, благородный человек говорит:

— Я раздражал его своим мнимым превосходством. Высмеивал его недостатки. Задевал его амбиции. Я сам вынудил его к предательству...

А если произошло что-то самое дикое и нелепое? Если родина отвергла нашу любовь? Унизила и замучила нас? Предала наши интересы?

Тогда благородный человек говорит:

— Матерей не выбирают. Это моя единственная родина. Я люблю Америку, восхищаюсь Америкой, благодарен Америке, но родина моя далеко. Нищая, голодная, безумная и спившаяся! Потерявшая, загубившая и отвергнувшая лучших сыновей! Где уж ей быть доброй, веселой и ласковой?!

Березы, оказывается, растут повсюду. Но разве от этого легче?

Родина — это мы сами. Наши первые игрушки. Перешитые курточки старших братьев. Бутерброды, завернутые в газету. Девочки в строгих коричневых юбках. Мелочь из отцовского кармана. Экзамены, шпаргалки... Нелепые, ужасающие стихи... Мысли о самоубийстве... Стакан «Агдама» в подворотне... Армейская махорка... Дочка, варежки, рейтузы, повернувшийся задник крошечного ботинка... Косо перечеркнутые строки... Рукописи, милиция, ОВИР... Все, что с нами было, — родина. И все, что было, — останется навсегда...

Перед грозой

В редакции сгущались тучи. Ларри Швейцер становился все более нудным и придирчивым. Теперь ему хотелось просматривать газетные материалы заранее. Видно, Ларри обзавелся какими-то цензорами, читающими по-русски. Подозревать в этом можно было любого из отвергнутых нами авторов. Позднее мы выяснили, что этим занимался Дроздов.

Однажды Ларри Швейцер появился в редакции недовольный и злой. Он спросил:

«Зачем вы, ребята, упоминаете свинину? Еврейским читателям это неприятно».

Я не понял.

Ларри развернул последний номер газеты. Ткнул пальцем в экономический обзор, написанный Зарецким. Речь шла о хозяйственных проблемах в Союзе. В частности, об уменьшении производства свинины...

«Ларри, — говорю, — это же статья на хозяйственную тему!»

Швейцер рассердился:

«Упомянуть свинину запрещается. Замените ее фаршированной рыбой...»

Доходов газета не приносила. Убытки постоянно росли. Обстановка становилась все более напряженной.

Мы узнали, что Дроздов ходил на прием к Боголюбову. Каялся и просился на работу. Говорил, что Довлатов и Баскин затянули его в смут либерализма. В результате Дроздову что-то обещали...

Баскин сказал ему:

— Что же ты делаешь, мерзавец?

— А что? — поразился Дроздов. — Ничего особенного! Мы же все — антикоммунисты. Наши цели общие...

Я говорю:

— Ты не антикоммунист. Ты приспособленец. Думаешь, ты переменял убеждения? Ничего подобного! Ты переменял хозяев. А холуи везде нужны. Работа им всегда найдется.

Баскин махнул рукой:

— Да что с ним говорить!..

Мокер сидел, не вмешиваясь. Знал, что Баскин хочет от него избавиться. Я вроде бы занимал нейтральную позицию. А Мокеру требовались союзники. Рассчитывать он мог только на Дроздова.

Тут вмешалась наша машинистка. Видно, Дроздов ей чем-то не угодил. Она сказала:

— С этим типом бесполезно разговаривать. Он все равно не поймет. Таким нужны розги.

— Это мысль, — задумчиво выговорил Баскин.

Затем размашисто и сильно ударил Дроздова по лицу.

Я и Мокер схватили его за руки.

Реакция Дроздова была совершенно неожиданной. Он вдруг заметно расцвел. И заговорил, обращаясь к Эрику, проникновенно, с чувством:

— Ты прав, старик! Ты абсолютно прав! Это была моя ошибка. Непростительная ошибка. Я сделал глупость...

— Ну, что я вам говорила? — обрадовалась машинистка.

Все молчали. Настроение в редакции было мрачное и подавленное. И только левая щека Дроздова была на этом фоне единственным ярким пятном...

А я все думал — что же происходит? Ей-Богу, смущает меня кипучий антикоммунизм, завладевший умами недавних партийных товарищей. Где же вы раньше-то были, не знающие страха публицисты? Где вы таили свои обличительные концепции? В тюрьму шли Синявский и Гинзбург. А где были вы?

Андропова через океан критиковать — не подвиг. Вы Боголюбова покритикуйте. И тут уж я вам не завидую...

Неожиданно распахнулась дверь, и Гуревич с порога выкрикнул:

— Только что было покушение на Рейгана!..

Грустный мотив

Боже, в какой ужасной стране мы живем!

Можно охватить сознанием акт политического террора. Признать хоть какую-то логику в безумных действиях шантажиста, мстителя, фанатика религиозной секты. С пониманием обсудить мотивы убийства из ревности. Взвесить любой человеческий импульс.

В основе политического террора лежит значительная идея. Допустим, идея национального самоопределения. Идея социального равенства. Идея всеобщего благоденствия.

Сами идеи — достойны, подчас — благородны. Вызывают безусловный протест лишь чудовищные формы реализации этих идей.

В политическом террористе мы готовы увидеть человека. Фанатичного, жестокого, абсолютно чуждого нам... Но — человека.

Мы готовы критиковать его программу. Оспаривать его идеи. Пытаться спасти в нем живую, хоть и заблудшую душу.

Любое злодеяние мы стараемся объяснить несовершенством человеческой природы. То, что происходит в Америке, находится за объяснимой гранью добра и зла.

Во имя чего решился на преступление Джон Хинкли? Мотивы, рассматриваемые следствием, неправдоподобно убоги.

Нам известно заключение психиатрической экспертизы. Джон Хинкли признан вменяемым, то есть — нормальным человеком.

Американский юноша стреляет в президента, чтобы обратить на себя внимание малоизвестной женщины. Беда угрожает стране, где такое становится нормой!

Что-то нарушено в американской жизни...

Человек может стать звездой экрана или выдающимся писателем. Знаменитым спортсменом или видным ученым. Крупным бизнесменом или политическим деятелем. Все это требует ума, способностей, долготерпения.

А можно действовать иначе. Можно раздобыть пистолет и нажать спусковой крючок.

И все! Твоя физиономия украсит первые страницы всех американских газет. О тебе будет говорить вся страна. Правда, недолго. До следующего кровавого злодеяния...

Что-то нарушено в американской жизни!

Итальянская полиция не без труда освобождает генерала Дозьера. Америка ликует. Нам вернули украденного боевого генерала!

Что происходит?! В Иране студенты хватают заложников. Ведется униженный торг. Наконец, измученных дипломатов почти выкупают. Американцы устраивают им потрясающую встречу. Шампанское льется рекой...

До чего же низко упал престиж Америки! Дипломаты счастливы, что их не перестреляли, как уток.

Генерал Дозьер сообщает жене:

— Я чувствую себя превосходно!

А я в эту минуту чувствовал себя ужасно. Горе той стране, у которой днем воруют полководцев. Генерал — не пудель. Генералов надо охранять...

Видит Бог, мы покорены Америкой. Ее щедростью и благородством. И все же что-то нарушено...

Женщина тонет в реке Потомак. Некий храбрец бросается с моста и вытаскивает утопающую. Герой, честь ему и хвала!

Дальше начинается безудержное чествование героя. Газеты, журналы, радио и телевидение поют ему дифирамбы. Миссис Буш уступает ему свое кресло возле Пер-

вой леди. Говорят, скоро будет фильм на эту тему. А потом и мюзикл...

Из-за чего столько шума? Половина мужского населения Одессы числит за собой такие же деяния...

СОЛО НА УИДЕРВУДЕ

Лет десять назад я спас утопающего. Вытащил его на берег Черного моря.

Жили мы тогда в университетском спортивном лагере. Ко мне подошел тренер и говорит:

«Я о тебе, Довлатов, скажу на вечерней линейке».

Я обрадовался. Мне нравилась гимнастка по имени Люда. И не было повода с ней заговорить. Вдруг такая удача.

Стоим мы на вечерней линейке. Тренер говорит:

«Довлатов, шаг вперед!»

Я выхожу. Все на меня смотрят. И Люда в том числе. А тренер продолжает:

«Обратите внимание! Живот выпирает, шея неразвита, плавает, как утюг, а товарища спас!..»

После этого я на Люду и смотреть боялся.

Так что же происходит в Америке? Безумие становится нормальным явлением? Нормальный жест воспринимается как подвиг?

И я, человек неверующий, повторяю:

— Боже, вразуми Америку! Дай ей обрести силы, минуя наш кошмарный опыт! Внуши ей инстинкт самосохранения! Заставь покончить с губительной беспечностью!

Не дай разувериться, отчаяться, забыть — в какой прекрасной стране мы живем!

Из Америки — с любовью

Прошло еще два месяца. Второй мой рассказ был одобрен журналом «Нью-Йоркер». Одновременно Чарли начал добиваться контракта с приличным издательством. Короче, происходило что-то важное. А я все думал о газете. Хотя пытался говорить себе: «Осуществляются твои мечты...»

В шестидесятые годы я был начинающим литератором с огромными претензиями. Мое честолюбие было обратно пропорционально конкретным возможностям. То есть отсутствие возможностей давало мне право считаться непризнанным гением. Примерно так же рассуждали все мои друзья. Мы думали: «Опубликуемся на Западе, и все узнают, какие мы гениальные ребята!..»

И вот я на Западе. Гения из меня не вышло. Некоторые иллюзии рассеялись. Зато я, кажется, начинаю превращаться в среднего американского беллетриста. В одного из многих американских литераторов русского происхождения.

Боюсь, что мои друзья в России по-прежнему живут иллюзиями. Возможностей там явно не прибавилось. А следовательно, количество непризнанных гениев заметно возросло.

Мне давно хотелось написать им примерно следующее:

«Дорогие мои!

Вынужден быть крайне лаконичным. Поэтому только о главном. Только о наших с вами литературных делах.

Знайте, что Америка — не рай. Оказывается, здесь есть все — дурное и хорошее. Потому что у свободы нет идеологии. Свобода в одинаковой мере благоприятствует хорошему и дурному. Свобода — как луна, безучастно освещающая дорогу хищнику и жертве...

Перелетев океан, мы живем далеко не в раю. Я говорю не о колбасе и джинсах. Я говорю только о литературе...

Первый русский издатель на Западе вам скажет:

— Ты не обладаешь достаточной известностью. Ты не Солженицын и не Бродский. Твоя книга не сулит мне барышей. Хочешь, я издам ее за твои собственные деньги?..

Первый американский издатель выскажется гораздо деликатнее:

— Твоя книга прекрасна. Но о лагерях мы уже писали. О фарцовщиках писали. О диссидентах писали. Напиши что-то смешное о Древнем Египте...

И вы будете лишены даже последнего утешения неудачника. Вы будете лишены права на смертельную обиду. Ведь литература здесь принадлежит издателю, а не государству. Издатель вкладывает собственные деньги. Почему же ему не быть расчетливым и экономным?

Один издатель мне сказал:

— Ты жил в Союзе и печатался на Западе. Мог легко угодить в тюрьму или психиатрическую больницу. В таких случаях западные газеты поднимают шум. Это способствует продаже твоей книги. А сейчас ты на воле. И в тюрьму при нынешнем образе жизни едва ли угодишь. Поэтому я откладываю издание твоей книги до лучших времен...

Так и сказал — до лучших времен. Это значит, пока я не сяду в американскую тюрьму...

Тем не менее вас издадут. По-русски и по-английски. Потому что издательств русских — около сотни, американских — десятки тысяч. Всегда найдутся деятели, которые уверены, что Ян Флеминг пишет лучше Толстого.

Рано или поздно вас опубликуют. И вы должны быть к этому готовы. Потому что ваши иллюзии собственной тайной гениальности неизбежно рассеются.

Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. Пугаться этого не стоит. Только пошляки боятся середины. Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное...

И еще одно предостережение. Оказавшись на Западе, вы перестанете чувствовать свою аудиторию. Для кого и о чем вы пишете? Для американцев о России? Об Америке для русских?

Оказывается, вы пишете для себя. Для хорошо знакомого и очень близкого человека. Для этого монстра, с отвращением наблюдающего, как вы причесываетесь у зеркала...

Короче, ваше дело раскинуть сети. Кто в них попадет — американский рабочий, французский буржуа, московский диссидент или сотрудник госбезопасности, — уже не имеет значения...

Я знаю, что вам нелегко. Знаю, что изменилось качество выбора. Раньше приходилось выбирать между советским энтузиазмом и аполитичностью. Либо — партийная карьера, либо — монастырь собственного духа.

Раньше было два пути. Нести рассказы цензору или прятать в стол. Сейчас все по-другому. На Западе выходят десятки русских журналов и альманахов. Десятки издательств выпускают русские книги.

Так что приходится выбирать между рабством и свободой. Между безмолвным протестом и открытым самовыражением. Между немотой и речью...

Мы не осмеливаемся побуждать заключенных к бунту. Не смеем требовать от людей бесстрашия. Выбор — это личное дело каждого.

И все-таки сделать его необходимо. Как — это ваша забота и наша печаль.

Любящий и уважающий вас *Сергей Довлатов*».

Под гору

Атмосфера в редакции накалялась. Баскин и Дроздов не разговаривали между собой. Я изнурял Вилю Мокера соображениями дисциплины. Твердил, что без хорошего администратора газета погибнет.

Америка действительно страна неограниченных возможностей. Одна из них — возможность прогореть.

Ларри Швейцер стал довольно агрессивным. Он критиковал все, что бы мы ни делали. Видно, газета приносила ему серьезные убытки.

СОЛО НА УНДЕРВУДЕ

Однажды Швейцер пришел в редакцию и говорит:
«Вы расходуете слишком много фотобумаги. Она дорогая. Что, если делать снимки на обычном каргоне?»
Мы изумились:
«То есть как?!»
«Попробовать-то можно», — настаивал Швейцер..

Личные распри влияли на производственные отношения.

Однажды в редакцию приехала сожительница Дроздова — Марина. Без единого звука она плюнула в нашу секретаршу Эмму. Та сейчас же плеснула в Марину горячим кофе. Женщины начали зло и беспомощно драться. Их разнимали все, кроме Дроздова. Потом он говорил:

— Женские дела меня не касаются..

Уходя и прикрывая расцарапанную щеку, Марина выкрикнула:

— Хоть бы сгорела эта поганая редакция!..

Обстановка в газете стала фантастической. Это был некий симбиоз коммунизма и варварства. Еда была общая. Авторучки, сигареты, портфели — общие. Зарплаты отсутствовали.

Но отношения вконец испортились. Как известно, вражда — это бывшая дружба.

Даже мы с Баскиным испытывали взаимное раздражение. Он считал меня бесхарактерным, вялым интеллигентом. А я его — прямолинейным, ограниченным тираном.

Что-то должно было случиться.

При этом, чем хуже складывались обстоятельства в русской газете, тем успешнее шли мои дела в американской литературе. В апреле со мной подписали договор на книгу.

Огонь

В пять утра меня разбудил телефонный звонок. Бодрый голос спросил:

— Вы из русской газеты?

— Да.

— А я из полиции. У вас там пожар!

— Где? — не понял я.

— В редакции газеты. Срочно выезжайте к месту происшествия.

Этого еще не хватало!..

Я натянул брюки и побежал к Эрику. Тот уже все знал. Он был в костюме и даже при галстуке. Мало того, успел побриться, старый щеголь...

У лифта нам встретился Мокер. Ему уже тоже позвонили.

Дроздов жил в соседнем крыле. Мы решили для быстроты пройти через крышу.

Лева открыл нам сонный, в майке и трусах. Телефон он ночью выключает.

— Куда вы его тащите? — зашумела Марина. — Бесовестные! Он и так работает круглые сутки. Вчера явился около трех часов ночи... Вернее — сегодня...

Но мы уже спускались вниз. Дроздов застегивал на ходу брезентовую куртку.

Решили ловить такси. До метро от нас больше километра.

Машину удалось поймать только возле Квинс-бульвара. Подъехали к редакции минут через сорок. По дороге водителю нужно было заправиться.

У подъезда стояли два красных фургона. Рядом курили пожарные в шлемах и болотных сапогах. Под ногами извивались черные блестящие шланги.

Возле двери стоял полицейский. К нему мы и обратились. Он сказал:

— Не волнуйтесь, ребята. Пожар ликвидирован. Вам повезло, что напротив бордель. Девицы работают круглые сутки. Заметили огонь и позвонили. Могли ведь и не позвонить. Работа у девчат тяжелая, однообразная. А пожар все-таки развлечение...

Полицейский вызвал лифт. Держался он вполне миролюбиво. Не знаю, что тут преобладало, оптимизм или равнодушие...

Помещение редакции было залито водой. В лужах плавали обгоревшие хлопья бумаги. На почерневших сте-

нах висели обрывки проводов. Стоял отвратительный запах мокрой гари. Пластмассовый корпус наборной машины сгорел. Диван и кресла превратились в черные обуглившиеся рамы. Телефонные аппараты расплавились. Стекла были выбиты.

В редакции находилось еще трое полицейских. Нас развели по углам и коротко допросили. Вернее, записали наши координаты. Помимо этого мне задали только два вопроса. Во-первых:

— Занимаетесь ли вы антигосударственной деятельностью?

Сначала я хотел ответить: «Неужели вы думаете, что если бы я и занимался, то...»

Потом сказал:

— Нет.

Тогда полицейский спросил:

— Как вы думаете, это поджог? Кого вы подозреваете? Кто мог это сделать? У вас есть конкуренты? Идейные противники?

Я сказал:

— У меня нет идейных противников. Хотя бы потому, что у меня нет идей.

— Это все,— сказал полицейский,— можете идти. Мы займемся расследованием. Завтра вам надлежит явиться по такому адресу.

Он протянул мне визитную карточку.

Я еще раз оглядел помещение. Диван и кресла были сдвинуты. Вернее — их почерневшие останки. За диваном у окна валялся корпус рефлектора.

Мои коллеги тоже освободились. Мы вышли на улицу. Пожарные сворачивали шланги.

Мы решили где-то позавтракать и выпить кофе.

На лбу у Баскина чернела сажа. Я хотел дать ему носовой платок. Эрик вытащил свой...

Все мы были подавлены. И только Дроздов осторожно воскликнул:

— Старики! А может, все это к лучшему? Давайте выйдем из пламени обновленными!..

— Уймись,— сказал ему Мокер.

Мы зашли в ближайшее кафе. Что-то заказали прямо у стойки.

Мокер прикурил и говорит:

— А что, если все это — дело рук Боголюбова? Разве трудно нанять ему за четыреста долларов любого уголовного?

Баскин перебил его:

— У меня другое подозрение. Что вы думаете насчет КГБ?

— Гениальная идея! — воскликнул Дроздов. — Надо сообщить об этом полиции! Не исключено, что КГБ и Боголюбов действовали совместно. Я в этом почти уверен... На сто процентов...

Тогда я повернулся к Дроздову и спрашиваю:

— Можешь раз в жизни быть приличным человеком? Можешь честно ответить на единственный вопрос?! Ты ночевал в редакции с бабой?

Дроздов как-то нелепо пригнулся. Глаза его испуганно забегали. Он произнес скороговоркой:

— Что значит — ночевал? Я ушел, когда не было двух... Что тут особенного?

— Значит, ты был в редакции ночью?

Дроздов, потирая руки, захихикал:

— При чем тут это, старик? Ну, был. Допустим, был... Все мы не ангелы... Это такая баба... Нечто фантастическое... У нее зад как печь...

— Печь? — задумчиво выговорил Баскин. — Печь?! Так значит — печь?!

Его лицо выражало напряженную работу мысли. Глаза округлились. На щеках выступили багровые пятна. Наконец, он воскликнул:

— Ты оставил рефлектор, мерзавец! Ты кинул палку, сволочь, и удрал!

Я добавил:

— А над рефлектором болталась штора...

— Тихо, — сказал Мокер, — официант поглядывает.

— Клал я на официанта, — выкрикнул Баскин. — задушу гада!..

Дроздов повторял:

— Старички! Старички! Я был в невменяемом состоянии... Я, можно сказать, впервые полюбил.. Я бешено увлекся...

Баскин издал глухое рычание.

Я спросил у Мокера:

— Хоть компьютер-то был застрахован?

— Как тебе сказать?.. В принципе... — начал Мокер и осекся.

Рычание Баскина перешло в короткий дребезжащий смешок. Тогда я сказал:

— Нужно выпить. Нужно выпить. Нужно выпить. А то будут жертвы. Необходимо выпить и мирно разой-

тись. Хотя бы на время. Иначе я задую Мокера, а Эрик — Левку...

— Сбегать? — коротко предложил Дроздов.

— Я пойду с тобой, — вызвался Мокер.

Кажется, впервые он решил совершить нечто будничное и заурядное. А может, боялся с нами оставаться. Не знаю...

Мы собрали по доллару. Виля с Дроздовым ушли.

Говорить было не о чем. Эрик решил позвонить жене. Через минуту он вернулся и сказал:

— Я пойду.

Затем подозвал официанта и уплатил. Мы даже не попрощались.

Я посидел минуты две и тоже решил уйти. Пить мне не стоило. В час мы должны были увидеться с Лини Фарбер...

Я вышел на Бродвей. Прямо на тротуаре были разложены сумки и зонтики. Огромный негр, стоя возле ящика из-под радиолы, тасовал сверкающие глянцевые карты.

Дым от уличных жаровен поднимался к небу. Из порнографических лавок доносился запах карамели. Бесчисленные транзисторы наполняли воздух пульсирующими звуками джаза.

Я шел сквозь гул и крики. Я был частью толпы и все же ощущал себя посторонним. А может быть, все здесь испытывали нечто подобное? Может быть, в этом и заключается главный секрет Америки? В умении каждого быть одним из многих? И сохранить при этом то, что дорого ему одному?..

Сегодня я готов был раствориться в этой толпе. Но уже завтра все может быть по-другому.

Потому что долгие годы я всего лишь боролся за жизнь и рассудок. В этом мне помогал инстинкт самосохранения. И может быть, еще сегодня я дорожу жизнью как таковой. Но уже завтра мне придется думать о будущем.

Да, я мечтал породниться с Америкой. Однако не хотел, чтобы меня любили. И еще меньше хотел, чтобы терпели, не любя.

Я мечтал о человеческом равнодушии. О той глубокой безучастности, которая служит единственной формой неоспоримого признания. Смогу ли я добиться этого?

Недостаточно полюбить этот город, сохранивший мне

жизнь. Теперь мне бы хотелось достичь равнодушия к нему...

Я остановился перед витриной магазина «Барнис». Лица манекенов светились безучастностью и равнодушием.

Я постоял еще минуту и снова оказался в толпе. Она поглотила меня без всякого любопытства. Воздух был сыроватым и теплым. Из-под асфальта доносился грохот сабвея. Боковые улицы казались неожиданно пустынными. В тупике неловко разворачивался грузовик.

Я двинулся вперед, разглядывая тех, кому шел навстречу.

Нью-Йорк, 1984 г.

НЕ ТОЛЬКО БРОДСКИЙ

(Из книги)

Владимир Ашкенази

Говорят, Хрущев был умным человеком. Но пианист Владимир Ашкенази был еще умнее.

Многие считают Владимира Ашкенази невозвращенцем. Это не соответствует действительности. Ашкенази выехал на Запад совершенно легально. Вот как это случилось. (Если верить мемуарам Хрущева, кстати, довольно правдивым.)

Ашкенази был, что называется, выездным. Женился на исландке. Продолжал гастролировать за рубежом. И каждый раз возвращался обратно. Даже каждый раз покупал заранее обратный билет.

Как-то раз они с женой были в Лондоне. Ашкенази обратился в советское посольство. Сказал, что жена больше не хочет ехать в Москву. Спросил, как ему быть.

Посол доложил все это министру Громыко. Громыко сообщил Хрущеву. Хрущев, как явствует из его мемуаров, сказал:

— Допустим, мы прикажем ему вернуться. Разумеется, он не вернется. И к тому же станет антисоветским человеком.

Хрущев так и выразился дословно: «Зачем нам плодить антисоветского человека?»

И продолжал:

— Дадим ему заграничный паспорт. Пусть останется советским человеком. Пусть ездит куда ему вздумается. А когда захочет, пусть возвращается домой.

Домой Ашкенази так и не вернулся. Но своих родных от притеснений уберег. Все закончилось мирно и пристойно...

Не зря говорят, что Хрущев был умным человеком.

Джордж Баланчин и Соломон Волков

Баланчин жил и умер в Америке. Брат его, Андрей, оставался на родине, в Грузии. И вот Баланчин состарился. Надо было подумать о завещании. Однако Баланчину не хотелось писать завещание. Он твердил:

— Я грузин. Буду жить до ста лет!..

Знакомый юрист объяснил ему:

— Тогда ваши права достанутся брату. То есть ваши балеты присвоит советское государство.

— Я завещаю их своим любимым женщинам в Америке.

— А брату?

— Брату ничего.

— Это будет выглядеть странно. Советы начнут оспаривать подлинность завещания.

Кончилось тем, что Баланчин это завещание написал. Оставил брату двое золотых часов. А права на свои балеты завещал восемнадцати любимым женщинам.

Волков начинал как скрипач. Даже возглавлял струнный квартет. Как-то обратился в Союз писателей:

— Мы хотели бы выступить перед Ахматовой. Как это сделать?

Чиновники удивились:

— Почему же именно Ахматова? Есть и более уважаемые писатели — Мирошниченко, Саянов, Кетлинская...

Волков решил действовать самостоятельно. Поехал с товарищами к Ахматовой на дачу. Исполнил новый квартет Шостаковича.

Ахматова выслушала и сказала:

— Я боялась только, что это когда-нибудь закончится...

Прошло несколько месяцев. Ахматова выехала на

Запад. Получила в Англии докторат. Встречалась с местной интеллигенцией.

Англичане задавали ей разные вопросы — литература, живопись, музыка.

Ахматова сказала:

— Недавно я слушала потрясающий опус Шостаковича. Ко мне на дачу специально приезжал инструментальный ансамбль.

Англичане поразились:

— Неужели в СССР так уважают писателей?

Ахматова подумала и говорит:

— В общем, да...

Михаил Барышников

В Анн-Арборе состоялся форум русской культуры. Организовал его незадолго до смерти русский издатель Карл Проффер. Ему удалось залучить на этот форум Михаила Барышникова.

Русскую культуру вместе с Барышниковым представляли шесть человек. Бродский — поэзию. Соколов и Алешковский — прозу. Мирецкий — живопись. Я, как это не обидно, — журналистику.

Зал на две тысячи человек был переполнен. Зрители разглядывали Барышникова. Каждое его слово вызывало гром аплодисментов. Остальные помалкивали. Даже Бродский оказался в тени.

Вдруг я услышал, как Алешковский прошептал Соколову:

— До чего же вырос, старик, интерес к русской прозе на Западе!

Соколов удовлетворенно кивал:

— Действительно, старик, действительно...

Иосиф Бродский

Бродский перенес тяжелую операцию на сердце. Я навестил его в госпитале. Должен сказать, что Бродский меня и в нормальной обстановке подавляет. А тут я совсем растерялся.

Лежит Иосиф — бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты. И вот я произнес что-то совсем неуместное:

— Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов...

Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на московском писательском съезде было довольно решительным. Вот я и сказал:

— Евтушенко выступил против колхозов...

Бродский еле слышно ответил:

— Если он против, я — за.

Александра Данилова

Молодая Данилова оказалась на Западе. Подвизалась в мюзик-холлах. Тут ею заинтересовался Дягилев. Назначили что-то вроде просмотра.

Данилова сказала:

— Я была хороша для Мариинского театра. Так уж и вам как-нибудь подойду...

Дягилев кивнул:

— Она права...

И отменил просмотр. А через год Данилова стала звездой его труппы.

Наум Коржавин

Накануне одной литературной конференции меня предупредили:

— Главное, не обижайте Коржавина.

— Почему я должен его обижать?

— Потому что Коржавин сам вас обидит. А вы, не дай Бог, разгорячитесь и обидите его. Не делайте этого.

— Почему же Коржавин меня обидит?

— Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение. Поэтому не реагируйте. Коржавин страшно ранимый.

— Я тоже ранимый.

— Коржавин — особенно. Не обижайте его...

Началась конференция. Выступление Коржавина продолжалось четыре минуты. Первой же фразой Коржавин обидел всех американских славистов. Он сказал:

— Я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем Коржавин обидел целый город Ленинград, сказав:

— Бродский — талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского. Ну и меня, конечно, задел. Не хочется вспоминать, как именно. В общем, получалось, что я рвач и деляга.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

— Пусть Эмка извинится. Только пусть извинится как следует. А то я знаю Эму. Эма извиняется так: «Извините, конечно, но вы — дерьмо!»

Эрнст Неизвестный

У Неизвестного сидели гости. Эрнст говорил о своей роли в искусстве. В частности, он сказал:

— Горизонталь — это жизнь. Вертикаль — это Бог. В точке пересечения — я, Шекспир и Леонардо!..

Все немного обалдели. И только коллекционер Нортон Додж вполголоса заметил:

— Похоже, что так оно и есть...

Раньше других все это понял Юрий Любимов. Известно, что на стенах любимовского кабинета расписывались по традиции московские знаменитости. Любимов сказал Неизвестному:

— Распишись и ты. А еще лучше — изобрази что-нибудь. Только на двери.

— Почему же на двери?

— Да потому, что театр могут закрыть. Стены могут разрушить. А дверь я всегда на себе унесу...

Святослав Рихтер

Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером. Стала жаловаться ему на Ростроповича:

— Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный Солженицын?! Безобразия!

— Действительно, — поддакнул Рихтер, — безобразия! У них же тесно. Пускай Солженицын живет у меня...

Мстислав Ростропович

Ростропович собирался на гастроли в Швецию. Хотел, чтобы с ним поехала жена. Начальство возражало.

Ростропович начал ходить по инстанциям. На каком-то этапе ему посоветовали:

— Напишите докладную: «Ввиду неважного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена». Что-то в этом духе.

Ростропович взял лист бумаги и написал:

«Ввиду безукоризненного здоровья прошу, чтобы меня сопровождала жена».

И для убедительности прибавил — «Галина Вишневская».

Это подействовало даже на советских чиновников.

Владимир Солоухин

Слышал я такую фантастическую историю.

Было это еще при жизни Сталина. В Москву приехал Арман Хаммер. Ему организовали торжественную встречу. Даже имело место что-то вроде почетного караула.

Хаммер прошел вдоль строя курсантов. Приблизился к одному из них, замедлил шаг. Перед ним стоял высокий и широкоплечий русский молодец.

Хаммер с минуту глядел на этого парня. Возможно, размышлял о загадочной русской душе.

Все это было снято на кинолентку. Вечером хронику показали товарищу Сталину. Вождя заинтересовала сцена — американец любитя русским богатырем. Вождь спросил:

— Как фамилия?

— Курсант Солоухин, — немедленно выяснили и доложили подчиненные.

Вождь подумал и сказал:

— Не могу ли я что-то сделать для этого хорошего парня?

Через двадцать секунд в казарму прибежали запыхавшиеся генералы и маршалы:

— Где курсант Солоухин?

Появился заспанный Володя Солоухин.

— Солоухин, — крикнули генералы, — есть у тебя заветное желание?

Курсант, подумав, выговорил:

— Да я вот тут стихи пишу... Хотелось бы их где-то напечатать.

Через три недели была опубликована его первая книга — «Дождь в степи».

Андрей Вознесенский

Одна знакомая поехала на дачу к Вознесенским. Было это в середине зимы. Жена Вознесенского, Зоя, встретила ее очень радушно. Хозяин не появлялся.

— Где же Андрей?

— Сидит в чулане. В дубленке на голое тело.

— С чего это вдруг?

— Из чулана вид хороший на дорогу. А к нам должны приехать западные журналисты. Андрюша и решил: как появится машина — дубленку в сторону! Выбежит на задний двор и будет обсыпаться снегом. Журналисты увидят — русский медведь купается в снегу. Колоритно и впечатляюще! Андрюша их заметит, смутится. Затем, прикрывая срам, убежит. А статьи в западных газетах будут начинаться так: «Гениального русского поэта мы застали купающимся в снегу...» Может, они даже сфотографируют его. Представляешь — бежит Андрюша с голым задом, а кругом российские снега.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Аршишкин.

ГЕРОЙ В ПОИСКАХ АВТОРА

3

НАШИ

8

ЧЕМОДАН

93

РЕМЕСЛО

184

НЕ ТОЛЬКО БРОДСКИЙ
(Из книги)

328

СЕРГЕЙ ДОНАТОВИЧ ДОВЛАТОВ

ЧЕМОДАН

Повести

Редактор
Н. Буденная

Художник
Б. Сопин

Художественный редактор
И. Сайко

Технические редакторы
Г. Бессонова, С. Устинова

Корректоры
Н. Кузнецова, А. Гомозова

ИБ № 4871

Сдано в набор 30.10.90. Подписано к печати 14.05.91.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,85.
Уч.-изд. л. 18,73. Тираж 50 000 экз. Заказ 1295. Цена
3 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Мос-
ковский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чисто-
прудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473,
Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

3 р. 50 к.



Московский рабочий